

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

**ЯЗЫКОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ  
И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ**

Под редакцией А. Ф. Журавлева

Москва  
2013

УДК 81'42  
ББК 81.0  
Я 41

Работы, представленные в сборнике, выполнены в рамках  
Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН  
«Текст во взаимодействии с социокультурной средой:  
уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации»

*Рецензенты:*

член-корреспондент РАН,  
доктор филологических наук *А. А. Гиппиус*,  
кандидат филологических наук *И. И. Макеева*

Я41 **Языковая вариативность и культурный контекст**/под. ред.  
А. Ф. Журавлева. — М. : ИСл РАН, 2013. — 252 с.  
ISBN 978-5-7576-0278-3

Сборник посвящен изучению на славянском материале социокультурной обусловленности выбора вариантов широкого круга разноуровневых языковых явлений — от предпочтения той или другой произносительной версии до поисков наиболее адекватной синтаксической конструкции при построении фразы, от отбора номинативной единицы (однословной или фразеологической) до формулирования избираемой стратегии построения речи/текста в открытых метаязыковых высказываниях и т. д., вплоть до выбора диалектной базы для сознательно формируемого литературного языка. Выбор варианта в каждом конкретном случае определяется целым комплексом условий и причин как внутриязыковой, так и внелингвистической природы; исключительную важность имеет характер культуры, в границах которой осуществляется языковой акт и которая предлагает носителю языка серии возможных кодов.

УДК 81'42  
ББК 81.0

ISBN 978-5-7576-0278-3



© Федеральное государственное бюджетное  
учреждение науки Институт славяноведения  
РАН, 2013

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>В. С. Ефимова</b>	
Риторические стратегии древнейших славянских гомилетических текстов.....	4
<b>Ф. Р. Минлос</b>	
Порядок слов: копирование и системность (на материале средневековой славянской письменности).....	31
<b>Г. К. Венедиктов</b>	
К истории формирования болгарского литературного языка в культурном контексте эпохи национального Возрождения.....	53
<b>Л. Э. Калнынь</b>	
Сосуществование литературной и диалектной форм языка как культурная константа современной славяноязычной ситуации.....	82
<b>А. Ф. Журавлев</b>	
О смысловых и коннотационных потерях в межкультурных трансляциях.....	127
<b>Д. Ю. Ващенко (Анисимова)</b>	
Опыт построения предикативной типологии идиостилей (на материале словацкой лирики второй половины XX века).....	186
<b>Ф. Б. Людоговский</b>	
Господские акафисты: специфика структуры и ее лексического наполнения.....	228

В. С. ЕФИМОВА

**Риторические стратегии  
древнейших славянских гомилетических  
текстов**

С принятием христианства славянские народы приняли и всё обилие культурных феноменов, составлявших цивилизационную сокровищницу христианского мира. Не последнее место в передаче этих феноменов занимают переводы греческих гомилий. В плане содержания подлежащие переводу греческие гомилии — это беседы с паствой о наиболее острых нравственных переживаниях христианина, относящихся к чуду Благовещения, к заговору фарисеев, к предательству Иуды и т. д. Древнейшие славянские гомилетические тексты исследовались с разных точек зрения, и им посвящена обширная научная литература: с давних пор по этим текстам изучалась старославянская грамматика (особенно на заре палеославистики); исследователей занимало определение редакций списков [Благова 1966; Иванова-Мирчева 1979; Мирчева 1997; Мирчева 2006; Федер — Спасова 2006 и др], иногда даже атрибуция автора перевода (например, в [Bláhová-Dvořáková 1962; Bláhová 1963; Bláhová 2008]); языковой материал гомилетических текстов неоднократно привлекался для изучения лексики старославянского языка, особенностей старославянского синтаксиса, переводческой техники [Bláhová-Dvořáková 1962; Bláhová 1963; Благова 1982; Верещагин 1985; Bláhová 2008; Мирчева 2006; Федер — Спасова 2006 и др.]. Вместе с тем гомилии — это произведения, заведомо предназначенные для

произнесения вслух, причем произнесения не простого, а имеющего целью «воздействие словом» на реципиентов ради убеждения их в ценности христианских догматов. (Реципиенты — это в данном случае паства, находящаяся в храме и — во всяком случае, по замыслу — достаточно адекватно воспринимающая то, что произносится проповедником, то есть участвующая в акте вербальной коммуникации.) В настоящей работе мы предпринимаем попытку (никогда прежде, кажется, не предпринимавшуюся) рассмотреть аудиокоды гомилий, обратив внимание на средства (риторические стратегии), обеспечивающие возможно лучшее их восприятие реципиентами.

Для произнесения вслух предназначались как славянские переводы греческих гомилий, так и их греческие оригиналы, вследствие чего логично предположить, что славянские списки гомилетических текстов должны содержать в себе отражение аудиокодов двух разных порядков: отражение аудиокодов славянских переводов должно содержать в себе и отражение аудиокодов греческих оригиналов. Таким образом, ряд элементов аудиокодов греческих оригиналов, подчиненных задаче «воздействия словом» на реципиентов, должен входить в аудиокоды славянских переводов.

В поисках принципов настоящего исследования нами были подвергнуты сопоставительному анализу тексты нескольких греческих гомилий и их славянских переводов, сохранившихся более, чем в одном списке: приписываемые Иоанну Златоусту два слова на Благовещение (№ 20 и № 21 в Супрасльской рукописи XI в., «Гомилия ван Вейка» в Венском кодексе № 137 XIII в., № 25 в Германовом сборнике 1359 г., Листки Григоровича XIII в.), Слово на вербное воскресенье (№ 28 в Супрасльской рукописи XI в. и № 35 в Успенском сборнике XII/XIII вв.), Слово о зависти (№ 35 в Супрасльской рукописи XI в. и № 28 в Успенском сборнике XII/XIII вв.). Все выбранные нами для данного этапа работы гомилии присутствуют во входящей в классический «старославянский канон» Супрасльской рукописи, части которой (числом 48) были либо переведены, либо

подверглись в большей или меньшей степени редактуре преславскими книжниками (см., например, [Благова 1980; Дунков 1985] и др.). При этом мы руководствовались следующими соображениями. Списки Слова на Благовещение «Πάλιν χαρῶς εὐαγγέλια...», Слова на вербное воскресенье и Слова о зависти восходят к одному переводу. (Следует напомнить, что Успенский сборник, несмотря на то, что является более поздней рукописью, чем Супрасльская, иногда сохраняет более архаичный вариант, чем последняя [Благова 1966]. Более архаичные черты сохраняет иногда и более поздний список Слова на Благовещение «Πάλιν χαρῶς εὐαγγέλια...» в Германовом сборнике [Мирчева 2006: 162–163].) Списки же Слова на Благовещение «Ἀδελφοί, βασιλικῶν μυστηρίων ἑορτὴν ἑορτάζομεν σήμερον...» в Супрасльской рукописи и в Венском кодексе № 137, как заключил еще С. Н. Северьянов [Северьянов 1956: 237], а за ним и Н. ван Вейк [Wijk 1937/38], восходят к разным переводам.

Нет сомнений, что подлежавшие славянскому переводу греческие гомилии представляют собой совершенные произведения словесного искусства — гомилии всегда имеют достаточно сложные композиции и многоплановые структуры, свойственные произведениям высокого искусства. Вместе с тем жанр гомилии предполагает особые отношения автора (= генерирующего текст) и адресата, ориентированные, прежде всего, на линейное развертывание текста при восприятии его реципиентами «на слух». Держать реципиентов в постоянном напряжении по мере этого развертывания — задача, которой должны быть обязаны своими особенностями аудиокоды греческих гомилий и которая должна была оставаться задачей для аудиокодов их славянских переводов. В связи с этим мы попытаемся выявить те элементы славянских списков — композиционные, языковые, орфографические, — которые обеспечивают возможно лучшее восприятие содержания гомилий «на слух».

По объему тексты греческих гомилий бывают более масштабными и более камерными, но всегда изобилуют библейскими цитатами.

Композиции масштабных гомилий держатся на повторах библейских цитат как своеобразных лейтмотивов. Лейтмотив (библейская цитата) появляется в начале гомилии, подобно рефрену делит текст гомилии на части и служит нескольким целям. Во-первых, обращение к библейской цитате — это повод для поучения паствы, для беседы с паствой о культурных феноменах, определяющих мировоззрение христианина. Библейская цитата, авторитет которой считается непререкаемым, соответствует обсуждению в гомилии избранного феномена, которое проводится в форме прямого обращения к реципиентам. Как отмечал в свое время Р. Пиккио, произведения, принадлежащие к развившейся в рамках иудео-христианской традиции средневековой литературной цивилизации, предполагали по большей части двойной уровень прочтения и требовали знакомства с библейской экзегетикой. «Однако и те читатели [и слушатели. — *В. Е.*], которые были не способны постичь “высшее значение”, т. е. скрытый “духовный” смысл данного текста, не были оставлены в темноте. Буквальный смысл произведения мог также действовать в качестве самоуправляемой семантической структуры, способной создать поучительно-воспитательный эффект» [Пиккио 2003: 436]. Во-вторых, цитация Библии выполняет функцию метатекстового компонента гомилии. Как пишет Т. М. Николаева, «цитирование, как явное, так и имплицитное, так же может быть структурным средством метатекстовой организации. Обращение к чужой речи есть результат заботы о точности своего кода» [Николаева 2000: 565]. В-третьих, повторяющиеся библейские цитаты в плане организации текста гомилии имеют те же функции, что и повторы в текстах фольклорных или поэтических, то есть являются, по употребляемой Т. М. Николаевой терминологии, «когезивными скрепами» [Николаева 2009]. В плане же аудиокода использование библейской цитаты следует, видимо, считать наиболее крупным его элементом, время от времени возвращающим реципиентов (паству) к «исходной точке» и удерживающим их

внимание, поскольку библейская цитата пастве известна заранее — хотя и необязательно предполагается глубокое ее понимание.

Рассмотрим композицию Слова о зависти. В Супрасльской рукописи эта гомилия занимает объем 395,22 – 405,1, в Успенском сборнике — л.197б 30 – л.201в 29. Здесь в качестве лейтмотива-рефрена используется евангельский стих Мт 12,14 Ἐξεληθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ' αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν<sup>1</sup> — **излѣзъше фарисен съвѣтъ сътвориша на іса . да кго изгоубат** . Супр 395,23–24 — **излѣзъше же фарисѣи . и съвѣтъ сътвориша на іса . да кго изгоубать** . УспСб 197в 3–6. Евангельский стих повторяется, деля гомилию в соответствии с потребностями генерирующего текст на неравные отрывки, в следующих местах: Супр 395,23–24 = УспСб 197в 3–6; Супр 396,11–12 = УспСб 197г 10–13; Супр 398,12–14 = УспСб 198в 32 – 198г 3; Супр 401,17–18 = УспСб 200а 23–26; Супр 401,28–29 = УспСб 200б 13–15; Супр 402,11–12 = УспСб 200в 6–8; Супр 404,11–13 = УспСб 201б 24–27, то есть семь раз.

Большая по объему гомилия может иметь и дополнительный лейтмотив-рефрен. Так, в Слове на вербное воскресенье основным

<sup>1</sup> Как известно, греческие оригиналы древнейших славянских гомилий существуют в сотнях списков, но ни на один из них нельзя указать как на непосредственный «оригинал», с которого был сделан славянский перевод какой-либо гомилии. Наиболее близко к греческому оригиналу славянского перевода рассматриваемых гомилий соответствующий греческий текст был подобран Марио Капалдо и представлен в издании [Заимов — Капалдо 1983]. Однако библейские цитаты в славянском переводе гомилий могут соответствовать не цитатам в греческих гомилиях (как в данном случае, когда цитата в греческой гомилии ограничена следующим образом: Ἐξεληθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον), а предполагаемому греческому оригиналу славянского перевода Св. Писания. Поэтому мы использовали также критические издания греческого текста Св. Писания, главным образом [Merk 1984; Robinson — Pierpont 2005; Rahlfs 1952].

лейтмотивом является цитата из Псалтыри (Пс 117,25), используемая всеми евангелистами (Мт 21,9; Мк 11,9; Л 19,38; И 12,13): εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. — **благословешень градъи въ нма господьне** . Супр 319,27–28 — **бл̄г̄ословѣнкн̄ градъи въ нма г̄не** . УспСб 234в 12–14. Этот лейтмотив повторяется десять раз, однако композицию второй половины гомилии «держит» и дополнительный лейтмотив — цитата из Псалтыри (Пс 8,3), повторяемая трижды: ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρίσω αἶνον — **из оустъ младеништъ и съсжштнихъ съвръшилъ кси пѣснь** . Супр 325,3–4 — **из оустъ младениць и съсжштнихъ съвръшилъ кси пѣснь** . УспСб 236в 26–27.

В Слове на Благовещение «Πάλιν χαρῶς εὐαγγέλια...» основным лейтмотивом является повторенная пять раз цитата из Евангелия от Луки (Л 1,26–27): Ἐν (δὲ) τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ, φησί, ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ... πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρὶ. — **въ шестъи мѣсцѣ рече посланъ бысть ангелъ гарриилъ отъ бога . къ двѣици оврженѣ мжжоу** . Супр 244,3–5 — **въ . ̄ . м̄цъ посланъ бы аггль гарриилъ ѿ ба . къ двѣи оврженѣ мжжоу** . Герм 154а 10–12. Однако после четвертой цитации основного лейтмотива в композицию Слова вводятся еще два дополнительных лейтмотива. Первый из них — цитата (неточная) из Ветхого Завета (Ис 29,11): Δοθήσεται τὸ ἐσφραγισμένον βιβλίον ἀνδρὶ εἰδοῦτι γράμματα. — **дадатъ сд рече запечатлѣныѣ книги . мжжоу вѣдѣштоу писмена** . Супр 246,8–9 — **дадат сд реч̄ запечѣтъленъныѣ книги** . Герм 155б 20–156а 1. Другой, повторенный трижды (цитата из Л 1,28), — короткий, но очень выразителен: Χαῖρε, κεχαριτωμένη — **радоуи сд обрадованаѣ** . Супр 248,15 — **радъи сд възрадованънаѣ** . Герм 157б 15–16. На пятикратном повторении Χαῖρε — **радоуи сд** строится конец («кода») гомилии.

Использование в гомилиях библейских цитат в качестве лейтмотивов служит генерирующему текст (автору, а затем читающему его вслух) и для экспликации подтекста (содержательно-подтекстовой

информации) библейского текста. Цитация лейтмотивов подвергает их модификации, часто сопровождается экзегетическими дополнениями, риторическими вопросами, обращенными непосредственно к реципиентам (пастве), и ответами. Ср. например, вторую цитацию в Слове на Благовещение лейтмотива (Л 1,26), дополненную риторическими вопросами и ответами: Ἐν (δὲ) τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ... πρὸς παρθένον. *Ποῖον ἕκτον μῆνα, λέγει; Ποῖον; Ἄφ' οὗ ἐδέξατο Ἐλισάβετ τὰ εὐαγγέλια, ἀφ' οὗ Ἰωάννην συνέλαβε.* и т. д. — *Въ шестъин мѣсѣцъ посъланъ бѣистъ гавриилъ къ дѣвѣи . кын же мѣсѣцъ шестъин . и глаголетъ . кын . отънели же елисаветъ приатъ благовѣштеник . отънелиже зачатъ ѱвана .* Супр 245,4–9 — *въ . 5 . мѣцъ посланъ бѣи аггль гавриилъ къ дѣвѣи . кын мѣцъ . 5 . и глѣтъ . ѿнелиже елисаветъ приж благовѣщение . ѿнелиже ноана зачл<sup>т</sup> .* Герм 155а 5–8. То есть пастве объясняется таким образом, почему в библейском тексте говорится именно о шестом месяце. Или возьмем, например, пятую цитацию лейтмотива (Мт 12,14) в Слове о зависти, дополненную и экзегетическими перебивками, и риторическими вопросами и ответами: Καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον. *Καὶ οὐκ εἶπεν ἡ γραφή παρὰ τίνος.. ἔλαβον τὸν ἡμέτερον νοὺν ἀνακινῶν πρὸς τὴν ζήτησιν.* — и излѣзъше фарисен съвѣтъ сътвориша . и не рече писаник отъ кого възаша . нашъ оумъ подвижаа на исканик<sup>т</sup> . Супр 401,28–402,1 — и излѣзъше фарисѣи съвѣтъ сътвориша . и не рече писаник отъ кого възаша нашъ оумъ подвижаа на исканик . УспСб 200б 13–18. То есть пастве сначала предлагается самостоятельно поразмыслить над словами библейского текста. И далее: Καὶ ἐξελθόντες [οἱ Φαρισαῖοι] συμβούλιον ἔλαβον. *Παρὰ τίνος; Δῆλον ὅτι παρὰ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνου διαβόλου* — и излѣзъше съвѣтъ възаша . отъ кого . павѣ тако нпръвааго . чловѣкоубоица днавола . Супр 402,1–3 — излѣзъше съвѣтъ възаша . отъ кого павѣ . тако испръвааго . члѣвѣкоубица днавола . УспСб 19–22. И далее: Ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσι.

*Поіѡ трѡпѡ;* ('Каким образом?') — да кго изгоубатъ . чимъ . Супр 402,3 — да кго изгоубатъ . чимъ УспСб 22–23 и т. д.

В плане отражения аудиокода интересны вставки в эти лейтмотивы вводного слова φησί (φησί) 'говорят' = **рече**, что служит «интимизации» библейской цитаты, как бы приближая экзегетику к ее реципиентам. Ср., например, в третьей цитации лейтмотива (Мт 12,14) в Слове о зависти: Καὶ ἐξεληθόντες, **φησί** οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον... — и излѣзъше **рече** фарисен съвѣтъ сътвориша на ісоуса Супр 398,12–14 — и излѣзъше **рече** фарисен съвѣтъ сътвориша УспСб 198в 32 – 198г 3 (sim. Супр 401,17–18 = УспСб 200а 23–26). Или, например, в основном лейтмотиве Слова на Благовещение «Πόλις χαρῶς εὐαγγέλια...» (Л 1,26–27): Ἐν (δὲ) τῷ μὲν τῷ ἔκτῳ, **φησί**, ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ... — въ шестъи мѣсѣцъ **рече** посланъ въстъ аггелъ гауринилъ отъ бога . къ дѣвѣици обржченѣ мжжюу . Супр 244,3–5 (в Усп.сб. **рече** опущено).

Более мелкие языковые и графические элементы списков, обеспечивающие возможно лучшее восприятие аудиокодов гомилетических текстов, наглядно выявляются при сопоставлении списков гомилий, восходящих к одному переводу. Лексическое варьирование по спискам в славянских текстах гомилий, заметное даже в приведенном выше материале, давно уже попало в поле зрения палеославистов [Благова 1966; Иванова-Мирчева 1979; Благова 1982; Мирчева 1997; Федер — Спасова 2006; и др.]. Как правило, лексическое варьирование в древнейших списках гомилетических текстов обнаруживает не стремление книжников к редакции с целью более точной передачи семантики слов греческого оригинала, а — по большей части — обусловлено введением слов, обладающих не более сложной семантической структурой, чем заменяемые слова первоначального перевода, но региональных, причем замене подлежат довольно частотные (по меркам старославянского языка), хорошо

«укорененные» в старославянском лексиконе лексемы: **ишьдъше** — **излѣзъше**, **погоубатъ** — **изгоубатъ**, **хвала** — **пѣснь**, **дѣвала** — **дѣвица** и т. п. Так, перевод лейтмотива-рефрена Слова о зависти — евангельского стиха Мт 12,14 ἐξεληθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ' αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν — в старославянских евангельских кодексах имеет следующий вид: **Фарисѣи же ишьдъше . съвѣтъ створиша на нь . како и погоубатъ** . Зогр, Мар (текст тетра). В сравнении с евангельским переводом, сохранившимся в классических старославянских кодексах, цитация евангельского стиха в гомилии показывает вариативность причастия **ишьдъше** — **излѣзъше** и глагола **погоубатъ** — **изгоубатъ**, связанную с редакторской работой, скорее всего, преславских книжников<sup>2</sup>. Ср.: **излѣзъше фарисен съвѣтъ сътвориша на їса . да юго изгоубат** . Супр 395,23–24 — **излѣзъше же фарисѣи . и съвѣтъ сътвориша на їса . да юго изгоубатъ** . УспСб 197в 3–6. Однако при третьей, четвертой и шестой цитации возвращается глагол **погоубатъ**. Ср.: **и излѣзъше рече фарисен съвѣтъ сътвориша на ісоуса да и погоубатъ** . Супр 398,12–14 — **и излѣзъше рече фарисен съвѣтъ сътвориша на їса да и погоубатъ** . УспСб 198в 32 – 198г 3 (sim. Супр 401,17–18 = УспСб 200а 23–26). Перевод цитаты из Пс 8,3 (ἐκ στόματος νεπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον), служащей дополнительным лейтмотивом в Слове на Вербное воскресенье, в Синайской псалтыри (рукописи «старославянского канона»), имеет следующий вид: **Из оустъ младънечь съсжцихъ съвръшилъ еси хвалъ** . Син 7а 16–17. При цитации этого псалма в гомилии наблюдается вариативность **хвала** (= αἶνος) — **пѣснь**. Лексический вариант **пѣснь** употреблен при первой и второй цитации в Супрасльской рукописи (Супр 325,3–4 и Супр 326,2–3) и первой в

<sup>2</sup> В отношении глаголов с корнем **-лѣз-** как характерной приметы Преславской школы см. [Благова 1982: 68].

Успенском сборнике (УспСб 237а 11–13). Ср.: ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρίσω αἶνον — **из оустъ младеништъ и съсжштинхъ съвръшилъ кси пѣснь** . Супр 325,3–4 — **из оустъ младенищъ и съсжштинхъ съвръшилъ кси пѣснь** . УспСб 236в 26–27. Осмысление **младеништъ и съсжштинхъ** в качестве д в у х наименований лиц в соответствии с греческим текстом (и с «водворением на место» союза и = καί) — также результат редактирования книжников, возможно, преславских. Однако при третьей цитации наблюдается не только в Успенском сборнике, но и в Супрасльской рукописи возврат первоначального перевода **хвала**, первоначальное осмысление **съсжштинхъ** в качестве определения к **младеништъ** (с перестановкой слов) и опущение союза, то есть возвращение к переводу, сохраненному Синайской псалтырю: **из оустъ съсжштинхъ младеништъ съвръшилъ кси хвалѣ** . Супр 331,5–7 — **из оустъ младенищъ съсоуцинухъ съвръшилъ кси хвалоу** . УспСб 239а 15–18. В основном же лейтмотиве этого Слова (из Пс 117,25) вариант причастия **благословленъ**, употребленный в Синайской псалтыри, сохраняет Успенский сборник, тогда как вариант **благословешенъ** в Супрасльской рукописи появился, видимо, также в результате правки текста преславскими книжниками. Ср.: **блѣтъ грядѣ въ имѣ гнѣ** . Син 154а 5–6 — **блѣгословленъ грядѣ въ имѣ гнѣ** . УспСб 234в 12–14 — **благословешенъ грядѣ въ имѣ господьне** . Супр 319,27–28. Надо полагать, что подобные лексические замены, направленные на введение, главным образом, региональной лексики имели целью обеспечить возможно лучшее восприятие аудиокодов гомилий паствой.

С другой стороны, вышеописанные лексические замены имеют место на фоне общей стабильности гомилетических текстов, восходящих к одному переводу. В плане отражения в списках аудиокода интересно здесь то, что постоянство (отсутствие варьирования по спискам) наблюдается также и в использовании славянских средств

передачи семантически сложных греческих концептов. Рассмотрим для примера первые три предложения в начале Слова на вербное воскресенье (Супр 318,12–29 = УспСб 234а 2–30).

1. Ἐκ θαυμάτων ἐπὶ τὰ θαύματα τοῦ κυρίου *βαδίσωμεν*, ἀδελφοί, καὶ φθάσωμεν, *ὡς ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν*.

— Супрасльская рукопись:

Отъ чюдесѣ къ чюдесемъ господьнемъ *ходимиъ* братиѣ . и дондѣмъ *акъи отъ силъ на силѣ* .

— Успенский сборник:

Отъ чюдесѣ къ чюдесѣмъ гнѣкмъ *ходимиъ* братиѣ . и дондѣмъ *акы отъ силы на силоу* .

2. Καθάπερ γὰρ ἐν ἀλύσει χρυσῆ κρικίοις *ἀλληλενδέτοις συμβεβλημένη* ἔν τοῦ ἐνὸς κατέχεται, τῶν συμβεβλημένων ἕκαστον συνάπτεται τε θάτερον θατέρω, καὶ παραπέμπεται· οὕτω καὶ τὰ τῶν ἁγίων εὐαγγελίων θαύματα *ἐξ ἀλλήλων εἰς ἄλληλα ποδηγοῦσι* τὴν *φιλέορτον* τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν, καὶ *εὐφραίνουσιν* οὐ τῇ ἀπολλυμένῃ βρώσει, ἀλλὰ τῇ μενούσῃ εἰς *ζωὴν* αἰώνιον.

— Супрасльская рукопись:

также бо въ веригахъ златахъ . притоки *дрюгъ дрюзѣ съплетенъ* . кдно кдного дръжитъ сѧ || съплетеныхъ кождо . съвъкоуплено же кождо кокъждо . и продлъжакмо кстъ . и сице и свѣтъныхъ еѡγγелии чюдеса . *дрюгъ отъ дрюга направѣѡштъ* . *праздникомъ* . *любивѣѡ* црък'ве христосовѣ || *веселѣтъ* . не погъбѡѡштѣѡ пиштеѡ . нъ прѣвъѡѡштѣѡ въ *жизнь вѣчньѡѡ* .

— Успенский сборник:

также же бо въ веригахъ златахъ . притоки *дрюгъ дрюзѣ съплетены* . кдино кдино дръжитъ сѧ || съплетеныхъ кождо . [пропуск: съвъкоуплено же кождо кокъждо . ] и продлъжакмо кстъ . сице и сѣтъныхъ еѡγγелии чюдеса . *дрюгъ отъ дрюга направѡѡють* . *праздником(ъ)* . *любѣвню хѣсѡвоу*

цр̄квь || *веселатъ* . не погыбающею пицею . нъ прѣбывающею  
въ *животъ* вѣчныи .

3. *Φέρε* τοίνυν καὶ ἡμεῖς, ἀγαπητοί, ἐν ἐτοιμασίᾳ καρδίας καὶ ὡσὶν *εὐηκόσις* ἀκούσωμεν, τί λαλήσει ἡμῖν κύριος ὁ θεὸς ἐν τε προφῆταις καὶ εὐαγγελίοις περὶ τῆς θειοτάτης ταύτης ἑορτῆς.

— Супрасльская рукопись:

Ѡѣ оубо и мы възлюбькнии . оуготованомъ срьдьцемъ . и оушима *добрѣ слышаштема* . слышимъ что глаголетъ намъ господь господь . въ пророцѣхъ и въ еуагелнахъ . о сватѣѣмъ семь праздницѣ .

— Успенский сборник:

се оубо и мы възлюблении . оуготованъмъ срдѣцьмъ . и оушима *добрѣ слышашцема* . слышимъ чьто възглѣтъ къ намъ ѣѣ . въ пророцѣ и въ еуангѣнахъ . о сѣѣмъ праздницѣ .

В данном отрывке встречаем варианты *животъ* — *жизнь*, отмеченные еще в знаменитом своде лексических вариантов В. И. Ягича [Jagić 1913: 287]. Вариант *жизнь* признается палеославистами заменой, характерной для редакторской правки текстов преславскими книжниками [Славова 1989: 53–54 и др.], и потому закономерно, что этот вариант встречается в Супрасльской рукописи, тогда как Успенский сборник сохраняет вариант — видимо, первоначальный — *животъ*. Однако ряд славянских языковых средств, которые предполагают возможность редактирования с целью более точной передачи сложной семантики греческих концептов, варьированию не подлежит. Рассмотрим эти случаи в порядке следования их в тексте. Итак, глагол βαδίσωμεν (βαδίζειν ‘идти шагом’ → ‘не спеша продвигаться’) без вариантов передается глаголом *ходимъ*, то есть с некоторым семантическим обеднением; выражение φθάσωμεν, ὡς ἐκ δυνάμεως εἰς δύναντιν ‘преусеем по возможности’, содержащее фразеологизм ὡς ἐκ δυνάμεως εἰς δύναντιν, «буквалистски» переведено *дондѣмъ акты отъ силы на силѣ*, однако перевод сохраняется в обоих списках;

несколько упрощенный перевод выражения ἀλληλενδέτοις συμβεβλημένη (ср. ἀλληλ(ο)- ‘взаимно-’, ἔνδετος ‘bound to, прикрепленный’; συμβεβλημένη — прич. перф. пасс. от συμβάλλειν ‘присоединять’) варьируется только в числе: **ДРОУГЪ ДРОУЗЪ СЪПЛЕТЕНЪ** — **ДРОУГЪ ДРОУЗЪ СЪПЛЕТЕНЫ**; неизменен семантически несколько обедненный перевод ἐξ ἀλλήλων εἰς ἄλληλα ποδηγοῦσι как **ДРОУГЪ ОУЪ ДРОУГА НАПРАВЪАЖТЪ** (ср. πούς ‘нога, ступня’, ἡγεῖσθαι ‘вести’, то есть в глаголе **НАПРАВЪАЖТИ** отсутствует семантика «пошаговости» движения рассказа от чуда к чуду, хотя это обеднение и несколько компенсируется наличием словосочетания **ДРОУГЪ ОУЪ ДРОУГА**); не очень, видимо, удачный перевод композита φιλέορτον словосочетанием **ПРАЗДНИКОМЪ ЛЮБЕВЖЖ** (ср. φιλεῖν ‘любить’, ὄρτή = ἑορτή ‘праздник’) не совершенствуется, а искажается до бессмыслицы **ПРАЗДНИКОМ(Ъ) ЛЮБЕВЖЖ**; без вариантов передается с обеднением семантики глагол εὐφραίνουσιν как **ВЕСЕЛАТЪ** (ср.: εὐ- ‘хорошо’, второй корень -φραν-, ср. φρονίζειν ‘думать благоразумно’, то есть не отражается «духовная» составляющая семантики глагола εὐφραίνω); Φέρε ‘Ну-ка!, Давай-ка!’ без вариантов опущено в обоих списках; композит εὐηκόσις без вариантов передается в обоих списках словосочетанием **ДОВРЪ СЛЪШЪШТЕМА**. Таким образом, в тех случаях, когда в славянском переводе имеется некоторое обеднение семантически сложных понятий, при упрощенной передаче греческих композитов, при «буквалистском» переводе фразеологизмов, наблюдается относительное постоянство при движении текста по спискам. Надо полагать, что если введение региональной лексики служило лучшему восприятию аудиокода гомилий паствой, то и отсутствие замен простых и понятных слов, хотя и передающих греческий оригинал с некоторым семантическим обеднением, служило тем же целям.

Несколько неожиданное постоянство в списках гомилий, восходящих к одному переводу, наблюдается и в расстановке знаков

препинания. Как известно, древнейшие славянские рукописи написаны *scriptura continua* с применением так называемых знаков препинания, однако принципы постановки последних до сих пор палеославистикой практически не исследованы. В древнейших славянских (старославянских) рукописях высказывание (= предложение) завершается, как правило, постановкой знака препинания, однако употреблялись знаки и внутри высказывания. В целом же считается, что расстановка знаков препинания довольно хаотична и не поддается системному описанию. Автор фундаментального труда по старославянскому синтаксису Р. Вечерка отмечает лишь возможность получения на основе их расстановки некоторого представления о месте пауз, но пунктуация, по его словам, «не была, однако, строго нормирована» [Večerka 1989: 31].

В соответствии с представлениями о принципах пунктуации в современном европейском письме, ориентированным прежде всего на оформление высказываний в качестве предложений как логических структур, знаки препинания в древнейших славянских рукописях не всегда стоят «на своем месте». В приведенном выше отрывке из Слова на вербное воскресенье знаки препинания также не всегда стоят «на своем месте», тем не менее при сравнении двух списков оказывается, что своего места они не изменяют. Так, в обоих списках отсутствует знак препинания в конце придаточного предложения после **дръжитъ сѧ** (мы отметили это место значком «||»), не разделены знаком препинания распространенные однородные сказуемые (мы также отметили это место значком «||», то есть **чюдеса... направьляють** (союз **и** = **коі** опущен) **веселятъ**). Вместе с тем не изменяют своего местоположения в обоих списках знаки препинания внутри высказывания, которые в большинстве случаев с точки зрения нашего современника кажутся избыточными: после слова **златахъ**, после слова **съплетенъ**, после слова **кокмъждо**, после слова **веселятъ**, после слова **срьдцемъ**, после слова **слышаштема**, после слова **господь** (в УспСб **богъ**), после слова **еуагелиахъ**.

Не изменяет своего местоположения в обоих списках знак препинания даже внутри словосочетания **праздникомъ . любивѣжъ**, переводящего греческий композит φιλέορτον (Асс.) и искаженного в Успенском сборнике как **праздником(ъ) . любѣвию**.

Постоянство в подобной расстановке знаков препинания, обнаруживаемое при сравнении списков, — не редкость для древнейших славянских гомилетических текстов. Для иллюстрации нашего наблюдения покажем также постановку знаков препинания в нескольких пассажах из других гомилий. Например, в пассаже из Слова о зависти (Супр 396,5–10 = УспСб 197в 31–197г 8):

Τοῦτον ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐπὶ τῆς μετρίας μου τραπέζης ἐπιθείς, ἠβουλόμεν τῇ σιωπῇ τὸ τῆς γλώττης μου ὄργανον περισφίγξαι· ἀλλ' ἢ τῶν θεομάχων Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Σωτῆρος ἐξαπτομένη ἐπίβουλος ἐνέδρα καὶ τοὺς λίθους λαλεῖν ἀναγκάζει.

— Супрасльская рукопись:

снн вамъ хлѣвъ на хоудѣи свои трапезѣ положивъ . хотѣхъ мълчанимъ азъка си съсждъ съжати . не (вм. нъ) вѣсварьныихъ жидовъ . на съпаса раждизакмо зълок лиганик . и камени глаголати нождж творитъ .

— Успенский сборник:

снн вамъ хлѣвъ на хоудѣи свои трапезѣ положивъ . хотѣхъ мълчаникмъ азыка си съсоудъ съжати . нъ вѣсварьныихъ жидовъ . на спса раждизакмо зълок лаганик . и камени гла̄ти нождю творатъ .

В пассаже из Слова на Благовещение «Πάλιν χαρῶς εὐαγγέλια...» (Супр 246, 24–28 = Герм 156а 16 – 156б 3):

Ἐπεὶ οὖν οἱ ἱερεῖς ὡς σῶφρονι τῷ Ἰωσήφ ἠρμόσαντο τὴν Μαρίαν, καὶ παρέθεντο αὐτὴν αὐτῷ, γάμου καιρὸν ἀναμένοντες· ἔμελλε δὲ οὗτος λαμβάνων τηρεῖν ἐν ἀφθαρσίᾳ τὴν παρθένον.

— Супрасльская рукопись:

понеже оубо жъръци . тако цѣломъдрънѣ иусифови обржчиша маринѣ . и прѣдаша кмоу ѣж . врѣмене брачьнааго жиджште .

подобааше оубо сице прѣкмъжштоу . влюсти **дѣвицѣ** непорочнѣ .

— Германов сборник:

понеже Ѹбо **нерен** . тако цѣломъдрънѣ ивсифови обржчишѣ  
марнѣ . и прѣдашѣ ѿ емоу . врѣмене брачнааго жиджце . подо-  
бааше бо сице приемлаще . влюсти **дѣвѣ** непорочнѣ .

В последнем отрывке видим лексическую вариативность, обусловленную заменами, характерными для редакторской правки преславских книжников: **жъръци** в Супрасльской рукописи при сохраненном **нерен** в Германовом сборнике, **дѣвицѣ** в Супрасльской рукописи при сохраненном **дѣвѣ** в Германовом сборнике. Однако расстановка знаков препинания одинакова в обоих списках, в том числе не меняет своего места и знак после замены **нерен** на **жъръци**. Согласно нашим подсчетам, из 290 мест постановки знаков препинания в равносохранившемся тексте Слова на Благовещение «Πόλιν χάρις εὐαγγέλιον...» в Супрасльской рукописи и Германовом сборнике (есть и пропущенные — впрочем, небольшие — участки текста) в 237 случаях эта постановка в обоих списках совпадает. В чем причина такого постоянства?

По меньшей мере очевидно, что постановка знаков препинания в древнейших славянских рукописях не так хаотична, как принято считать, и для древних книжников имела под собой какие-то основания. Попытаемся посмотреть на расстановку знаков препинания в древнейших списках гомилетических текстов с новой точки зрения, поставив вопрос: не является ли она отражением в них аудиокода? Тогда случаи постоянства их расстановки по спискам в гомилиях, восходящих к одному переводу, можно было бы объяснять ненужностью — с точки зрения древних книжников — что-то изменять в риторических стратегиях, заложенных в протографе.

Если предположить, что постановка знаков препинания в списках гомилетических текстов имеет отношение к отражению аудиокода, необходимо обратиться к мелодическому контуру высказываний.

В статье [Ефимова 2010] мы высказали гипотезу, что в древнейших славянских списках гомилетических текстов знаки препинания сигнализировали не только (и не столько) о границах логических структур и имели функцию обозначения пауз, но им можно приписать значение какого-то сигнала, которым отмечались «события» в развертывании мелодического контура высказывания, — сигнала, не очевидного для нашего современника, но очевидного для древнего книжника. Однако исследование обычными методами мелодического контура высказывания в мертвом языке, представленном лишь письменными фиксациями текстов, абсолютно невозможно. Какие же в нашем распоряжении есть средства, которые позволили бы угадать риторические стратегии древнего книжника (генерирующего текст славянского перевода гомилии), воплощенные в этих элементах аудиокода (если это — действительно элементы аудиокода) и отраженные в списках в виде знаков препинания?

Известно, что в современных славянских языках фразовая интонация каким-то образом зависит от смысловых структур и определяется дискурсивной стратегией генерирующего текст. И. Фужерон, исследовавшая фразовую интонацию в русском языке, пришла к выводу, что «порядок слов в сочетании с интонацией регулируются определенными семантическими задачами» [Фужерон 2004: 200]. Видимо, единственно возможный для современного исследователя путь к пониманию мотиваций древних книжников при постановке на письме знаков препинания в гомилетических текстах — нащупать связь этих знаков с «семантическими задачами», и такая попытка была нами предпринята в указанной статье [Ефимова 2010].

Прежде всего мы отметили ряд позиций, которые предполагают наличие в них п а у з (ср. приведенное выше мнение Р. Вечерки), но в которых старославянская письменность систематически обходится без знаков препинания. Примеры тому можно видеть даже в приведенном нами выше материале. Так, знаки препинания не ставятся перед обращениями. Ср.: Ἐκ θαυμάσιων ἐπι

τὰ θαύματα τοῦ κυρίου βαδίσωμεν, *ἀδελφοί*.. — Отъ чюдесъ къ чюдесемъ господнемъ ходимъ *братна* . Супр 318,12–13 — Отъ чюдесъ къ чюдесъмъ гнѣмъ ходимъ *братна* . УспСб 234а 2–4; Φέρε τοίνυν καὶ ἡμεῖς, *ἀγαπητοί*.. — Гѣ оубо и мы *вълюбьени* . Супр 318,24 — се оубо и мы *вълюбени* . УспСб 234а 21–23. Знаки препинания не обрамляют авторских слов внутри прямой речи и библейских цитат. Ср.: Καὶ ἐξελθόντες, *φησί*, οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον... — и *излѣзъше рече* фарисеи *свѣтъ сътвориша на ісуса* Супр 398,12–14 — и *излѣзъше рече* фарисеи *свѣтъ сътвориша* УспСб 198в 32 – 198г 3. Не всегда знаками препинания разделяются компоненты сложносочиненных и особенно сложноподчиненных предложений<sup>3</sup>.

С другой стороны, мы отметили ряд позиций внутри высказываний, в которых с точки зрения нашего современника знаки препинания стоят «не на своем месте», но в которых постановку знаков препинания можно было бы объяснить дискурсивными стратегиями древнего книжника и связать с особенностями в развертывании мелодического контура высказывания. Предположим, что знаки препинания, которые стоят «не на своем месте», предназначались «первым, генерирующим текст» (автором славянского перевода гомилии) играть роль «меток», которые должны были привлечь внимание воспроизводящего этот текст в храме (проповедника, чтеца), чтобы он мог развертывать мелодический контур высказывания соответствующим образом (не забудем, что рукопись перед его глазами была написана *scriptura continua*), и которые мы могли бы считать отражением

<sup>3</sup> Как показала в свое время Е. Дограмаджиева в труде, посвященном исследованию сложных предложений с придаточными обстоятельственными в старославянских рукописях X–XI вв., придаточные предложения в равной степени могли отделяться от главного знаком препинания, но могли и не отделяться [Дограмаджиева 1984: 56, 92, 121, 140, 158, 168, 188, 208, 218, 233].

в списках соответствующих элементов аудиокода. Знаки препинания, которые стоят «на своем месте» в конце высказывания (= предложения), в таком случае тоже можно соотнести с аудиокодом, а не с логическими структурами, и тоже рассматривать как «метки», отражающие в списках соответствующие элементы аудиокода. Оговоримся, что наши наблюдения и соображения касаются только древнейших списков и только гомилетических текстов, так как значение и принципы постановки знаков в списках текстов других жанров могут иметь другое значение и предназначение. Итак, позиции внутри высказывания, в которых знаки препинания в гомилетических текстах стоят «не на своем месте»<sup>4</sup>.

1. Позиция перед адресатом действия. Постановку знаков препинания в этой позиции можно хорошо проиллюстрировать на примере сопоставления цитации Л 1,26–27 и экзегетических дополнений к ней в равносохраненном тексте в Супрасльской рукописи и Германовом сборнике Слова на Благовещение «Πάλιν χαρῶς εὐαγγέλια...». Обычно в позиции перед адресатом действия знак препинания не ставится. Ср.: Τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη Γαβριὴλ *πρὸς παρθένον...* — **Въ шестыи мѣсць . посланъ бысть аггелъ га҃риилъ къ дѣвци .** Супр 247, 8–10 — **въ . 5 . мѣсць посланъ бѣ ы ангѣлъ га҃риилъ къ дѣви .** Герм 156б 14–15.

<sup>4</sup> Оговоримся также, что определяя эти позиции отчасти в синтаксических категориях, мы используем современную лингвистическую терминологию. Рецензент данного сборника А. А. Гиппиус высказал замечание, что синтаксическими категориями «древний книжник, безусловно, не мыслил». Мы, разумеется, не думаем, что древний книжник мыслил в подобных терминах свои риторические стратегии, но тем не менее генерированные им высказывания имели определенные семантические задачи, как имеют их высказывания любого генерирующего текст — и человека образованного, и человека совершенно не образованного, не рефлектирующего по поводу своей речи. Мы же вольны генерированные им структуры анализировать привычным образом.

Несмотря на то, что в Супрасльской рукописи первоначальное **ДѢВАГА** заменено преславскими книжниками на **ДѢВНИЦА**, оба списка перед адресатом действия знака препинания не имеют. Однако в случаях, когда адресату придано определение, наблюдается постановка знака: *ἀπεστάλη δοῦλος ἀσώματος πρὸς παρθένον ἀμιόλυντον* — **посланъ бысть рабъ бесплътнь . къ рабѣ непорочнѣ** . Супр 244, 18–20 — **посланъ бѣ ы рабъ бесплътны , къ двѣи чистѣи** . Герм 154б 10–11; *Ὁὐ πρόην ἀπεστάλης ἀπ' ἐμοῦ πρὸς Ζαχαρίαν τὸν ἱερέα;* — **не прѣжде ли отъ мене посъланъ бысть . къ захарии жърьцоу** . Супр 249, 4–5 — **не прѣжде ли ѿ мене посланъ бѣ ы , къ захарии сѣлю** . Герм 158а 15–16; *Τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ, φησὶν, ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριήλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρὶ* — **въ шестъи мѣсѣцъ рече посланъ бысть аггелъ гавриилъ отъ бога . къ двѣици обржченѣ мжжоу** . Супр 244, 3–5 — **въ . ѿ . мѣцъ посланъ бѣ ы аглѣ гавриилъ ѿ бѣ . къ двѣици обржченѣ мжжоу** . Герм 154а 10–12.

2. Позиция перед распространенным определением. В этой позиции обычна постановка знака. Ср. в трех списках Слова на Благовещение «Πάλιν χαρᾶς εὐαγγέλια...»: Χαῖρε, κεχαριτωμένη [χαῖρε] τοῦ χηρεύσαντος κόσμου νυμφότοκε ἀμίαντε. — **радоуи сѣ обрадованага невѣсто . и родительнице чиста . започѣвшоуоумоу въсемоу мироу** . Супр 251, 11–13 — **раѣи сѣ възрадован'наа невѣсто . и родительнице чѣтаа . започѣвшоуоумоу въсемоу мироу** . Герм 160а 8–11 — **раѣи сѣ възрадован'наа невѣсто и родительнице чиѣтаа . започѣвшоуоумоу въсемоу мироу** . Григ.

3. Позиция перед инфинитивной конструкцией. В этой позиции также обычна постановка знака. Ср.: *ἀπεστάλη Γαβριήλ, ἄξιον εὐτρεπίσαι τῷ καθαρῷ νυμφίῳ τὸν θάλαμον* — **посъланъ бысть гавриилъ . подовьнь оуготовати чистоуоумоу женихоу чрътогъ** . Супр 244, 10–12 — **посланъ бѣ ы гавриилъ . ѡготовати чѣтомѣ женихоу чрътогъ** . Герм 154б 2–4.

4. Позиция перед словом, требующим особого экспрессивного произнесения. Наши наблюдения показывают, что перед словами, требующего какого-то особенного внимания реципиентов (паствы) и, следовательно, какого-то особого выделения их проповедником (то есть произносящим текст гомилии вслух, чтецом), ставились знаки препинания, которые играли роль своеобразной «метки». О верности такой догадки свидетельствуют, как кажется, случаи постановки знаков препинания внутри словосочетаний и даже сложных слов (ср., например, приведенный выше пример постановки знака препинания внутри словосочетания **праздникомъ . любивъжъ**, переводящего греческий композит  $\phi\lambda\acute{\epsilon}\omicron\rho\tau\omicron\nu$ ). Однако определение этой позиции менее всего поддается формализации, так как постановка знака препинания в ней зависит не только от субъективной оценки содержания текста гомилии «первым, генерирующим славянский текст» (то есть переводчиком), но в известной мере может зависеть и от субъективной оценки содержания текста также и редактирующим перевод, и даже писцом. Приведем в качестве примера расхождение в постановке знаков по спискам в следующем пассаже из Слова о зависти (Супр 398,15–27 = УспСб 198г 6–27):

Ἡ πηγὴ τῶν ἀγαθῶν ποταμῆδὸν αὐτοῖς τὰς εὐεργεσίας ἐβλάστησεν, οἱ δὲ καὶ ἀντλοῦντες τὴν χάριν, φονοκτόνους βουλάς ἐν καρδίας ἐσώρευον. Ὅτε οἱ τὰ τραύματα ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντες... ἀπηλλάττοντο, τότε ἐκεῖνοι ἐν σώματι τραύματα μὴ ἔχοντες, ὑπὸ τοῦ φθόνου τηκόμενοι ὠδυνῶντο. Οἱ πεινῶντες αὐτῶν ἐπ' ἐρημίας, εἰς κόρον ἐτρέποντο· κἀκεῖνοι ἐν εὐθηνίᾳ πίστεως λιμῶ ἀπιστίας ἐφθείροντο. Τὸ ὕδωρ εἰς οἶνον μετεβάλλετο, ἐκεῖνοι δὲ τοῦ οἴνου μὴ γευσάμενοι, τῷ φθόνῳ μεθύοντες περιεφέροντο.

— Супрасльская рукопись:

**источ'никъ благънихъ . рѣками имъ благодѣанна дастъ . сии же и чрѣпъжште благодѣтъ . оубоиство въ срѣд'цихъ събираахж**

. кгда строупы на себѣ имѣѡште<sup>1</sup> избываахѡ . тѣгда они на тѣлесн строупѣ не имѣѡште завистиѡ стрѣчеми срьдци болахѡ . алчжшти-и-ихѣ въ поустыни . до сытости крѣмими бѣахѡ . а они въ говинѣ вѣры . гладомь невѣрствиа мьрѣхѡ . вода на вино прѣлагама бѣаше . а они вина не въкоусивѣше . *завистиѡ* оупивѣше са зываахѡ .

— Успенский сборник:

источникъ благиныхъ рѣками имѣ блгодѣанна дасть . си же чрѣплюще блгодѣтъ . оубонство въ срьдцихѣ събираахѡ . кгда строупы на себѣ имѣюще избываахѡ . тѣгда они на тѣлесн строупѣ не имѣюще завистию стрѣчеми срьдци болахѡ . алчюциихѣ въ поустыни до сытости крѣмими бѣахѡ . а они въ говинѣ вѣры *гладьмь* невѣрствиа мьрѣхѡ . вода на вино прѣлагама бѣаше . а они вина не въкоусивѣше *завистию* оупивѣше са зываахѡ .

Редактор текста в Супрасльской рукописи счел нужным поставить для выделения, особого произнесения знаки препинания перед словами *рѣками* (что, кстати, коррелирует с постановкой знака перед словом *оубонство*, требующего, несомненно, выделения), *досытости*, *гладомь*, *завистиѡ*, однако в Успенском сборнике перед словами *рѣками*, *досытости*, *гладомь*, *завистиѡ* таких «меток» нет. Подобные несовпадения в списках следует, видимо, объяснять неизбежностью индивидуальных трактовок текста в местах, их допускающих, и, следовательно, индивидуальных представлений о должном развертывании мелодического контура высказывания. В статье [Ефимова 2010] такие места мы назвали «зонами свободного выбора», употребляя термин, использованный в свое время Т. М. Николаевой для других, но сходных структур [Николаева 1968; Николаева 1973: 78].

Тексты в славянских списках, восходящих к разным переводам одной и той же гомили, разнятся достаточно, чтобы постановка

знаков препинания в них тоже была различной. Вместе с тем в этих списках наблюдаются те же общие принципы постановки знаков препинания, которые были отмечены нами выше. Ср., например, постановку знаков препинания в следующем пассаже из списков Слова на Благовещение «Ἀδελφοί, βασιλικῶν μυστηρίων ἑορτὴν ἑορτάζομεν σήμερον...»:

Καὶ ὁ ἄγγελος· «Τοῦτο γάρ ἐστι, Μαρία, τὸ ξένον μυστήριον, ὅτι πάντες ἀπέθανον καὶ ὁ σὸς υἱὸς νικήσει τὸν θάνατον, νεκροὺς ἐγερεῖ, μνημεῖα ἀνοίξει, ταρτάρου κλεῖθρα συντρίψει, πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἀναστήσει· ἐκ γὰρ ἀθανάτου γεννηθεὶς, θανατώσει τὸν θάνατον. Μηκέτι ἀπιστήσης ἵνα μὴ ὑπὸ ἔγκλημα πεσῆς. Περὶ οὗ γὰρ λέγω σοι ἤδη εἰς τὴν σὴν κοιλίαν διὰ τῆς ἀκοῆς εἰσπεπλήθηκε, τῆς σῆς γαστρὸς τὰ ἐγκαίνια ἐπιτελῶν». Καὶ ἡ παρθένος εἶπεν· «Ἴνα τούτοις συνθῶμαι, πρῶτόν με πληροφορήσον, πῶς καὶ υἱὸς Ὑψίστου καὶ υἱὸς Δαυὶδ ὁ ἐξ ἐμοῦ μέλλων, ὡς λέγεις, τίκτεσθαι ἐν γῆ, αὐτὸν λέγεις ἀπάτορα καὶ πῶς τοὺς δύο πατέρα ἐκήρυξας».

— Супрасльская рукопись:

И аггелъ отъвѣшта . се бо то ти кстѣ марик дивно и таино . како вси оумрѣша а твои сынъ съмръть побѣдитѣ . мрътвѣца вѣставитѣ . гробѣы отъвръзетѣ . адовѣы клоуца съкроушитѣ . многа тѣлеса оумрътѣшнихъ въскрѣситѣ . отъ бесъмрътьна бо родивъ са съмръть оуморитѣ . Не мози не вѣровати да не вѣ винж вѣпадеши . о немъ бо глаголаж . оуже вѣ твоѣж жтробѣж слышаниимъ вѣскочи . твоѣж жтробѣы поновькнига творѣа . И дѣвица рече . да ти кмоу вѣрѣж имѣ . прѣвок ми обличи . како и сынъ вѣшьняго и сынъ давидовъ . кже отъ мене хоштетѣ са какоже глаголеши родити са на земи . кмоуже мѣниши бѣти безъ отьца . то како дѣва отьца нарече .

— Венский кодекс № 137:

ῶвѣца же аггѣлъ се бо естъ прѣдивна таина дѣо . како вси Ѱмрѣшѣ . а твои снѣ побѣдити имать съмрътѣ . мрътвѣцѣ

въздвигнеть . гровы ѿврзетци . адова враѣ ськроушить . многа тѣлеса Ѹсопшихъ въскрѣсить . ѿ бесмрѣтнааго рождень бывъ . оуморить сьмрѣ . то Ѹже к томоу не не вѣроуи да не повинна бждеши . ѡ немже бо гл҃а юже въ твоє чрѣво слоухомъ вышель . твоего чрѣва ѡбновениѣ твора . реѣ же двѣѣ . аще хоцеша да ти симъ словесемъ вѣрж имж . ѡ прѣвѣмъ извѣсто ми рѣци . како и сѣнь вышнѣаго и сѣнь двѣдовъ . ражѣаемы ѿ менѣ такоже гл҃еша бждеть . на земли гл҃еша тако безъ ѡца бждеть . то како два ѡца еси изрекль .

\* \* \*

Подводя итог сказанному, мы склонны объяснять постоянство и вариативность описанных нами выше элементов в древнейших славянских списках гомилетических текстов стремлением книжников, с одной стороны, сохранять аудиокод первого перевода, но, с другой стороны, делать его максимально понятным для реципиентов.

#### ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ РУКОПИСЕЙ

Герм — Германов сборник, среднеболгарская рукопись 1358/1359 г.; изд.: *Е. Мирчева*. Германов сборник от 1358/1359 г.: Изследване и издание на текста. София, 2006.

Гом-Вейк — «Гомилия ван Вейка» в Венском кодексе № 137 (152), среднеболгарская рукопись XIII в.; изд.: *N. van Wijk*. Die älteste kirchen-slavische Übersetzung der Homilie Eἰς τὸν εὐαγγέλιον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου // *Byzantinoslavica*. Roč. 7. Praha, 1937/1938 (text — S. 109–112).

Зогр — Зографское евангелие, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *V. Jagić*. Quattuor evangeliorum codex glagoliticum dim Zogra-phensis nunc Petropolitanus. Berolini, 1879.

Мар — Мариинское евангелие, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *В. И. Ягич*. Мариинское четвероевангелие. Graz, 1960.

Син — Синайская псалтырь, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *С. Н. Северьянов*. Синайская псалтырь. Graz, 1954.

Супр — Супрасльская рукопись, старославянская рукопись X–XI вв.; изд.: *S. Severjanov. Codex Suprasliensis / Editiones monumentorum slavico-rum veteris dialecti. Vol. I–II. Graz, 1956.*

УспСб — Успенский сборник, древнерусская рукопись XII–XIII вв.; изд.: Успенский сборник, древнерусская рукопись XII–XIII вв. / Изд. подг.: *О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. Под ред. С. И. Коткова. М., 1971.*

#### ЛИТЕРАТУРА

Благова 1966: *Э. Благова. Гомилии Супрасльского и Успенского сборников // Исследования источников по истории русского языка и письменности. М., 1966.*

Благова 1980: *Э. Благова. Лексика Супрасльской рукописи и лексика Иоанна Ексарха // Проучвания върху Супрасльския сборник — старобългарски паметник от X век. София, 1980.*

Благова 1982: *Э. Благова. Библейские цитаты в Успенском сборнике XII–XIII вв. // Cyrillomethodianum. VI. Thessaloniki, 1982.*

Верещагин 1985: *Е. М. Верещагин. Великоморавский этап развития первого литературного языка славян: становление терминологической лексики // Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. М., 1985.*

Дограмаджиева 1984: *Е. Дограмаджиева. Обстоятелствените изречения в книжовния старобългарски език. София, 1984.*

Дунков 1985: *Д. Дунков. Супрасльският сборник и етапи в развитието на преславската редакция на старобългарските книги // Език и литература. София, 1985. № 5.*

Ефимова 2010: *В. С. Ефимова. К вопросу о значении так называемых «знаков препинания» в древнейших славянских списках гомилетических текстов // Славяноведение. 2010. № 2.*

Заимов — Капалдо 1983: *Й. Заимов, М. Капалдо. Супрасльски или Ретков сборник. В 2 т. София, 1982–1983.*

Иванова-Мирчева 1979: *Д. Иванова-Мирчева. Архаичен препис на слово № 21 от Супрасльския сборник // Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София, 1979.*

Мирчева 1997: *Е. Мирчева*. Прояви на преславската преводаческа и редакторска школа в слово № 21 от Супрасълския сборник // Старобългаристика. Год. XXI. 1997. № 2.

Мирчева 2006: *Е. Мирчева*. Увод // Германов сборник от 1358/1358 г.: Изследване и издание на текста. София, 2006.

Николаева 1968: *Т. М. Николаева*. О соотношении сегментных указателей и суперсегментных языковых средств // Вопросы языкознания. 1968. № 6.

Николаева 1973: *Т. М. Николаева*. Смысловое членение текста и его индивидуальные варианты // *Semiotyka i struktura tekstu*. Warszawa, 1973.

Николаева 2000: *Т. М. Николаева*. От звука к тексту. М., 2000.

Николаева 2009: *Т. М. Николаева*. Как и почему повторы служат скрепами текста? (На материале русской поэзии) // *Revue des études slave*. Т. 80. Paris, 2009. Fasc. 1–2.

Пиккио 2003: *Р. Пиккио*. Функция библейских тематических ключей в литературном коде православного славянства // *Р. Пиккио*. *Slavia Orthodoxa: Литература и язык*. М., 2003. (= *R. Picchio*. *The Function of Biblical Thematic Clues in the Literary Code of Slavia Orthodoxa* // *Slavica Hierosolymitana*. Slavic Studies of the Hebrew University. Jerusalem, 1997. Vol. 1).

Северьянов 1956: *С. Северьянов*. Супрасльская рукопись / *Editiones monumentorum slavie veteris dialecti*. Vol. I–II. Graz, 1956.

Славова 1989: *Т. Славова*. Преславска редакция на Кирило-Методиевия старобългарски евангелски превод // Кирило-Методиевски студии. Кн. 6. София, 1989.

Федер — Спасова 2006: *У. Федер, М. Спасова*. Преписване, поправка, редактиране и сверка на славянския превод на три Златоустови Великопостни слова // Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006.

Фужерон 2004: *И. Фужерон*. Интонация, порядок слов и межфразовые связи // Вербальная и невербальная опоры пространства межфразовых связей. М., 2004.

Bláhová 1963: *Е. Bláhová*. Homilie Clozianu a homiliáře Mihanovičova // *Slavia*. Roč. 32. Seš. 1. Praha, 1963.

Bláhová 2008: *Е. Bláhová*. Homilie o sv. Petru a Pavlovi mezi nejstaršími staroslověnskými homiliemi // *Slavia*. Roč. 77. Seš. 4. Praha, 2008.

Bláhová-Dvořáková 1962: *Е. Bláhová-Dvořáková*. Syntax anonymní homilie rukopisu Clozova // *Slavia*. Roč. 31. Seš. 2. Praha, 1962.

Jagić 1913: *V. Jagić*. Zum Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 1913.

Merk 1984: *Merk A. S. J.* Novum Testamentum graece et latine: Apparatu critico instructum edidit Augustinus Merk S. J. Ed. 10. Romae, 1984.

Rahlfs 1952: *Septuaginta* / Ed. *A. Rahlfs*. Vol. I–II. Ed. 5. London, 1952.

Robinson — Pierpont 2005: *M. A. Robinson, W. G. Pierpont*. The New Testament in the original Greek: Byzantine Textform. Southborough, Mass., 2005.

Večerka 1989: *R. Večerka*. Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax. 1. Die lineare Satzorganisation. Freiburg, 1989. (Monumenta linguae slavicae. T. XXVII.)

Wijk 1937/38: *N. van Wijk*. Die älteste kirchenslavische Übersetzung der Homilie: Εἰς τὸν εὐαγγελισμόν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου // *Byzantinoslavica*. Roč. VII. Praha, 1937–1938.

Ф. Р. Минлос

**Порядок слов:  
копирование и системность  
(на материале средневековой славянской письменности)**

Средневековая письменность на славянских языках сформировалась под влиянием греческой и латинской книжности. Наиболее осязаемым проводником этого влияния служили, естественно, многочисленные переводы с этих языков. Древнейшим переводческим техникам посвящена обширная литература. Важнейшим параметром для оценки этих техник является противопоставление буквального перевода и творческой передачи исходного текста (в частности, первый пласт переводов, который связывается с миссией Кирилла-Константина, выделяется как более творческий). На пути такого исследования стоит много теоретических и эмпирических препятствий. Например, при обнаружении новых вариантов греческих текстов известные переводы могут оказываться более буквальными, чем можно было предположить до этого, см. [Ефимова 2006: 9]. Однако в более общей славистической перспективе возникает потребность отделить в грамматике средневековых текстов заимствованные элементы от исконных. В рамках сравнительно-исторической программы исследований ценность представляет почти исключительно выделение исконных элементов, позволяющее продвинуться в сторону построения реконструкции некоторого фрагмента праславянского языка (например, работа В. Н. Топорова «Локатив в славянских языках» [Топоров 1961], выполнена целиком в рамках этой программы).

В нашей работе славянские переводы рассматриваются в ином контексте: нас интересует сама ситуация языкового контакта, интересует, как иноязычные языковые черты вписались в славянский лингвистический инструментарий.

Изучение базовых моделей порядка слов в контексте языковых контактов имеет противоречивую природу. С одной стороны, можно привести множество примеров предполагаемой контактной передачи базового порядка слов. Так, в программу нормализации эстонского языка, проводившейся Йоханнесом Аавиком, входило искоренение порядка слов с конечной позицией глагола, воспринимавшейся как германизм [Ehala 2000], в то время как порядок слов в посессивной именной группе в современном эстонском языке сформировался под влиянием русского языка [Lehiste 1979]. Базовые порядки в предложении часто характеризуют большие контактные зоны (см. про порядок SVO в юго-восточной Азии [Enfield 2001: 259], про порядок SOV в области Vauré — [Epps 2006: 284], см. также ссылки в [Aikhenvald 2006: 17])<sup>1</sup>. Согласуемые определения находятся в препозиции в большинстве болгарских диалектов, но в постпозиции в диалектах, которые подверглись румынскому влиянию [Младенов 1969: 161; Стойков 1967: 326–327]. С другой стороны, крайне частотные явления — как порядок SOV — сами по себе не могут служить надежным основанием для регистрации языковых контактов, см. [Aikhenvald 2006: 12]. Подобные абстрактные параметры имеют практически 2–3 допустимых значения, поэтому любое совпадение значений вне конкретного лингвистического и внелингвистического контекста может быть случайным.

В настоящей работе средневековые славянские тексты анализируются с точки зрения единственного параметра — линейного положения

---

<sup>1</sup> Тем более любопытно, что иногда в контактных ареалах две языковые группы сохраняют два разных порядка слов (см. про австронезийские и папуасские языки Восточного Тимора в [Hajek 2006: 164]).

притяжательного местоимения относительно существительного (стоит ли местоимение перед существительным, как в сочетании *моя рука*, или после, как в *рука моя*). Выбор такой очень частной проблемы обусловлен тем, что эти сочетания особенно часто встречаются в текстах и, соответственно, они действительно могли служить важным социолингвистическим «маркером» текста (а исследователю действительно легко собрать релевантный материал).

Порядок слов в рассматриваемой конструкции может быть обусловлен различными синтаксическими и семантико-прагматическими факторами. Однако мы в настоящей работе абстрагируемся от этих связей и рассматриваем вопрос о соотношении двух порядков (условно говоря, *моя рука* и *рука моя*) в разных текстах. Если рассматривать материал в такой перспективе, можно расположить тексты на шкале препозитивности / постпозитивности. На одном, «постпозитивном» конце этой шкалы окажутся переводы сакральных текстов (Радослав Вечерка [Večerka 1989: 79] приводит данные по памятникам старославянского канона, в которых из библейских книг отражены только Евангелия и псалмы; в [Večerka 2006: 218] он более обобщенно говорит о постпозиции притяжательных и указательных местоимений как о признаке «библейского» стиля в старославянском). На другом конце будут непереводные деловые тексты с устойчивой препозицией местоимения. Такая картина подталкивает к тому, чтобы атрибутировать постпозицию атрибутов как результат опосредованного греческого и латинского влияния.

Анализируемый параметр является социолингвистической переменной. Более конкретно, в рамках традиционной социолингвистической классификации, восходящей к работам Уильяма Лабова, речь идет о социолингвистическом маркере (в отличие от стереотипа и индикатора) — т. е. переменная не является предметом лингвистической рефлексии, но носитель языка, скорее всего, может менять значение переменной в зависимости от контекста (в нашем случае — в зависимости от типа текста). Этот параметр, естественно, имеет

статистическую природу — т. е. предметом изучения является не наличие / отсутствие того или иного порядка, а их процентное соотношение.

Более детальный анализ контактной ситуации часто демонстрирует, что конструкция, которая может интерпретироваться как результат языковых контактов, может получать и более сложную интерпретацию — как результат внутриязыкового развития (или консервации архаизма), усиленного контактом, т. е. иметь «множественную мотивацию» [Aikhenvald 2006: 9, 22]. Мог ли праславянский язык иметь последовательный порядок AN (согласуемое определение-существительное)? Такой порядок достаточно устойчиво демонстрируют балтийские языки. Начиная со знаменитой статьи Гринберга [Greenberg 1963], в классической типологии порядка слов предполагалось, что порядок AN чаще встречается в языках с финальным положением глагола (и с послелогоми). В рамках гринберговских интерпретаций можно было бы предполагать порядок NA в праславянском на основании общеславянского порядка VO (глагол — объект). Правда, в древнейших славянских текстах нередко фиксируется и порядок VO (отчасти под иноязычным влиянием), который Гринберг еще более уверенно ассоциировал с порядком NA, но в любом случае порядок OV для славянских языков наименее характерен; впрочем, он довольно часто фиксируется в современном литовском языке [Завьялова 2006], и, как ни странно, в современном разговорном русском [Слюсарь 2010]. Однако Метью Драйер [Dryer 1988] показал, что вывод о связи положения атрибута и положения объекта основан на некорректных подсчетах. Поэтому ничего не мешает предполагать, что в праславянском с высокой вероятностью преобладал порядок слов AN.

Анализу конкретного материала следует дать небольшое техническое предупреждение. В некоторых случаях мы различаем простые и сложные именные группы. Простые группы состоят только из существительного, притяжательного местоимения и, факультативно,

предлога. Сложными мы называем любые другие группы, чаще всего это группы с другими согласуемыми определениями и с аппозитивами. Так как эти элементы именной группы сильно влияют на положение притяжательного местоимения (см. [Минлос 2010]), в идеале все контексты должны анализироваться порознь. Тем не менее, Радослав Вечерка, чей количественный анализ старославянских текстов [Večerka 1989: 78–79] очень важен для нашего исследования, не проводит никаких различий между разными типами именных групп. Рассмотрим на одном примере, к чему может приводить такое различие. В первых 1000 строках Жития Андрея Юродивого (восточнославянский перевод XI–XII в. по изданию [Молдован 2000]) притяжательное местоимение находится в препозиции в 15% (15 из 100) простых именных групп и в 22% (25 из 116) от общего числа именных групп. Это различие связано с тем, что среди сложных именных групп много примеров с препозитивным посессивом, стоящим после прилагательного (например, *честная своя оуста* 713). Эти группы будут подробнее рассмотрены ниже. В некоторых случаях мы тоже рассматриваем все именные группы (в частности потому, что этот параметр не всегда заметно влияет на линейный порядок).

Как уже упоминалось, самыми «препозитивными» являются древнейшие юридические тексты. В «Русской правде» по Троицкому списку XIV в. 26 простых именных групп с согласуемым притяжательным местоимением, и 21 из них (81%) демонстрирует препозицию; в смоленских договорах<sup>2</sup> препозиция обнаруживается в 78%

---

<sup>2</sup> Смоленские торговые договоры (цитируются по [Смол. грамоты]) — это договор неизвестного смоленского князя с Ригою и готским берегом 1220-х гг. (Смол. дог. 1220-х гг.) и т. н. Смоленская торговая правда, или торговый договор Смоленска с Ригою и Готским берегом (первая редакция датируется 1229 г., сокращенно Смол. дог. 1229 г.). Последний представлен в двух редакциях и шести списках. Для текстов предлагались различные датировки в пределах XIII–XIV вв. При подсчете используется сумма всех несопадающих примеров во всех списках.

(29 из 37) таких групп. Устойчивая препозиция древнерусских деловых документах отмечалась исследователями, ср. высказывание С. П. Обнорского про Русскую правду: «обращает на себя внимание устойчивое препозитивное употребление местоимения *свои* (...). Эта устойчивость препозиции местоимения *свои* связывается с деловым жанром памятника» [Обнорский 1946: 26]). Еще более яркая картина наблюдается в старохорватских юридических текстах. В Винодольском законе 1288 г. (по фрагментам, опубликованным в [Štefanić 1969: 90–94]) обнаруживается только препозиция согласуемых притяжательных местоимений (10 примеров): *svojih stariji[h i is]kušenih zakon, svojih otac, od svojih ded, od svojih otac i ded, od svojih starijih, za svoje jiden'je, za svoje obitelji, od svojih perman, za svoju obitelj, svoj dvor*. Исследуя *Razvod Istrianski* 1325 г. (по публикации [Starčević 1852]) мы учитывали и согласуемые, и несогласуемые притяжательные местоимения (примеров с несогласуемыми местоимениями, как это всегда бывает, значительно меньше). Оказалось, что почти в 98% случаев притяжательное местоимение находится в препозиции (131 с порядком **PossNoun**, 3 примера с порядком **NounPoss**). Ниже приводится материал по этому памятнику, причем именные группы с одним и тем же существительным сгруппированы вместе; орфографические расхождения не оговариваются. **NounPoss**: *živine nih, listom svoim* (253), *listi svoje* (256); **PossNoun**: *svoje pravice* (21x), *vaše pravice* (9x), *svoimi pravicami* (2x), *vaše pravice, vaše pravice* (4x), *suprot našoj pravici, moje pravice* (2x); *svoim zlamenim, svojimi zlameni* (4x), *svoje zlamenee* (2x), *svoja zlamenja; vašim kmetom* (2x), *svoimi kmeti* (4x), *moim kmetom, z moimi kmeti, svojih kmet, moje kmeti; prež ih kuntradi, po vsoj našoj kuntradi, moju kuntradu, na svoju kuntradu; vaš termen i kunfin, na svoi termen* (2x), *nih pravi termen, nih pravi termeni, nih termeni, svoje termeni; svoje živine* (5x), *svoimi živinami, z našimi živinami; na svoj oriinal, svoi oriinal; našim susedom, naši susedi; na svoju stran* (3x), *na našu stran, svoju stran; svoi sanam* (3x), *naš sanam; od svojih starieh, od naših stariih; svoimi ljudi, svojih ludi, svoje ludi; moi*

*otac (2x), vaš otac (2x); svoga gdna, vašego pravega gdna, nih gdn; našega Isukrista, svojim dobrim svetom, svoje uživala, plnu svoju oblast, na svoj kunfin, svojim gdnom Macolom, svoi dvor, svoje vasi Gradina, meju moim gradom, vaše starce, taj nih razgovor, svoju polovicu (2x), svoje crekve, za vsemi nih zemlami, vaše zavodi, vaša pisma, svoi list, negovu oblast, svoju loki, svoi pol (3x), svoimi visučemi pečati, vaša posilena, za vsem nih pristojanem, ni jednogo nih grma, za svoje potrebe, svoje četre sluge, nih ruku.* Любопытно, что в выходной записи по па Микулы, сопровождающей текст, используется постпозиция местоимения (*zlamene moje*), и эту же формулу 2 раза повторяют в своих приписках позднейшие переписчики (в одной из них также встречается препозиция, *pravim svojim pečatom pritisnietem*). С той же лексемой в основном тексте надежно зафиксирована препозиция: *svoim zlamenim, svojimi zlameni (4x), svoje zlamenee (2x), svoja zlamenja*.

С другой стороны, яркой особенностью славянского перевода Библии является последовательная постпозиция многих атрибутов (см. [Widnäs 1952: 97–98] о Евангелии). Точные количественные данные по соотношению препозиции и постпозиции притяжательных местоимений в старославянских текстах приводятся в [Večerka 1989: 78]. Согласно этим данным, в этом отношении переводы Евангелия и Енинский Апостол (в которых препозиция зафиксирована в 4%), а также перевод псалмов в Синайской псалтыри (менее 1% препозиции) заметно отличаются от большинства других текстов: требник (Синайский Евхологий, или Euchologium Sinaiticum) и гомилии (Клоцов сборник, или Glagolita Clozianus) демонстрируют около 20% препозитивных посессивов, а жития (Супрасльская рукопись, жития Кирилла и Мефодия) — 32–38%. Так как для большинства этих текстов есть греческие или латинские оригиналы, «внутреннего» анализа недостаточно: нужно определить, возникла ли разница в переводе (что вполне возможно, учитывая что, по всей видимости, Библия в среднем переводилась более буквально, чем другие тексты) или была определена уже исходными текстами. Хорошо известно, что относительно

последовательная постпозиция притяжательных местоимений в евангельских переводах была создана, в частности, лингвистической установкой переводчиков, а не только греческим оригиналом: несоответствие порядка слов чаще проявляется в том, что постпозиция славянского перевода соответствует греческой препозиции, что видно из примеров, которые приводятся в [Hogálek 1954: 227] и [Widnäs 1952: 97–98]. Точные данные приводятся в монографии [Večerka 1989: 78] и в статье [Noha 1971], специально посвященной этой проблеме в текстах Евангелия. Милош Нога различает «место» (чешск. *místo*) и «пример» (чешск. *doklad*): «пример» находится в конкретной рукописи, а «место» — в обобщенном евангельском тексте (которое может иметь разные переводы в разных рукописях). Оказывается, что в тех случаях, в которых ни греческие, ни славянские рукописи не содержат колебаний порядка слов, греческая препозиция заменена на славянскую постпозицию в 17 местах (53 примера), а обратный случай представлен в 5 местах (13 примеров). Любопытный пример представлен в Архангельском Евангелии 1092 года (древнерусское евангелие-апракос): евангельские чтения (с очень небольшим процентом препозиции) часто вводятся формулой, содержащей препозицию притяжательного местоимения: *рече гь своимь оученикомъ* (например, 14v, 15r, 17r, 18r, 18v, 19v; распространенная вводная формула, см. [Noha 1971: 266]). Следовательно, основной и обрамляющий тексты могли противопоставляться по исследуемому параметру (впрочем, указанная формула тоже может считаться евангельской цитатой). Однако, по данным в [Večerka 1989: 78], точно такое же направление замены характерно и для других текстов — для Синийского Евхология, Клоцова сборника, Супрасльской рукописи и Номоканона. Особенно показательны данные таблицы в [Večerka 1989: 79]: примеры, в которых греческая постпозиция передана в славянском препозицией, составляют ничтожную долю среди греческих примеров с постпозицией; в то же время среди греческих примеров препозицией значительная часть (20–40%) примеров переведены постпозицией.

Как уже упомянуто выше, на шкале линейного порядка между юридическими текстами и Библией располагаются, в частности, агиографические тексты. Несколько меньшую долю препозиции, чем старославянские жития, демонстрирует южнославянский перевод Синайского патерика (перевод византийского житийного сборника Λεζωνάριον; древнерусская рукопись XI–XII вв., изданная в [Голышенко, Дубровина 1967]). В проанализированном фрагменте (листы 3r–30v) препозиция составляет 19% (17 из 89) от простых именных групп. В какой-то степени это различие объясняется различиями в методике подсчета, о которых говорилось выше, там же рассматривался и фрагмент Жития Юродивого (в простых группах препозиция составляет 15%). Примечательно, что в двух оригинальных восточнославянских агиографических текстах XII века (по Успенскому сборнику, изданному в [Князевская, Демьянов, Ляпон 1971]) процент препозиции ниже, чем в переводных: 14% (35 из 244) в Житии Феодосия Печерского<sup>3</sup> и всего 8% в проанализированной части (8б–14г) Жития Бориса и Глеба. Довольно редки препозитивные местоимения также в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона (оригинальном русском тексте XI в., по списку XV в., изданному в [Молдован 1984]) — 11%, т. е. 11 примеров из 101 простой группы. Древнерусские книжники, составляя оригинальные жития (а также философский трактат), использовали постпозицию притяжательного местоимения как маркер сакрального языка еще последовательнее, чем это делалось в переводах (в которых процент постпозиции в какой-то степени определялся оригиналом<sup>4</sup>). Такое маркированное отдаление

---

<sup>3</sup> А. А. Шахматов установил сильное влияние текста жития Саввы Освященного на житие Феодосия Печерского, однако приводимые примеры прямых заимствований ничтожны для количественных оценок.

<sup>4</sup> Как установлено в [Пичхадзе — Родионова 2001: 128], перевод Жития Андрея Юродивого выполнен с довольно строгим воспроизведением греческого порядка слов, в отличие от сборника нравоучительных цитат «Пчела».

от обыденного языка напоминает последовательное избавление от энклитического расположения *ся*, проанализированное А. А. Зализняком. По предположению А. А. Зализняка, создавая житие Феодосия Печерского, Нестор сознательно отталкивался от не книжного языка, избегая препозитивного использования глагольной клитики *сѧ* (коэффициент препозиции *ся* 3–5% в Житии Феодосия Печерского отличается от 6% в Мариинском Евангелии и 16% в Супрасльском кодексе, см. [Зализняк 2008: 214]). Особенно заметна установка на радикально книжную постпозицию местоимений проявилась — по нашим данным — даже не житии Феодосия Печерского, а в житии Бориса и Глеба и в трактате Илариона. Судя по всему, оба текста имели особенно принципиальное значение для становления новой церковной митрополии, чем может объясняться стилистические установки их авторов.

Рассмотрим средневековый текст на хорватском изводе церковнославянского языка, Легенду о св. Павле пустыннике. Критическое издание разных вариантов этого текста предприняла Весна Бадурина-Стипчевич [Badurina-Stipčević 1992]. Согласно ее выводам, некоторые тексты восходят к греческому переводу, некоторые другие — к латинскому. Рассмотрим перевод с латыни по Новлянскому бревиарию 1495 года. Латинский текст дается по изданию [Jérôme 2007]. В большинстве случаев у интересующих нас именных групп нет прямого латинского соответствия. Во многих случаях в латинском тексте по разным причинам нет даже соответствующего существительного (в славянском тексте 13 NounPoss, 2 PossNoun): *t(ê)lo ego* (361b), *glasъ ego* (362c), *v žilišče tvoe* (364d), *t(ê)lo moe* (364d), *l(ê)ta svoê* (364d), *života svoego* (365a), *celova moego* (365b), *br(a)tii svoei* (365b), *s(ve)toe t(ê)lo ego* (365c), *zubi svoimi* (365c), *plač ihъ* (365c), *po naturi ihъ* (365c), *svoê stara ramena* (365d), *života svoego* (365d), *svoemu naravu* (366a). В многих других случаях в латинском тексте нет притяжательного местоимения (соотношение примеров такое же — 17 NounPoss 3 PossNoun): *svoigo moistra Antonia* (360d) — лат. *magistri*;

*ego t(ê)lo* (361b) — лат. *corpore*; *jezyik svoi* (f. 363b) — лат. *linguam*; *sv̄ ses'troju svoeju* (f. 361b) — лат. *cum sonore*; *ženi svoe* (f. 361c) — лат. *uxoris*; *puteť svoim̄* (362 c) — лат. *ulterius*; *lice s'voje* (362d) — лат. *faciem*; *t(ê)lo moe* (363b) — лат. *cadauer*; *pokoju moemu* (364 c) — лат. *dormitionis*; *t(ê)lo moe* (364c) — лат. *corpusculum*; *t(ê)lu svoemu* (364d) — лат. *cadauer*; *v mol'stir̄ svoi* (264d) — лат. *ad monasterium*; *v' mis'li ego* (364d) — лат. *animum*; *2 učēn(i)ca ego* (365a) — лат. *cum duo discipuli*; *d(u)h̄ svoi* (364a) — лат. *spiritum*; *gl(a)vu svoju* (365a) — лат. *capiti*; *nad t(ê)lom ego s(ve)tim* (365c) — лат. *ad cadauer beati*; *v mol'stir̄ svoi* (264d) — лат. *ad monasterium*; *svoim̄ uč(e)n(i)k(o)ť* (365d) — лат. *discipulis*; *domi svoe* (365d) — *domos*. Кроме того, особняком следует рассматривать два примера, в которых в латинском употреблено относительное, а не обычное притяжательное местоимение: *ih ljutost'* (f. 361f) — лат. *cuius et crudelitas*; *bez' negože vole* (365d) — лат. *sine cuius nutu*. Самый регулярный случай соответствия, естественно, включает латинскую и славянскую постпозицию (15 примеров): *v b(o)ga moego* (362b) — лат. *in Deo meo*; *raba svoego* (362b) — лат. *seruum suum*; *stada moego* (362c) — лат. *gregis mei*; *pr̄d' vrati tvoimi* (363b) — лат. *ante postes tuos*; *na prišast'vi tvoem̄* (364b) — лат. *ad aduentum tuum*; *t(ê)lo moe* (364c) — лат. *corpusculum meum*; *t(ê)lo svoe* (364c) — лат. *suae mortis*; *o rizah̄ ego* (364c) — лат. *pallio eius*; *v' prseh̄ ego* (364c) — лат. *in pectore eius*; *k žilišču svoemu* (365a) — лат. *ad habitaculum suum*; *poli rvača tvoego* (265c) — лат. *iuxta bellatorem tuum*; *pr̄d' nogami ego* (365c) — лат. *circa eius pedes*; *ruc̄e i noz̄e ego* (365c) — лат. *manus eius pedesque*; *plemen'čšćine svoje* (365d) — лат. *patrimonia sua*; *um'rših̄ vaših̄* (366a) — лат. *mortuos uestros*. Кроме того, в двух случаях латинская препозиция сохраняются в виде препозиции: *t'voim̄ obrazom̄* (364d) — лат. *tuos... exemplo*; *s'voima očima* (364a) — лат. *illum oculis*; один экземпляр латинской препозиции заменяются на постпозицию: *oči ego i ruc̄e i noz̄e ego* (364d) — лат. *eius oculis manibusque*; наконец, в трех случаях славянская препозиция выступает на месте латинской

постпозиции: *svoego vr(ê)m(e)ne* (362a) — лат. *aetatis suae*; *svoimъ vitezemъ* (364b) — лат. *militibus suis*; *moego tovariša* (364c) — лат. *conseruum meum*. Итак, во всем рассмотренном старохорватском материале 46 именных групп с порядком NounPoss (мы исключили пример с относительным местоимением: *bez' negože vole*) и 11 именных групп с порядком PossNoun, т. е. именные группы с препозицией составляют 19%, что совпадает, например, с соотношением в переводе Синайского патерика. Разделим материал, сопоставимый с латинским (т. е. в оригинале которого тоже было притяжательное местоимение) и несопоставимый. Несопоставимый материал состоит из 36 примеров, из них 6 с препозицией (17%). Сопоставимый материал содержит по крайней мере 21 пример (из сопоставления исключены примеры с относительным местоимением в латыни), среди них 5 примеров с препозицией (22%); если включить примеры с относительным местоимением в латыни в сопоставимые, то различие будет еще более резким. Добавим, что в латыни в 21 сопоставимой группе находится 3 примера с препозицией (т. е. препозиция составляет 14%). Из этого можно сделать следующие выводы. Во-первых, очевидно, что славянский переводчик довольно регулярно добавлял в перевод притяжательные местоимения, отсутствовавшие в латинском оригинале, исходя из нормы церковнославянского языка, сформированной, в частности, под греческим влиянием. Многие притяжательные местоимения в славянском тексте избыточны; при переводе с языка, в котором такие избыточные местоимения не употребляются, они могут быть легко восстановлены. Во-вторых, хотя количество релевантных примеров невелико, можно предположить, что в тех случаях, в которых латинский текст содержал притяжательное местоимение, оно имело сравнительно более существенное значение для текста и поэтому в славянском ставилось в препозиции. Т. е. старохорватский церковнославянский язык и латынь немного по-разному делили на сегменты шкалу информационной значимости притяжательного местоимения: наименее значимые опускались в

латыни и ставились в постпозицию в старохорватском переводе, несколько более значимые стояли в постпозиции и в латыни, и в старохорватском, еще более значимые (небольшой, но очень интересный сегмент шкалы) стояли в постпозиции в латыни, но в препозиции в старохорватском, наконец, наиболее выделенные стояли в препозиции в обоих языках.

Западные хроники и восточнославянские летописи достаточно неоднородны с точки зрения изучаемого параметра. В Хронике попа Дуклянина (старохорватский текст скопирован в XVI в., хотя скорее всего восходит к значительно более древнему оригиналу; для анализа использовано издание [Kukulević 1851]) в простых группах препозиция составляет 19% (19 примеров из 102). В старочешской хронике писателя Бартоша (обследована первая глава по изданию [Erben 1851]) препозитивные группы составляют 25% (19 примеров из 77); в более позднем чешском историческом сочинении «Церковная история» (чешск. *Historie církevní*), написанном в первой половине XVII века Павлом Скалой из Згож (Pavel Skála of Zhoř; обследован фрагмент этого огромного сочинения, см. [Janáček 1984: 25–48]), наблюдается сходный коэффициент в 21% (17 примеров из 80).

Ничтожное количество простых именных групп с препозицией притяжательного местоимения содержится в Галицкой летописи по Ипатьевскому списку: 7% (20 примеров из 292). Эта самая необычная по своему языку и по своей поэтике летопись; часто она сопоставляется со «Словом о полку Игореве», в котором процент препозиции в простых группах тоже очень низок (17%, 2 из 12). В обследованном фрагменте Киевской летописи по Ипатьевскому списку (записи 6620–6656 годов) именные группы с препозицией составляют 21% (44 из 211). Сходное соотношение в Волынской летописи по Ипатьевскому списку (41%, 140 из 340 примеров) и в Новгородской первой летописи по Синодальному списку (46%, 79 из 171 примера); в более поздней Псковской летописи по Строевскому списку препозиции уже значительно больше (67%). С содержательной точки

зрения летописи нельзя однозначно отнести ни к светским, ни к церковным произведениям: излагая преимущественно события светской истории, летописец (духовное лицо) встраивал эти события в церковную историческую концепцию. На лингвистическом уровне этому соответствует так называемый «гибридный» язык летописи, который невозможно целиком отнести ни к светскому («древнерусскому»), ни к церковно-книжному языку. В рамках своего жесткого бинарного членения на «церковнославянский» и «русский» язык Б. А. Успенский относит летописный язык к церковнославянскому, отмечая его «русифицированность» [Успенский 2002: 100–101]; при этом он отмечает наличие церковнославянских синтаксических черт, но умалчивает о некнижных чертах (например, о повторе предлогов). В рамках нашего исследования следует отметить неоднородность летописей с точки зрения исследуемого параметра: если основная часть Ипатьевской летописи (Повесть временных лет, Киевская и Галицкая летопись) имеет соотношение двух порядков, похожее на церковную нарративную литературу (жития), то Новгородская первая летопись и Волынская летопись демонстрируют почти 50% препозитивных групп. В переводных текстах сходного жанра тоже примерно 50% препозиции в простых именных группах: в выборке из «Иудейской войны» (древнерусский перевод XI в., для подсчетов использованы лл. 381а–389а по изданию [Пичхадзе и др. 2004]) препозиция в 30 примерах из 54, что составляет 56%; в выборке из Хроники Григория Амартола (древнерусский перевод XI в., использованы лл. 1–30б Троицкого списка по изданию [Матвеев — Щёголева 2006]) препозиция в 25 примерах из 55, что составляет 45%. Как известно, в Киевской Руси переводились преимущественно религиозные тексты; светские тексты, которые выбирались для перевода, тоже могли интерпретироваться в религиозном контексте. Так, перевод «История иудейской войны» Иосифа Флавия, исходно исторического повествования, предположительно был воспринят в религиозном контексте [Успенский 2002: 62–63; Живов 2002].

Ближе к середине шкалы оказался, как ни странно, восточнославянский минейный сборник XI–XII вв., известный как «Ильина книга» (изданный в [Крысько 2005]). В нем именные группы с препозитивными притяжательными местоимениями составляют 32% (112 из 350). Конечно, этот сборник неоднороден — в некоторых текстах препозиция вообще не отмечена или почти не отмечена, в некоторых других ее очень много.

Любопытное место в этой картине занимает церковнославянский юридический памятник — Пандекты Никона Черногорца (древнерусский перевод XII в., изданный в [Максимович 1998]). В изученном фрагменте (до 152 страницы издания), если изъять опознанные нами цитаты из Библии, доля препозиции в простых группах составляет 64% (43 AN, 24 NA). В данных, которые приводит Р. Вечерка, следует отметить довольно большой процент препозиции в Номоканоне, древнем юридическом памятнике.

Различные светские средневековые тексты занимали часть шкалы от 50 до 100% препозиции. В новгородских берестяных грамотах, как и в Новгородской первой летописи, примеры с препозицией составляют примерно половину всех примеров простых именных групп. Объяснить это большей степенью книжности невозможно. Следовательно, устойчивая препозиция притяжательных местоимений в юридических текстах отражает не только некнижный, но и специальный юридический язык с более строгим синтаксисом. Берестяные грамоты демонстрируют не только большее количество постпозиции, но и более свободный порядок в других сочетаниях, коммуникативные разрывы и т. п.

Глаголические деловые тексты, как кажется, пережили диахроническое изменение от юридических текстов XIII–XIV вв., в которых фиксируется почти 100% препозиции (Винодольский закон, Истринское межевание) до документов XVI в., в которых препозиция занимает примерно 60–65% примеров. В нотариальных документах, записанных глаголице на о. Лошине в конце XVI в. (опубликовано в

[Košuta 1988]; мы использовали только тексты, записанные нотариусом Микулой Корстиничем, т. е. тексты №№ 1–170 в публикации), препозиция притяжательного местоимения представлена в 62% простых групп. Глаголические деловые документы XV–XVI вв., опубликованные в [Vončina 1955], возможно, демонстрируют диахроническое изменение (от 100 до 66% препозиции), происшедшее в определенном жанре старохорватской письменности. В документе 1433 года (№ 1 в публикации) только препозиция: *naš' list'* (2x), *naš' brat'*, *naših' duš'* (2x), *naših' općin'*, *po našei dobri voli*; в тексте 1469 г. (№ 2) 75% препозиции: **PossNoun** *naš' list'* (2x), *v' vašem' stoli, pred naš' stol'*, *pod naše pečate visuće, naše rotne pristave*, **NounPoss** *v razumi svoem', zakona vašego* (№ 2), в тексте 1513 г. (№ 3) уже только 66% препозиции: **PossNoun** *naš (...)' list, naš (...)' list, moe gospodo, naš zakon, svoi del, vaš zakon, vaš list, naš list, pod naše pečate visuće, naše rotne pristave*; **NounPoss** *po dužnom' oficii našem', pečatom' našim' verovanim', pitanê našego, slobodščina vaša, pečatom' naši<m>* (№ 3).

С другой стороны, были и другие жанры светских старохорватских текстов, которые с самого начала отличались от юридических. Так, на Башанской плите (глаголическая надпись, выполненная, вероятно, в 1100 г.) находим один пример с препозицией и один с постпозицией: *[v] dni svoje, [s] svojeju bratiju s devetiju* (в публикации [Štefanić 1969: 70] не восстановлен предлог *[s]*). В записи попа Мартинца (1493 г., опубликована в [Štefanić 1969: 82–84]) практически одинаковое количество примеров с препозицией и постпозицией: **PossNoun** *v mojej hiži, našega gospodina kneza Brnardina Frankapana, našega gospodina, s svojimi ljubvenimi redovnici, svoju počtovanu*; **NounPoss** *s bratju svoju, ljubvenim divocionom svojim, v vrimenta naša, na tržiščih svojih*. У этих текстов были другие коммуникативные задачи — не точная фиксация права, а нарратив.

Можно предположить следующее. Еще до того, как стали появляться многочисленные славянские переводы греческих и латинских

текстов (в той или иной степени копирующие порядок слов соответствующих оригиналов), в славянских языках была возможна как препозиция, так и постпозиция местоимения. Вероятно, положение в препозиции было более нейтральным порядком (преобладавшим в формальном юридическом дискурсе), а положение в постпозиции — инверсией (вполне естественной в поэтическом и разговорном синтаксисе).

Греческие и латинские переводы, в значительной степени копируя порядок слов оригинальных текстов, в основном содержали именные группы с постпозицией притяжательных местоимений. Тексты, ориентированные на эти переводы (например, многие оригинальные жития святых), также в основном содержали постпозицию притяжательных местоимений.

В заимствовании порядка слов нет большой функциональной необходимости. Если верно, что «the more culturally important the pattern is, the more it is diffusible» [Aikhenvald 2006: 17], порядок слов (особенно в именной группе) не должен был бы фигурировать среди основных моделей для заимствований. В. М. Живов [Живов 2004: 10–11] противопоставляет с одной стороны синтаксические явления — как имеющие принципиальное значения для структуры текста — и морфологию, конкретные формы сами по себе не имеют значения для передачи информации, однако могут служить социолингвистическими маркерами. Порядок слов в именной группе с этой точки зрения больше похож на морфологию, чем на «большой» синтаксис: не будучи непосредственно связан с риторическими стратегиями, он может ассоциироваться с определенным типом текстов<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> При переводе, конечно, копирование порядка слов позволяет делать пословный перевод, что по ряду причин может быть предпочтительным. Как констатируется в работе Хайне и Кутевой, важнейший фактор, стоящий за грамматическим сближением языков — сделать категории «mutually compatible and more readily intertranslatable» [Heine, Kuteva 2005: 561]. Однако мы

Согласно модели, предложенной Б. А. Успенским, в Древней Руси сосуществовали два разных языка (церковно-книжный и русский), почти идеально распределенные по функциональным задачам и взаимодополняющие друг друга. Эта бинарная модель была порождена некоторыми особенностями формального моделирования в структурализме (см. критический анализ этих особенностей в [Живов 2004: 39–43]; см. также анализ фактов, радикально противоречащих этой схеме, в [Гиппиус 1996]).

Соотношение двух порядков в разных текстах скорее позволяет расположить их на непрерывной шкале, чем делит на две группы. Соответственно, для интерпретации нашего материала предпочтительнее использовать более сложную модель лингвистических разновидностей средневековых текстов. В некоторых случаях тематика текста (например, юридическая или историческая) оказывается важнее для определения его языка, чем отнесенность текста к религиозной или светской сфере. Разные типы текстов и в греческом имели разный порядок слов в именной группе (см., в частности, таблицу в [Večerka 1989: 79]). Так, в текстах Библии постпозиция местоимений была выдержана наиболее последовательно.

В результате взаимодействия греческого и латинского порядка слов, отраженного в переводных текстах, и собственно славянских тенденций словорасположения, сформировалась средневековая славянская система корреляции типа текстов и количественного соотношения двух порядков в паре существительное-притяжательное местоимение. Эта система была одновременно достаточно нетривиальной (учитывала разные характеристики текста) и достаточно устойчивой.

---

рассматриваем не столько переводческие техники, сколько общую ситуацию в славянской письменности.

## ЛИТЕРАТУРА

Гиппиус 1996: *А. А. Гиппиус*. «Русская Правда» и «Вопрошание Кирика» в Новгородской Кормчей 1282 г. (К характеристике языковой ситуации Древнего Новгорода) // Славяноведение и балканистика 1996. № 1.

Гольшешко, Дубровина 1967: *Синайский патерик* / Подг. *В. С. Гольшешко, В. Ф. Дубровина*. М., 1967.

Ефимова 2006: *В. С. Ефимова*. Старославянская слоообразовательная морфемика. М., 2006.

Живов 2002: *В. М. Живов*. Особенности рецепции византийской культуры в древней Руси // Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002.

Живов 2004: *В. М. Живов*. Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков. М., 2004.

Завьялова 2006: *М. В. Завьялова*. Некоторые замечания по поводу порядка слов в литовском языке в сравнении с русским // Типология грамматических систем славянского пространства. М., 2006.

Зализняк 2008: *А. А. Зализняк*. Древнерусские энклитики. М., 2008.

Князевская, Демьянов, Ляпон 1971: *Успенский сборник XII–XIII вв.* Подг. *О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон*. М., 1971.

Крысько 2005: *Ильина книга*. Рукопись РГАДА, Тип. 131 / [Подг.] *В. Б. Крысько*. М., 2005.

Максимович 1998: *А. К. Максимович*. Пандекты Никона Черногорца в древнерусском переводе XII века (юридические тексты). М., 1998.

Матвеевко — Щёголева 2006: *В. Матвеевко, Л. Щёголева*. Книги временные и образные Георгия Монаха. В 2-х т. М., 2006.

Минлос 2010: *Ф. Р. Минлос*. Что притягивает притяжательные местоимения? или линейная позиция атрибутов // Вопросы русского языкознания. Вып. XIII. Фонетика и грамматика: настоящее, прошедшее, будущее. М., 2010. С. 279–290.

Минлос 2011: *Ф. Р. Минлос*. *Князь великый* или *великый князь*: параметры варьирования // Слова. Концепты. Мифы. К 60-летию Анатолия Федоровича Журавлева. М., 2011.

Младенов 1969: *М. Сл. Младенов*. Говорът на Ново село, Виденско // Трудове по българска диалектология. Кн. 6. София, 1969.

Молдован 1984: *А. М. Молдован*. «Слово о законе и благодати» Илариона. Киев, 1984.

Молдован 2000: *А. М. Молдован*. Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. М., 2000.

Обнорский 1946: *С. П. Обнорский*. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.; Л., 1946.

Пичхадзе и др. 2004: «История Иудейской войны» Иосифа Флавия. Древнерусский перевод / Изд. подг. *А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева, Г. С. Баранкова, А. А. Уткин*. Т. I–II. М., 2004.

Пичхадзе — Родионова 2001: *А. А. Пичхадзе, А. В. Родионова*. О порядке слов в сочетаниях «личная форма глагола — прямое дополнение» в древнерусском языке // *Русский язык в научном освещении*. 2011. №1 (21).

Слюсарь 2010: *Н. А. Слюсарь*. На стыке теорий. Грамматика и информационная структура в русском и других языках. М., 2009.

Стойков 1967: *С. Стойков*. Банатский говор // *Трудове по българска диалектология*. Кн. 3. София, 1967.

Топоров 1961: *В. Н. Топоров*. Локатив в славянских языках. М., 1961.

Успенский 2002: *Б. А. Успенский*. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Изд. 3-е, испр. и доп. М., 2002.

Aikhenvald 2006: *A. Y. Aikhenvald*. Grammars in Contact. A Cross-Linguistic Perspective // Aikhenvald — Dixon 2006.

Aikhenvald — Dixon 2006: *A. Y. Aikhenvald, R. M. Dixon* (eds). Grammars in Contact. A cross-Linguistic Typology. Oxford, 2006.

Badurina-Stipčević 1992: *V. Badurina-Stipčević*. Hrvatskoglagoljska legenda o svetom Pavlu Pustinjaku. Zagreb, 1992.

Dryer 1988: *Mathew S. Dryer*. Object-verb order and adjective-noun order: dispelling a myth // *Lingua*. 75 (1988).

Ehala 2000: *M. Ehala*. How a man changed a parameter value: the loss of SOV in Estonian subclauses // *Historical linguistics*. Vol. 2: Germanic linguistics / Ed. by R. Hogg and L. van Bergen. Berlin, 1995.

Enfield 2001: *N. J. Enfield*. On genetic and areal linguistics in mainland South East Asia: parallel polyfunctionality of «acquire» // *A. Y. Aikhenvald, R. M. W. Dixon* (eds). Areal diffusion and genetic inheritance: problems in comparative linguistics. Oxford, 2001.

Epps 2006: Patience Epps. The Vaupé Melting Pot: Tucanoan Influence on Hup // Aikhenvald — Dixon 2006.

Erben 1851: Bartošova Kronika pražská, od léta páně 1524 až do konce leta 1530 / K vydání upravil *K. J. Erben*. Praha, 1851.

Gianollo 2005: *C. Gianollo*. Constituent structure and parametric resetting in the Latin DP: a diachronic study. Doctoral dissertation. Università di Pisa, 2005.

Greenberg 1963: *J. H. Greenberg*. Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements // Joseph Greenberg (ed.). *Universals of language*. Cambridge MA, 1963.

Hajek 2006: *J. Hajek*. Language Contact in East Timor // Aikhenvald — Dixon 2006.

Heine, Kuteva 2005: *B. Heine, T. Kuteva*. Language Contact and Grammatical Change. Cambridge, 2005.

Horálek 1954: *K. Horálek*. Evangeliáře a čtveroevangelia. Příspěvky k textové kritice a k dějinám staroslověnského překladu evangelia. Praha, 1953.

Janáček 1984: Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká od defenestrace k Bílé Hoře / Vyd. *J. Janáček*. Praha, 1984.

Jérôme 2007: Jérôme, Trois Vies de moines (Paul, Malchus, Hilarion). Introduction P. Leclerc, E. M. Morales, A. De Vogué. Texte critique par E. V. Morales. Notes de la traduction par E. M. Morales, P. Leclerc (= Sorce Chrétiennes, 508). Paris, 2007.

Lehiste 1979: *I. Lehiste*. Translation from Russian as a source of syntactic change in contemporary Estonian // Chicago Linguistic Society. *The Elements: A Parasession on Linguistic Units and Levels*. Chicago, 1979.

Košuta 1988: *L. Košuta*. Glagoljski Lošinjski protokoli notara Mikule Krstinića i Ivana Božičevića / Radovi Staroslavenskog institute. Knj. 9. Zagreb, 1988.

Kukulević 1851: *Ivan Kukulević Sakćinski*. Kronika hrvatska iz XII. veka // Arkiv za pověstnicu jugoslavensku. Knj. 1. Zagreb: Tiskom dra. Ljudevita Gaja, 1851.

Noha 1971: *M. Noha*. Poloha posesív v staroslověnině // *Studia palaeoslovenica*. Praha, 1971.

Starčević 1852: *A. Starčević*. Razvod istrianski od god. 1325 // Arkiv za pověstnicu jugoslavensku. Knj. II. Zagreb: Tiskom dra. Ljudevita Gaja, 1852.

Štefanić 1969: Hrvatska književnost srednjega vijeka / Priredio Vjekoslav Štefanić. Zagreb, 1969.

Večerka 1989: *R. Večerka*. Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax. I. Die lineare Satzorganization (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes, XXVII). Freiburg, 1989.

Večerka 2006: *R. Večerka*. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc; Praha, 2006.

Vončina 1955: *J. Vončina*. Četiri glagoljske listine iz Like // Radovi Staroslovenskog instituta. 1955. Knj. 2.

Widnäs 1952: *M. Widnäs*. La position de l'adjectif épithète en vieux russe. Helsingfors, 1952.

Г. К. ВЕНЕДИКТОВ

**К истории формирования  
болгарского литературного языка  
в культурном контексте  
эпохи национального Возрождения**

Современный болгарский литературный язык сформировался в XIX веке, в эпоху Возрождения Болгарии. Начало его становления относится к 20-м годам того столетия, когда образованные и патристически настроенные болгары решительно поднимают вопрос о необходимости скорейшего введения в школах образования на родном языке, издания на нем учебных, религиозных и других книг. Они предлагают свой опыт литературной обработки народного языка (местных говоров). Эти идеи и планы их реализации стали предметом острых споров среди болгар. На эти же годы приходится и первые печатные издания Библии (Евангелия) в переводах на народный язык, требовавших достаточно строгой его нормализации. Тогда же уже было осознано и в программе «Филологического общества» (Брашов, Румыния) впервые заявлена необходимость составления и издания болгарской грамматики и словаря как предпосылки создания нового литературного языка. Отсутствие грамматики и словаря такого языка уже тогда рассматривалось как препятствие, мешавшее не только вообще сочинению книг, но и следованию необходимых правил языка. В 20-е годы зародились и споры по отдельным вопросам устройства его графики и орфографии, некоторые болгары выступили с острой критикой языка Нового завета в переводе

архимандрита Теодосия (грека по происхождению) и возражали против включения Вуком Караджичем в болгарскую азбуку отдельных сербских букв. В 1824 г. был издан знаменитый «Букварь с различными поучениями» Петра Берона, более известный в обществе и литературе как «Рыбный букварь», — первая болгарская книга, в которой, как писал Л. Андрейчин, крупнейший специалист в области истории современного болгарского литературного языка, этот язык «становится полностью и последовательно народным по своим структурным особенностям» [Андрейчин 1977: 21]. Завершение стадии формирования современного болгарского литературного языка — 60–70-е годы XIX в. Это и конец эпохи Возрождения, когда литературный язык предстает уже как относительно единый общebolгарский феномен с такой совокупностью норм, какая в своей основе сохраняется до наших дней (подробнее см. в [Венедиктов 1992: 2–4]).

Указанные шесть десятилетий позапрошлого столетия были периодом напряженной и острой борьбы образованных болгар за скорейшее создание общebolгарского литературного языка, единого и общепонятного для всего населения болгароязычной территории. Этого требовали задачи национально-культурного возрождения народа — развитие образования на родном языке, книгопечатание, развитие литературы, журналистики, науки, других областей национальной культуры. Осознание необходимости в литературном языке, соответствующем данным культурно-языковым константам эпохи Возрождения, и ее реализация на практике породили острые, порой жесткие споры по целому ряду вопросов, разделившие причастных к формированию литературного языка грамматистов, известных и мало известных писателей и журналистов, деятелей других областей зарождавшейся национальной культуры на «новаторов» и «архаистов», представлявших два принципиально разных направления в зависимости от отстаиваемого ими характера основы литературного языка. «Новаторы» (В. Априлов, Ив. Богоров и мн. др.) были убеждены в том, что новый литературный язык должен строиться на

основе народной речи, должным образом обработанной (нормализованной) и обогащенной из разных источников. Они считали, что именно такой язык, понятный всем болгарам, будет в наибольшей степени отвечать задачам и нуждам возрождавшейся нации. «Архаисты» же (Хр. Павлович, К. Фотинов и др.) полагали, что новый литературный язык должен быть ориентирован на церковнославянский язык, который тогда воспринимался болгарами как язык собственно древнеболгарский. Они полагали, что созданный при таком подходе новый литературный язык сохранит важные особенности древнего языка, которые придадут ему качества престижного для нации языка. Это направление в устройстве литературного языка в Болгарии не имело широкого круга приверженцев и к 60-м годам XIX в. сошло с арены языковой борьбы, уступив ее спорам по вопросу выбора диалектной основы формировавшегося литературного языка. Между «новаторами» же и «архаистами» в 30–50 годы развернулась борьба вокруг «за» и «против» утверждения в литературном языке, с одной стороны, характерных особенностей народного языка (членные морфемы, отсутствие падежей, конструкции *да* + формы настоящего времени глаголов вместо старого инфинитива на *-ти*, звук [ъ] и др.), а с другой, характерных особенностей церковнославянского языка, отсутствующих в народном языке (система падежей, инфинитив на *-ти*, причастия и др.). Эта борьба — примечательная часть ранней истории формирования современного болгарского литературного языка. Многие аспекты ее в существующей литературе подробно освещены. Другие еще нуждаются в дополнительном изучении.

В настоящей статье мы остановимся на членных морфемах (членных формах, членах), одной из характерных особенностей болгарского народного языка, споры «за» и «против» утверждения которых в литературном языке носили кратковременный, но особенно острый характер. С учетом возможностей объема статьи мы ограничиваемся здесь только освещением аргументов, которыми мотивировали «архаисты» свое неприятие этих значимых элементов народного

языка. Логичнее, наверное, было бы начать с аргументов, которые приводились «новаторами» за непременно включение этих элементов в грамматическую систему имени в литературном языке. Поскольку, однако, борьба «за» и «против» них была открыта их противниками-«архаистами», мы ограничиваемся здесь только освещением аргументов против них. Отметим сразу, что борьбу эту открыл не носитель болгарского языка, а серб К. Огнянович, не ведавший, конечно, что его мнение войдет в начальную историю филологических распрей вокруг создания нового болгарского литературного языка.

Вопрос о членных морфемах (членных формах, членах) — один из наиболее остро обсуждавшихся вопросов на начальной стадии формирования современного болгарского литературного языка. Г. Крыстевич, видный участник движения образованных болгар за скорейшее создание единого литературного языка на народной основе, в середине XIX в. характеризовал этот вопрос как «величайший камень преткновения болгарских писателей» [Кръстевич 1858: 163]. Исключительную сложность решения этого вопроса предопределяли два важных обстоятельства объективного характера: отсутствие таких морфем в широко распространенном и престижном у болгар церковнославянском языке, отождествлявшемся зачинателями устройства нового литературного языка с древнеболгарским, и разнообразие таких морфем, прежде всего показателей единственного числа существительных мужского рода, в народном языке (диалектах). В его решении столкнулись два разных подхода к выбору характера основы, на которой должен создаваться новый литературный язык. Возрожденцы-новаторы, полагавшие, что этот язык должен строиться на чисто народно-разговорной речи современных болгар, считали, что членные морфемы, свойственные этой речи, должны непременно войти и в литературный язык. Возрожденцы-архаисты, видевшие создание литературного языка на пути его архаизации, ориентации

на церковнославянский (древнеболгарский) язык, выступали решительно против закрепления в нем членных морфем. Разгоревшиеся между ними острейшие споры закончились победой новаторов — членные морфемы как характерная особенность живого языка вошла в грамматическую структуру нового литературного языка. Но они продолжились вокруг того, какие из членных морфем, употребляемых в народной речи, должны быть в нем закреплены. Особенно спорным оказался выбор членной морфемы единственного числа существительных и других имен мужского рода, представленный в народных говорах значительным разнообразием. Длительные споры по этому вопросу завершились кодификацией употребления полной членной морфемы *-ът* (*-ят*) и краткой членной морфемы *-а* (*-я*) в зависимости от синтаксической функции имени: если существительное выступает в качестве подлежащего, употребляется членная морфема *-ът* (*-ят*), а если существительное выступает в функциях других частей предложения, должна употребляться членная морфема *-а* (*-я*). Это искусственное правило (его нет ни в одном народном говоре), установленное по настоянию известного болгарского филолога акад. А. Теодорова-Балана (ср.: *Професорът и учителят влязоха в аудиторията*, но: *Виждам професора и учителя, които влизат в аудиторията*), в настоящее время соблюдается в печатных текстах, прошедших через руки редакторов и корректоров, но оно практически не соблюдается в живой речи носителей литературного языка, а значительную часть последних делает неграмотными: ошибки в употреблении указанных членных морфем — одни из наиболее часто встречаемых в письменных текстах, не прошедших редактирование и корректуру. Некоторые болгарские лингвисты выступают за отмену этого правила. Недавно известный грамматист, профессор Софийского университета П. Пашов, «один из лучших знатоков свойств болгарского языка» [Вълчев 2009: 216], по этому поводу писал: «Орфография обязывает нас употреблять (то есть писать) полную членную морфему, когда существительное является подлежащим

или сказуемым определением подлежащего, а во всех остальных случаях пишется краткая членная морфема. Это правило совершенно искусственное, оно основывается на устаревшем и неправильном представлении о существовании падежей в болгарском языке. <...> Но так как у нас уже, так сказать, нет чувства падежа, мы допускаем много ошибок при написании полной и краткой членной морфемы», поскольку между полной и краткой членными морфемами «нет абсолютно никакого различия по смыслу» [Пашов 1999: 75]. При таком положении дел «нашу орфографию, — считает П. Пашов, — следовало бы освободить от этого искусственного правила, которое совершенно излишне усложняет орфографию, так как чтобы избежать ошибок при письме, приходится делать синтаксический разбор» [Пашов 1999: 75]. Б. Вылчев, другой профессор Софийского университета, три года назад также решительно выступил за отмену данного правила. «Я, — пишет он, — до сих пор не встречал филолога-болгариста, который бы утверждал, что правило о полном и кратком определительном члене осмысленно, но в то же время никто не решается изъять его из пособий» [Вълчев 2009: 218]. Подчеркнув нежелание правомочных кодификаторов литературного языка отменить это правило, Б. Вылчев следующим образом характеризует ситуацию с ним в наши дни: «Поэтому (ввиду искусственного характера. — Г. В.) правило это не усваивается — даже наиболее образованными представителями болгарской интеллигенции. Преподавание и усвоение этого правила только поглощают (разбазаривают) время и интеллектуальную энергию, будучи не способными достичь каких-либо результатов и вообще не имеющими смысла в этих усилиях. В реальной же жизни оно никому ничем не служит. Кроме “знающих и могущих” филологов-контролеров (“проверители”) в разных экзаменационных комиссиях (например, на выпускных экзаменах в школах, вступительных экзаменах в вузы и др.), притом что таким средневековым по своей сущности способом они “просеивают” испытуемых» [Вълчев 2009: 219].

Как видим, в наше время в болгарском обществе кипят страсти вокруг членных морфем в литературном языке. Это далекий, наверное, уже затухающий, отзвук острой схватки «архаистов» и «новаторов», развернувшейся на страницах болгарских изданий середины XIX в., «за» и «против» членных морфем. Сейчас сама необходимость членных морфем в литературном языке никем даже не ставится под сомнение; спор вызывает лишь существующее искусственное правило употребления членных морфем ед. ч. существительных мужского рода. Тогда же, 150 лет назад, в период становления современного литературного языка жаркий спор между «архаистами» и «новаторами» разгорелся вокруг общего вопроса — быть или не быть в литературном языке членной морфеме в целом — характерной грамматической особенностью современного народного языка.

Обратимся теперь к аргументам, которые выдвигались против утверждения в формировавшемся литературном языке членных морфем «архаистами» — приверженцами его создания по пути сближения с церковнославянским (древнеболгарским) языком.

Впервые вопрос о месте членных морфем в литературном языке был поднят в болгарской литературе в изданной в 1833 г. книге «Житие светяго Алексия» Константина Огняновича — серба по происхождению, долгое время учительствовавшего в Болгарии и издавшего в 30–50-е годы XIX в. ряд книг на болгарском языке. До этого его предшественники, писавшие на новоболгарском языке (П. Берон, А. Кипиловский, П. Сапунов и др.), такой вопрос не ставили.

В «Примечаниях» к названной выше книге К. Огнянович первым, как сказано выше, поставил вопрос о месте членных морфем (он их называет частицами) в литературном языке. Он писал: «Местоименная частицы *та́*, *то́*, коихъ Болгари въ единственномъ, и *те́*, *та́* въ множественномъ числе после именъ существительныхъ и прилагательныхъ произносятъ, каквото: *сла́вата*, *морéто*, *моу́ците*, *чудеса́та*, *до́брото*, *бѣдните* и пр. совсемъ изоставихъ. Зато ни единъ славенский народъ ихъ после именъ не оупотреблява, сирѣчь

ни Росси, ни Серби, ни Лехи, ни Чехи и пр. Зачем би ги пакъ Болгари оупотребляли, коги языкъ не оукрашавать но паче погрозець струвать; зато азъ ги за непотребни судихъ, всекаде писахъ: *слава, море, чудеса, добро, бедни* и прочая. Обаче това все кога добиеме Болгарска Грамматика ще да се исправи, языкъ оукраси» [Огнянович 1833: 62]<sup>1</sup>. Как видим, свой отказ от употребления членных морфем («частиц»), присущих народному болгарскому языку, К. Огнянович объясняет двумя причинами: 1) отсутствием этих морфем во всех других славянских языках и 2) тем, что эти морфемы не украшают (можно было бы добавить: и не обогащают) язык, а делают его более некрасивым (обезобразивают)<sup>2</sup>. Сразу же отметим, что обоими этими аргументами, наряду с другими, отказ от употребления членных морфем позднее мотивировали и другие книжники. Сам же К. Огнянович вскоре отказался от своего предложения и уже в изданной в 1842 г. книжке «Календар за лето 1843» и в последующих изданиях широко употребляет членные морфемы.

Почти одновременно с сербом К. Огняновичем, жившим и работавшим в Болгарии, мнение о членных морфемах в болгарском языке высказал Ю. И. Венелин, молодой русский ученый, во время

---

<sup>1</sup> Здесь и ниже текстовые цитаты из некоторых болгарских источников XIX в. передаются средствами современной болгарской графики, иллюстративный материал — в написании источников.

<sup>2</sup> Любопытно, что, вопреки этому утверждению К. Огняновича, в тексте «Жития светяго Алексия» встречается один случай употребления членной морфемы: «*Оу домашните и слуги посѣя*» (с. 39). Вкравшаяся здесь членная морфема *-те* в субстантивированном прилагательном *домашните* — по-видимому, «ошибка» самого К. Огняновича (если иметь в виду отказ его от употребления членных морфем), свидетельствующая, что он, несомненно хорошо владевший разговорным болгарским языком, оставил эту морфему в тексте по недосмотру, но потом (может быть, когда держал корректуру) ее заметил и исправил: в напечатанных в конце книжки «Ошибках»: *оу домашните* исправлено на *оу домашни* (с. 63).

путешествия на Балканы в 1830–1831 гг. побывавший в разоренных русско-турецкой войной некоторых районах Северо-Восточной Болгарии. Там в повседневном общении с болгарами — местными жителями и беженцами из других районов Болгарии, покидавшими родные земли в предвидении жестоких репрессий со стороны турецких властей, — он усиленно занимался болгарским языком и, по его словам, очень быстро им овладел. В одном из писем к М. П. Погодину он писал: «В короткое время я так приучился по-болгарски, что разговариваю уже без переводчика; только трудно их (хозяев дома, у которых он квартировал. — Г. В.) приучить, чтобы говорили со мною чисто по-своему; а то вечно ломают русский» [Ученое путешествие 2005: 96]. Нет сомнений, что, изучая и обучаясь болгарскому языку, Ю. И. Венелин не мог не обратить особое внимание на такую характерную особенность этого языка, как членные морфемы, и что отношение к ним (восприятие их) сложилось у него на основе непосредственных наблюдений над употреблением их болгарскими и, возможно (нельзя исключать этого), из собственной практики их употребления в общении с болгарскими жителями.

О сложившемся у Ю. И. Венелина отношении к членным морфемам можно судить по составленной им по возвращении из Болгарии «Грамматике нынешнего болгарского наречия». В существующей литературе есть мнение, что в этой «Грамматике», рукопись которой была закончена в 1834 г., Ю. И. Венелин о членных морфемах ничего не говорит и даже не упоминает об их употреблении в болгарском языке, хотя в приведенных примерах отдельные существительные с такими морфемами в тексте «Грамматики» встречаются [Лунина 1951: 115]. Это неверно. На самом деле в этом труде Ю. И. Венелин о членных морфемах говорит и даже определяет их значение, но он рассматривает их не как особую грамматическую единицу, а как указательные местоимения. «Если же указание усиливается или если говорящий ударяет на какой-либо предмет в своем речении, то, — пишет он, — к существительному, на которое он

ударяет, прилагает указательное *той, та, то*, во мн. *тѣ* и согласует в роде и числе, напр. *рука-та, сердце-то, люди-тѣ*. В мужском роде, где имена оканчиваются на *ъ, ь* и *й*, по неудобности приложить *той* по стечению согласных, то отбрасывается *ой*, а на месте *ъ* ставится *а*, а на месте *ь* и *й*: *я*; напр.: *человѣкатъ, ножатъ, царятъ, случаятъ*» [Венелин 1997: 85]. Фактически Ю. И. Венелин, как видим, говорит здесь именно о членных морфемах, считая их указательными местоимениями. Он не подвергает сомнению нужность их болгарскому языку, но отмечает различие в их употреблении простыми и пишущими болгарями. «Между тем как простой болгарин, — пишет он, — по одному инстинкту употребляет указание там только, где оно нужно, пишущий, не зная грамматики своего языка, весьма часто ставит оное, без нужды, там, где оно не годится» [Венелин 1997: 87]. Ю. И. Венелин, таким образом, не видит никакой ущербности в самих указательных местоимениях / членных морфемах, не предлагает болгарам отказаться от них вообще, но обращает внимание на «неправильное употребление» их в письменном языке. «Кто-то, видя в болгарской книжке частое, хотя нелепое, повторение сего указательного местоимения, принял оное за член *задисловный*, но несправедливо (курсив Ю. И. Венелина. — *Г. В.*)» [Венелин 1997: 87]. Таково мнение русского слависта о членных морфемах и их употреблении в болгарском языке, представленное в его «Грамматике нынешнего болгарского наречия». Оно никак не сказалось на отношении к ним болгарских книжников по той простой причине, что труд этот был им не известен, ибо он оставался тогда в рукописи<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> «Грамматика нынешнего болгарского наречия» Ю. И. Венелина была подготовлена к печати автором этих строк и издана Институтом славяноведения РАН в 1997 г. [Венелин 1997]. Через пять лет издательство Софийского университета выпустило в свет ее болгарский перевод под редакцией проф. П. Пашова (Ю. Венелин. Грамматика на днешното българско наречие. София, 2002).

Однако через несколько лет отношение Ю. И. Венелина к членным морфемам резко изменилось. В вышедшей в 1838 г. книге «О зародыше новой болгарской литературы» он выступил решительно против их употребления в литературном языке и оказался в центре острой борьбы, развернувшейся среди болгарских грамматистов и других авторов книг. После издания знаменитого труда «Древние и нынешние болгаре» (1829) и ученого путешествия в Болгарию Ю. И. Венелин в 30-е годы стал в Болгарии очень популярной личностью. Названный здесь труд сыграл большую роль в подъеме национально-культурного возрождения Болгарии, привлек к ее автору внимание патриотически настроенной и образованной части болгар. В Болгарии знали, что он написал грамматику болгарского языка, в ожидании выхода ее в свет даже слагали о ней и ее авторе легенды<sup>4</sup>. Реально же достоверное представление о ней и о подходе Ю. И. Венелина к описанию некоторых вопросов грамматики родного языка болгары смогли получить лишь с выходом в свет книги «О зародыше новой болгарской литературы». Именно здесь Ю. И. Венелин изложил свое отрицательное отношение к членным морфемам, которые теперь он, следуя, вероятно, за Хр. Павловичем и Неофитом Рильским, авторами двумя-тремя годами ранее опубликованных грамматик болгарского языка [Павлович 1835: 34; Рилски 1836: 42], называет уже членами, а не указательными местоимениями, как в рукописной «Грамматике». Важно иметь в виду, что к тому времени Ю. И. Венелин уже знал, что Н. Рильский в «Болгарской грамматике» подверг резкой критике точку зрения К. Огняновича, который

---

<sup>4</sup> Согласно одной из легенд, Ю. И. Венелин, умирая, плакал не потому, что умирает, а потому, что не мог окончить болгарскую грамматику. Рассказывали, что с ним жил доктор, который его лечил, и он, увидев, что лекарства не помогают, стал лечить Венелина так же, как лечили Александра Македонского: распорол у мула живот, положил туда Венелина, который прожил там целую неделю, занимаясь грамматикой [Каравелов 1862: № 153].

был против закрепления в литературном языке членных морфем, и решительно выступил за их употребление в литературном языке. Ю. И. Венелин получил экземпляр «Грамматики» Н. Рильского от жившего в Одессе В. Априлова вместе с его письмом от 28 июня 1837 г. [Априлов 1968: 238]. Он был высокого мнения об этом труде знаменитого болгарского просветителя. «Самая лучшая часть этой книжки есть ее вступление или Филологическое предуведомление, — писал он. — В нем иеромонах Неофит совершенно подтверждает все то, что я говорил в моей грамматике о разных уклонениях болгарского языка на провинциализмы» [Венелин 1838: 30]. Понятно, что Ю. И. Венелин хорошо изучил эту «самую лучшую часть» книги болгарского иеромонаха-грамматиста. Но именно в этой части «Грамматики» Н. Рильский страстно доказывает, что членные морфемы — это такое богатство родного языка, от которого болгары не смеют отказаться. Таким образом, получается, что, отлучая в «Зародыше новой болгарской литературы» формировавшийся новый болгарский литературный язык от членных морфем, Ю. И. Венелин вступил в открытую конфронтацию с Н. Рильским. Ясно, что аргументация последнего его не убедила, но свое отрицательное отношение к членным морфемам он изложил здесь без прямой полемики с Н. Рильским. Такое отношение как-то не увязывается с его заявленным намерением написать грамматику живого болгарского языка. «Я старался, — пишет он в “Зародыше новой болгарской литературы”, — передать в ней («Грамматике». — Г. В.) живое нынешнее болгарское наречие так, как оно есть, с показанием всех его отступлений от старого болгарского (нашего церковного) и прочих славянских наречий» [Венелин 1838: 24]. В «Грамматике» он, как сказано выше, отмечает «правильное» употребление членных морфем (у него — указательных местоимений) в болгарском народном языке и часто «неправильное» — в письменном языке, но, отдавая себе отчет в том, что членные морфемы — это важнейшая — характерная и отличительная — грамматическая особенность современного болгарского

языка, он не «изгоняет» их из «Грамматики». Вместе с тем уже в «Грамматике» чувствуется сдержанное неприятие им употребления этих морфем пишущими болгарами, не знающими, как он считал, грамматики своего языка, ему явно не нравится «частое, хотя нелепое повторение» их в текстах изданных книг, и то, что кто-то неоправданно («несправедливо») счел их «задисловным членом».

Что именно побудило Ю. И. Венелина сменить первоначально сдержанное и со временем окрепшее неприятие членных морфем на открытое выражение полной ненужности их в литературном языке, сказать трудно. Поводом, очевидно, стала страстная защита их Н. Рильским в «Болгарской грамматике», мнение которого как пишущего болгарина в этом вопросе он счел, видимо, ошибочным. Уверенности же Ю. И. Венелину в его правоте придавало то, что против употребления членных морфем в литературном языке выступали и другие. «Как бы то ни было, — писал он, — но я совершенно одобряю мнение гг. македонца Хрис. Павловича Дупничанина, Огняновича и Априлова об изгнании из грамматики мнимых членов *атъ, та, то*, и *о*, или *а*» [Венелин 1838: 48]. Почему Ю. И. Венелин к числу гонителей «из грамматики мнимых членов» отнес Хр. Павловича, не совсем понятно. В «Грамматике славено-болгарской» последнего, изданной в 1836 г., членная морфема («член») приводится в перечне частей речи с указанием его значения и в таблицах падежей, сообщается их правописание [Павлович 1836: 8–11, 34, 54], но в ней нет ни слова об изгнании «мнимых членов». В. Априлова к числу гонителей членных морфем отнесен ошибочно — из-за неточного понимания Ю. И. Венелиным предложения В. Априлова относительно упорядочения употребления членных морфем. Во всяком случае в письме от 7 июня 1838 г., уже после выхода в свет книги «О зародыше новой болгарской литературы», В. Априлов пишет ее автору: «Вы, очевидно, не поняли как нужно мое предложение о членах. Я предлагаю всем принять одинаковую членную форму, а именно *ѣт, та, то* и, разумеется, оставить члены — это невозможно. <...>

Все изданные книги употребляют членную форму, хотя и не одинаковую; кроме того, члены имеют определительное значение или являются его выразителем. Он существует в народных песнях; никакой болгарин от него не откажется; в стихах член помогает рифме» [Унджиева 1962: 130]. Приведенное разъяснение показывает, что В. Априлов не предлагал соотечественникам отказаться от членных морфем. Остается, таким образом, только К. Огнянович, который до Ю. И. Венелина действительно выступил против употребления членных морфем в литературном языке. Не совсем ясно, откуда его аргументы стали известны Ю. И. Венелину: непосредственно из книги К. Огняновича «Житие светяго Алексия» или из «Болгарской грамматики» Неофита Рильского, где эти аргументы подвергнуты основательной критике. Экземпляр книжки К. Огняновича был послан Ю. И. Венелину с письмом В. Априлова и Н. Палаузова от 13 апреля 1838 г. из Одессы [Унджиева 1962: 144], но получил ли он ее до или после завершения работы над книгой «О зародыше новой болгарской литературы», не известно. Важнее было бы знать, могло ли повлиять ставшее Ю. И. Венелину известным мнение К. Огняновича на его отношение к членным морфемам или нет, но каких-либо данных для определенного ответа на этот вопрос не имеется. На наш взгляд, к мнению о ненужности членных морфем в болгарском литературном языке Ю. И. Венелин пришел самостоятельно, о чем говорит сдержанное, еще прямо не выраженное отношение к ним, которое, как сказано выше, угадывается уже в его «Грамматике нынешнего болгарского наречия».

Посмотрим теперь, чем мотивировал, какие аргументы приводил Ю. И. Венелин в книге «О зародыше новой болгарской литературы», призывая болгар отказаться от употребления членных морфем в литературном языке.

Во-первых, наличие не одной, а разных морфем в народном языке в разных районах болгароязычной территории. «Что касается до так называемых мнимых членов, то если в одной области говорят

человѣко, а в другой человекать, то это самое различие доказывает, что и то и другое не правильно потому, что одно другим уничтожается. Если же есть такая область, в которой не употребляют никакого мнимого члена, то из этого следует, что самое правильное болгарское употребление будет человекъ» [Венелин 1838: 45]. В том, что в речи местного населения употребляются разные членные морфемы, Ю. И. Венелин убедился во время пребывания в Болгарии в 1830 г. Уже в «Грамматике нынешнего болгарского наречия» об этой особенности народной речи он писал, что, прислушиваясь к разговору болгар из разных областей, он заметил, что в речи западных и македонских болгар членные морфемы (здесь у него — указательные местоимения) употребляются реже, чем в речи восточных болгар [Венелин 1997: 87]. В книге «О зародыше ...» об этой особенности народной речи он пишет пространнее: «В бытность мою в Болгарии я заметил, что *атъ* чаще всего употребляют жители восточной Болгарии, реже жители начиная от Тернова к западу. В Македонии около гг. Изкопа, Прилепа, Призрена, Велеса, Разлога, Кастории или весьма редко или вовсе не употребляют *атъ*» [Венелин 1838: 46]. Здесь Ю. И. Венелин пишет, правда, только о распространении морфемы *атъ*, не называя известную ему морфему *о*, упоминаемую в другом месте. Существенно, однако, то, что он не указывает определенно ту область Болгарии, в речи населения которой членных морфем нет вообще (не только *атъ*) и представлено «самое правильное болгарское употребление» *человѣкъ*, а не типа *человѣкать*, *человѣко*. Ю. И. Венелин, надо полагать, был на самом деле убежден, что есть такая область в Болгарии, в речи жителей которой никакие членные морфемы не употребляются, и не задавался вопросом, а как характеризовать существительные с «задисловными членами» (членными морфемами): они все — неправильные? Современная болгарская диалектология знает, что нет болгарских говоров, в которых бы не употреблялись членные морфемы. В 30-е годы XIX в., у самых истоков знаний о местных особенностях народной речи, никто из

образованных болгар, интересовавшихся родным языком, знать об этом не мог, и потому предпринимались попытки установить территорию, в речи жителей которой членные морфемы не употребляются. Показательно в этом отношении письмо В. Априлова и Н. Палаузова к Н. Рильскому от 20 июля 1838 г., в котором они сообщают о намерении издать географию Болгарии (имеется в виду, вероятно учебное пособие для Габровского училища) и надеются получить в Пловдивской митрополии нужные для этого сведения разного характера (сколько в местной епархии имеется городов и сел, сколько в них турок и христиан, сколько школ и на каком языке идет в них обучение, и др.), в том числе и о членных морфемах в речи местных жителей: «в каких местах болгары употребляют член и в каких нет. В каких местах употребляют *ѣт, та, то* и в каких *о, та, то* (потому что г. Венелин думает выбросить член)» [Априлов 1968: 289]. Выделенные авторами письма слова в скобках показывают, что мнение Ю. И. Венелина об изгнании членных морфем из литературного языка, сразу же привлекло внимание болгар.

Во-вторых, отсутствие членных морфем в других славянских языках. Ю. И. Венелин считал, что «самое правильное употребление» существительных без этих морфем (типа *человѣкъ*), кроме сказанного выше, «правильно еще и потому, что так употребляют и прочие славянские народы» [Венелин 1838: 46]. Аналогию употреблению рассматриваемых болгарских членных морфем он видел в употреблении таких же, как он полагал, морфем в русском просторечии («естественном наречии»): «В этом случае болгарский народ чрез это *атъ* находится в таком же отношении к своим казанцам и шуменцам, как и русский к своим же казанцам и нижегородцам».[Венелин 1838: 46]. По его мнению, болгарам нужно последовать примеру русских, которые избегали употребления в литературном языке аналогичных просторечных членных морфем *ат, та, то* в сочетании с существительными (*человека́т, ножат, рука-та, дело-то*) и даже с глаголами (*делатъ-то, писатъ-то*) потому, что находили

«свое *атъ* как аномалию, как неправильность» [Венелин 1997: 86; Венелин 1838: 46].

В-третьих, присоединение членных морфем — причина утраты падежей в болгарском языке. Ю. И. Венелин писал: «Эта несчастная привычка простого народа прилагать ко всякому слову *атъ*, *та*, *то* не только в им. п., но и в прочих падежах, была настоящею и единственною причиною, что язык болгарский начал лишаться правильных форм своих падежей» [Венелин 1838: 46]. Он объяснял это тем, что с присоединением *атъ* к падежным формам гласные последних поглощались или видоизменялись от соседства с гласным *а* членной морфемы. Например, *а* членной морфемы *атъ* «заставляет простолюдина» в получившейся форме род. п. *женыта* изменить *ы* на *а*, а в род. п. *древато* изменить *а* на *о*, в результате чего вместо правильного род. падежа появились тоже *жената*, *древото*. В дат. падеже окончания *у* и *ѣ* в появившихся формах типа *человѣкуатъ*, неудобных для произношения, уступили место «буквам» *а* и *о* членных морфем *атъ*, *та* и *то*. Вследствие этого «для различения смысла и падежа родительного и дательного», полагает Ю. И. Венелин, заставила простого болгарина «в виде члена» употреблять предлог *на*. Заключая рассуждения об употреблении в народной речи членных морфем как причине утраты болгарским языком падежей, он восклицал: «Какая галиматъя! Которая, однако, в употреблении» [Венелин 1838: 46].

В-четвертых, употребление членных морфем мешает созданию рифмованных стихов. Ю. И. Венелин ставил вопрос, что же взамен утраты болгарским языком падежей выиграют защитники *атъ*, *та*, *то* или *о*, и отвечал: «То, что болгаре не будут в состоянии писать стихов рифмами, если все существительные и во всех падежах будут иметь только три (!!!) окончания *атъ*, *та*, *то*!» [Венелин 1838: 46].

Таковы аргументы, которые Ю. И. Венелин приводил против употребления членных морфем в создававшемся современном болгарском литературном языке. Аргументы неубедительные и просто

надуманные, не опирающиеся на данные народного языка и его истории, что, собственно говоря, определялось уровнем знаний об этих предметах в 30-е годы XIX в. Мы остановились подробно на отношении на отношении Ю. И. Венелина к членным морфемам потому, что именно оно явилось отправной точкой разгоревшихся острых споров между болгарскими книжниками по жгучему для них вопросу — быть или не быть членным морфемам в едином общеполгарском литературном языке, скорейшее создание которого они считали важнейшей национально-культурной задачей своего времени.

В России точку зрения зачинателя отечественной болгаристики поддержал М. А. Соловьев, который в 1842 г. писал, что «после того, как Венелин объявил себя против члена, приверженцы его должны доказать необходимость его существования, а пока можно еще в ней сомневаться» [Соловьев 1842: 149]. Он обращает внимание на мнение Ю. И. Венелина относительно утраты падежей (из-за членных морфем), высказывает откровенное сомнение в существовании членных морфем в народном языке болгар и утверждает, что членные морфемы — это выдумка болгарских писателей, которые заимствовали их из греческого языка.

К. Огнянович, Ю. И. Венелин и М. А. Соловьев — один серб и двое русских — в 30-е — начале 40-х годов XIX в. первыми выступили против закрепления членных морфем в формировавшемся современном болгарском литературном языке и положили начало не закончившимся и в наши дни спорам по этому вопросу. Отрицательное мнение иностранцев об этих морфемах сразу же вызвало резкую критику Н. Рильского, а затем и других видных носителей болгарского языка.

Но среди образованных болгар оказались и сторонники иностранцев-гонителей членных морфем. Посмотрим, что писали, чем мотивировали эти болгары ненужность их в литературном языке.

Первым из них был Христаки Павлович Дупничанин — автор одной из первых грамматик болгарского языка, ряда изданных книг,

известный педагог 30–40-х годов XIX в. В 1836 г., он издал «Граматику славено-болгарскую», в которой в специальном разделе «Члены» приводит членные морфемы всех родов и чисел, а в другом месте объясняет правила их написания [Павлович 1836: 8, 53–54]. Они широко употребляются в тексте «Граматики». Совершенно ясно, что в середине 30-х годов Хр. Павлович своей «Грамматикой» в только что начавшем складываться литературном языке членные морфемы утверждал и не помышлял о том, чтобы их в него не допустить.

Совсем иное отношение к ним Хр. Павлович демонстрирует во втором издании «Граматики», вышедшем в 1845 г. В предисловии «Прелюбезна болгарска юносте» к этому изданию он пишет: «Издавамъ ю уже второ много по совершенну от первыя: защо многу недостатки въ ней дополнихъ, излишня (кои то са членове) изгнахъ, падежи умножихъ и къ Старо-болгарскому (Славенскому) языку ю приближихъ» [Павлович 1845: I–II]. Целью этих изменений в грамматике, как видим, было приблизить современный болгарский литературный язык к древнеболгарскому, в котором были падежи и не было членных морфем. Отсутствие последних в древнеболгарском было важным аргументом, побудившим Хр. Павловича изгнать их из грамматики. Он считает теперь членные морфемы *о, ать, та, то*, как и некоторые другие особенности, «отъ небития произведени», мерзостями («гнусоти») простонародной речи, которых нет в древнеболгарском языке или лучше сказать «въ сущей майце, съ чиею цицею е неговъ ново-болгарски отдоень. Она ги нема: и нема ги, защото и са непотребни, а непотребное майце, непотребно быва и дщере, защото дщера подобна е майце: нити ражда жена обезяну (маймуна), или обезяна човека: понеже това е естеству противно, какъ то и сички реченнии языку ново-болгарскому» [Павлович 1845: II].

Другой аргумент — членные морфемы, как и некоторые другие «мерзости» народной речи язык не украшают, а уродуют. Они, писал возмущаемый ими Хр. Павлович, «огнушават, защо всички тии са

воистину квас фарисейский, кой то осквернява сичкое смешение, сиречь причинява языку безобразие, гнусота и премногое потемнение» [Павлович 1845: II]. Издавая «Грамматику» без этих и других простонародных уродств, он считал, что дает юным болгарам руководство по овладению ими изящной речи («благородной разговор»).

Третий аргумент — употребление членных морфем препятствует болгарам сочинять стихи. Хр. Павлович писал, что, изгнав членные морфемы и умножив число падежей в «Грамматике», он приблизил новоболгарский язык к древнеболгарскому, чтобы молодые болгары могли писать «гладко и сладко, еще и *сосъ ритмы* (с рифмами. — Г. В.)», как это делают родственные им серб и русский [Павлович 1845: II].

Четвертый аргумент — употребление «мерзостных» *о, а, ать, та, то, те, тѣ* при отсутствии падежей, писал Хр. Павлович, не способствует ясности выражения и представляет собой гордиев узел, который слушающие и говорящие не в силах развязать и понять. Возражая тем, кто, подобно Н. Рильскому, считал, что всякое имя в сочетании с членной морфемой становится «определено и явно», Хр. Павлович указывал, что такую же определенность можно выразить и с помощью указательных местоимений (*земи това перо* вместо *земи перо то*), и настаивал на отказе от этих «пусти членове» [Дупничанин 1845: 4].

Такова аргументация Хр. Павловича в пользу изгнания членных морфем из нового литературного языка болгар. Она, как видно, повторяет в целом то, чем необходимость избавления от них уже мотивировалась К. Огняновичем и Ю. И. Венелиным. В этом сказалось безусловное влияние на изменение отношения Хр. Павловича к членным морфемам, при этом решающим, надо полагать, было мнение Ю. И. Венелина как русского ученого, более авторитетного филолога, чем К. Огнянович. Хр. Павлович не ссылается прямо на своих предшественников в этом вопросе, не называет их имен, а лишь как бы намекает на них, обещая молодым соотечественникам, что

они, если последуют его «Грамматике», будут писать «гладко и сладко, еще же и сось ритмы», как это делают родственные им «сербинь» (серб) и «руссь» (русский).

Важно, однако, отметить, что Хр. Павлович решительно отказался от употребления членных форм не сразу же по ознакомлении с книгой «О зародыше новой болгарской литературы» Ю. И. Венелина, а лишь спустя около десяти лет. Показателен в этом отношении тот факт, что в книгах «Царственник или История болгарская» и «Изгубеное дете или приключение весьма приятно и полезно», изданных Хр. Павловичем в 1844 г., то есть за год до опубликования второго издания «Грамматики славено-болгарской», картина с употреблением членных морфем сильно различается. «Царственник» — это перевод «Истории славяноболгарской» Паисия Хилендарского, написанной в 1762 г., «Изгубеное дете» — перевод с греческого языка пьесы немецкого писателя Хр. Шмидта. В Паисиевой «Истории славяноболгарской» членные морфемы не употребляются. Встречается лишь один случай употребления морфемы *-o* в следующем примере: «и прїишель во монастыро, що го биль съмь испорво съградиль» (л. 30 об.). Важно иметь в виду, что членные морфемы не употребляются и в предисловии и послесловии «Истории», т.е. в тех частях творения Паисия, в которых полностью исключается прямое влияние его источников, где таких морфем нет [Венедиктов 2009: 13]. В изданном же Хр. Павловичем «Царственнике», как показал К. Гутшмидт, членные морфемы употребляются «довольно последовательно» [Гутшмит 1979: 98]. Вот один из примеров из «Царственника», которыми К. Гутшмидт иллюстрирует свое наблюдение: «Тога Крунь разгнева се много, <...> и нападна на Никифора царя близо при Славомира не далечь отъ Никополя, и разби му *войска та* конечно, и зема *сичкото* имене, що беша плениль изъ неговий дворъ и от *Болгарія та*, а самого Никифора уби, и заповяда да натъкнать *глава та* му на едно дълго дърво, за да я види *сичка та* му *войска*» (27). К. Гутшмидт отмечает также, что Хр. Павлович в тексте

«Царственника» употребляет членную морфему мужского рода ед. числа *a*, но «только тогда, когда существительное в предложении не является подлежащим», например: «И така священникъ умирая проклясть Круна предъ народа» (28), «убиха го на пъта близо Серресъ» (15) [Гутшмит 1979: 99]. Причина отказа здесь у Хр. Павловича от ожидаемой членной морфемы *o* в пользу *a*, по мнению К. Гутшмита, не имеет определенного объяснения: «Не исключено, что Хр. Павлович, учительствовавший в Свиштове с 1831 г., начал считать членную морфему *-o* местной диалектной чертой» [Гутшмит 1979: 99]. Такова картина в «Царственнике». В переведенной же книге «Изгубеное дете» Хр. Павлович, как указывает известный историк современного болгарского литературного языка Русин Русинов, «членные формы уже не использует», и это свидетельствует об изменении его «взглядов на характер литературного языка и методов его строительства» [Русинов 1992: 45] (имеется в виду сближение современного литературного языка с церковнославянским, который он считал древнеболгарским). Но что послужило как бы последним толчком к тому, чтобы язык одной из отпечатанных в 1844 г. книг Хр. Павлович оставил без членных морфем и такое решение вопроса с членными морфемами он закрепил во втором издании «Грамматики славено-болгарской», остается неизвестным.

Одновременно с Хр. Павловичем в 40-е годы против употребления членных форм в литературном языке выступил и Константин Фотинов — другой видный деятель Возрождения Болгарии того времени, издатель первого болгарского журнала «Любословие», автор ряда книг и переводов. Первоначально К. Фотинов, как и Хр. Павлович, в языке своих сочинений и переводов членные морфемы употреблял («Общее землеописание», 1843; первые выпуски журнала «Любословие», 1844–1845). Правда, уже и в названных изданиях, особенно в «Любословии») употребление этих морфем было менее последовательным, чем в сочинениях других авторов. Вскоре, однако, К. Фотинов отказался от их употребления и уже в последних

выпусках «Любословия» (1846) их нет. Причина отказа К. Фотинова от них — отсутствие их в церковнославянском языке, который он, как и другие его современники в те годы считали собственно древнеболгарским. Непосредственным же поводом, побудившим его решительно изгнать из языка своих сочинений членные морфемы, явилось случайное знакомство с грамотой молдавского князя Иоанна Антиоха Константина, данной Киприанскому монастырю в Бессарабии. Это была грамота, написанная на церковнославянском языке с малорусскими особенностями, который К. Фотинов принял за болгарский язык XVII в. Так как членные морфемы в этой грамоте отсутствуют, то, решает он, их не должно быть и в современном *болгарском* литературном языке. Описание названной грамоты в «Любословии» он дал для того, чтобы «болгарский народ видел», каким был его письменный язык в конце XVII в., и чтобы в отсутствии в нем членных морфем «убедились те, кто защищает, предпочитает и употребляет в своих писаниях болгарские члены *о, то, та, те, ти, тѣ* и др.» («Любословие», 1846: февраль, 19–20).

В 40-е же годы без членных морфем писали и некоторые другие возрожденцы. Так, П. Пиперов в предисловии к опубликованной в 1845 г. в его переводе книге «Приключения Телемаха сына Одиссея» обращал внимание «любезных читателей» на то, что в изданных болгарских книгах все еще господствует большая разнобой («немало раздорство») в языке, создаваемый главным образом сатирическими членными формами («сатиричны члены болгарски») и местоимениями. Разнобой в употреблении членных морфем он иллюстрирует примерами из народной речи, которая почти в каждом городе отличается употребляемыми в ней членными формами: «на едни страны говоратъ *напой коня*, на други *напой конятъ*, на други *кона*, а на други *конатъ*, и *коньо* и *коньотъ*. и *коно* и *конотъ*» [Пиперов 1845: 21] Чтобы устранить такой разнобой, недопустимый в литературном языке, следует, по мнению Пиперова, отказаться от их употребления, поскольку и без них можно якобы выразить значение

известности (определенности — в современной терминологии). Это мнение он подтверждает разъяснением различия смысла предложений: «Гдѣ ходи? На село: сирѣчь не знаемое село» и «Гдѣ ходи? На едно село или градъ: сирѣчь неопредѣлительно». В обоих случаях существительное *село* выступает без членной морфемы, но во втором случае оно употреблено с «неопределенным числительным» *едно* — *на едно село* [соответственно и (на единъ) *градъ*]. «От zde е явно, — заключает Пиперов, — че можемъ да определявами вся числительная имена просто, кога трябва да ги определим, а неопредѣлная имена с мѣстоимениями *нѣкій* или *единъ* *человѣкъ* разумѣвамъ, че напр. *иде* *человѣкъ*, сирѣчь знатый *человѣкъ*; *иде* *нѣкій* или *единъ* *человѣкъ* разумѣвамъ, че иде единъ странень *человѣкъ*, кого азъ не познавамъ» [Пиперов 1845: 21–22].

Решительно против употребления членных морфем в 1852 г. выступил Николай Палаузов. Последователь Ю. И. Венелина в этом вопросе, он считает членные морфемы в болгарском языке варваризмом, неуместными формами, сорняками на ниве болгарского языка, которые «так обезображивают наш язык и такое неблагозвучие создают речи», что язык непременно должен быть от них очищен [Палаузов 1852: 81]. Он также считает, что наличие разных членных морфем мужского рода единственного числа само по себе уже свидетельствует об их неправильности, что употребление членных морфем — «эта несчастная привычка простого народа к каждому слову прилагать *атъ, та, то*» — стала настоящей причиной утраты болгарским языком падежей. Указывает, что они лишают болгарский язык возможности сочинять рифмованные стихи, ибо «все существительные имена и во всех падежах будут иметь только три (!!!) окончания: *атъ, та, то!*» [Там же]. Употребление членных форм, утверждает Палаузов, порождает в болгарском языке «неблагозвучие, подобное тому, какое создают несмазанные телеги, движущиеся по камням и вечно издающие звуки *та...та...та!*» [Там же]. В том же году столь же эмоционально и с подобной аргументацией

против употребления членных морфем выступил И. Константинов [Константинов 1852: 92].

Без членных морфем писал видный деятель национального возрождения Георгий Раковский в книге «Показалец или руководство, как да ся изисквѣт и издирят най-стари чърти нашего бития, языка, народопоколения, старого ни правления, славнаго ни прошествия и пр.» (1859), за что получил похвалу редактора газеты «Цариградски вестник» А. Экзарха («Архив на Г. С. Раковски». София, 1952, 172). Позднее Г. Раковский вернулся к употреблению членной морфемы муж. рода *о*, но встречается она у него непоследовательно [Русев 1962: 435–436]. Вообще же употребление членных морфем в опубликованных сочинениях и особенно в его частной корреспонденции отличается разной степенью непоследовательности, которую Б. Вълчев характеризует как «пестрое сожительство» именных форм с членными морфемами и без них в контекстах, где они должны быть [Вълчев 1993: 126].

В конце 50-х годов против членных форм выступил Ст. Горский. Он считал, что членные морфемы не только не существенные, но вообще излишние элементы языка, каковыми они предстают в собственных именах и некоторых нарицательных существительных (например, *истокъ, западъ*) и «неправильными» в формах множественного числа других существительных (например, *братья-та, вратья-та*), и призывал соотечественников изгнать их из письменного языка. Необходимость этого он, как и некоторые его современники, мотивировал и таким важным, с его точки зрения, надуманным доводом, что членные морфемы якобы препятствуют созданию поэтических произведений на болгарском языке. «В поэзии, — иронизировал Горский, — они будут столь же удобны, как деревянные башмаки (нальми) для вальса, где, как мне кажется, сила Геркулеса не требуется» [Горский 1859: 453].

В числе видных болгарских писателей эпохи Возрождения, отказавшихся от употребления членных морфем, был Васил Друмев. Они отсутствуют в первом издании знаменитой повести «Нещастна фамилия»

молодого (двадцатилетнего) автора, опубликованной в 1860 г. в журнале «Български книжици». Никаких разъяснений такого отношения к членным морфемам Друмев в предисловии к своему сочинению ничего не говорит [Друмев 1860: 123–124], хотя о существовавших спорах об их месте в литературном языке не зная он не мог. На это необычное обстоятельство обратила внимание редакция журнала, которая поместила по этому поводу следующее подстрочное примечание: «Г. В[асил] Д[румев] писал без членных форм, а между тем местами употреблял правописание такое, какое требуется только тогда, когда хотят верно передать живую народную речь. Это расхождения, которые нельзя легко примирить» [Там же: 126]. Во втором издании этой повести (1873), уже отдельной книжкой, мы видим, что употребление членных морфем было в ней как бы «восстановлено». Об этом в тексте «Вместо предисловия» Друмев, правда, ограничился лишь замечанием, что повесть здесь перепечатана «только с одним изменением: в “Книжицах” напечатана без членной формы, а тут членная форма употребляется» [Друмев 1873: V]. Что именно побудило его изменить отношение к членным морфемам, он не разъясняет.

Из изложенного можно заключить, что против употребления членных морфем в литературном языке выступали почти исключительно те деятели Возрождения — «архаисты», которые считали, что этот язык должен создаваться на базе сближения народного языка с церковнославянским (древнеболгарским) языком, и писали на языке, весьма удаленном от языка народного и, кроме членных морфем, лишенном других характерных его особенностей, но содержащем целый ряд грамматических и других особенностей церковнославянского языка, необходимых для украшения, обогащения нового языка. Отказ от членных морфем представителей другого направления устройства литературного языка — «новаторов» (например, В. Друмев) носил единичный и немотивированный характер.

Против введения членных морфем в литературный язык приводились следующие доводы:

1) Отсутствие членных морфем в церковнославянском (древнеболгарском) языке. Это был главный, решающий довод, свидетельствующий о том, что в представлениях и намерениях устройства нового литературного языка такая литературно-языковая константа как традиционный письменный язык в свете важнейших задач национально-культурного возрождения болгарского народа имела большой вес и находила поддержку среди части формировавшейся болгарской интеллигенции.

2) Отсутствие членных морфем в других современных славянских языках.

3) Неясность возникновения и разнообразие членных морфем в народном языке, свидетельствующее об их неправильности.

4) Членные морфемы — не украшение и обогащение языка, а его порча, мерзость и уродство.

5) Членные морфемы — помеха, препятствие к сочинению стихотворных произведений на болгарском языке.

Мотивы отрицания членных морфем различны. Это и «внутренняя неприязнь» их неболгарами, для которых болгарский язык не был родным. Не случайно, надо думать, первыми против них выступили именно неносители болгарского языка (К. Огнянович, Ю. И. Венелин, М. А. Соловьев). С этим связано и чисто субъективное отношение их к членным морфемам как к чему-то обезображивающему, уродующему литературный язык, воспринятое и некоторыми болгарскими грамматистами и другими книжниками. Это, далее, просто плохое знание живого народного языка, проявлением которого была уверенность в наличии говоров, в которых членные морфемы не употребляются, и лишенная оснований уверенность, в том, что членные морфемы лишат болгарский литературный язык возможности создавать на нем стихотворные сочинения. Но главным мотивом отказа от членных морфем было сознательная тенденция к созданию литературного языка, отличающегося от живого языка простого народа. Почти все, кто выступал против членных морфем, своей

литературно-письменной практикой стремились направить развитие нового литературного языка по пути большего или меньшего сближения его с церковнославянским (древнеболгарским) языком.

#### ЛИТЕРАТУРА

Андрейчин 1977: *Л. Андрейчин*. Из историята на нашето езиково строителство. София, 1977

Априлов 1968: *В. Е. Априлов*. Съчинения. София, 1968.

Венедиктов 1990: *Г. К. Венедиктов*. Современный болгарский литературный язык на стадии формирования: проблемы нормализации и выбора диалектной основы. М., 1992.

Венедиктов 1997: *Г. К. Венедиктов*. О судьбе «Грамматики нынешнего болгарского наречия» Ю. И. Венелина // *Ю. И. Венелин*. Грамматика нынешнего болгарского наречия. М., 1997.

Венедиктов 2009: *Г. К. Венедиктов*. Исследования по лингвистической болгаристике. М., 2009.

Венелин 1997: *Ю. И. Венелин*. Грамматика нынешнего болгарского наречия / Публикация подготовлена Г. К. Венедиктовым. М., 1997.

Венелин 1838: *Ю. Венелин*. О зародыше новой болгарской литературы. М., 1838.

Вълчев 1993: *Б. Вълчев*. Раковски книжовникът и филологът. София, 1993.

Вълчев 2009: *Б. Вълчев*. От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици. София, 2009.

Горский 1859: *Ст. М. Горский*. За българско рвение // Цариградски вестник. 1859. № 413.

Гутшмит 1979: *К. Гутшмит*. Езикът на Паисиевата история и езикът на Царственика от Христати Павлович Дупничанин // Изследвания из историята на българския книжовен език от миналия век (Сборник, посветен на 100-годишнината от Априлското въстание). София, 1979.

Друмев 1860: *В. Друмев*. Нещастна фамилия. Кратка българска повест // Български книжици. 1860. Ч. II.

Друмев 1873: *В. Друмев*. Нещастна фамилия. Българска народна повест. Руссе, 1873.

Каравелов 1862: *Л. Каравелов*. Болгарская литература // Московские ведомости. 1862. № 153.

Константинов 1852: *И. Константинов*. Не е право хладнокровие да показуваме върху наше славено-болгарство // Цариградски вестник. 1852. № 92. 19.VII.1852.

Кръстевич 1858: *Г. Кръстевич*. Писма за някои си мъчности на българското правописание. Писмо II. За членът // Български книжици. 1858. Ч. III.

Лунина 1951: *М. В. Лунина*. «Грамматика нынешнего болгарского наречия» Ю. И. Венелина // Славянская филология. Статьи и материалы. М., 1951.

Огнянович 1833: [*К. Огнянович*] Житие Светаго Алексия. В Будине, 1833.

Павлович 1836: *Хр. П. Дупничанин*. Грамматика славено-болгарска. В Будине, 1836.

Павлович 1845: *Хр. П. Дупничанин*. Грамматика славено-болгарска. 2 изд. В Белграде, 1845.

Палаузов 1852: *Н. Палаузов*. Няколко мисли заради българското правописание // Цариградски вестник. 1852. № 81. 12.IV.1852.

Пашов 1999: *П. Пашов*. Българска граматика. София, 1999.

Пиперов 1845: *П. Пиперов*. Приключения Телемаха сына Одисееваго. Виенна, 1845.

Рилски 1835: *Неофит Рилски*. Болгарска граматика сега перво сочинена. От Неофита П. П. В Крагуевце, 1835.

Русев 1962: *Р. Русев*. Раковски и въпросът за определителния член // Български език. 1962. № 5.

Русинов 1992: *Р. Русинов*. Христини Павлович и изграждането на новобългарския книжовен език // Език и литература. 1982. № 6.

Соловьев 1842: *М. Соловьев*. [Рец.:] Денница новобългарского образования. Сочинение Василия Априлова. Одесса, 1841 // Москвитянин. 1842. № 5.

Унджиева 1962: *Цв. Унджиева*. Документи по Българското възраждане в съветските архиви // Известия на Института за литература при Българската академия на науките. Кн. XII. София, 1962..

Учено путешествие 2005: Учено путешествие Ю. И. Венелина в Болгарию (1830–1831) / Публикация подготовлена Г. К. Венедиктовым. М., 2005.

Л. Э. КАЛНЫНЬ

**Сосуществование  
литературной и диалектной форм языка  
как культурная константа  
современной славяноязычной ситуации**

1. Один из главных культурных факторов, определяющих специфику современной славяноязычной ситуации, образован сосуществованием в ее пределах кодифицированной (литературной) формы языка и территориальных диалектов<sup>1</sup>. Любой национальный язык реализуется в текстах, порожденных по правилам сосуществующих форм этого языка — кодифицированной и диалектной. Факт сосуществования этих форм является условием придания территориально ограниченному языковому идиому статуса диалекта. Идиом, лишенный сопоставления с литературным (письменным) языком, имеет статус бесписьменного языка.

Пространство определенного языка может меняться в результате образования литературной формы, охватывающей часть диалектов этого языка. В славянских странах это ситуация, когда диалект обретает письменность и получает статус так называемого малого литературного языка (или «литературного микроязыка», по терминологии

---

<sup>1</sup> В данном случае ситуация упрощена, поскольку набор идиомов, отличающихся от литературного языка, не сводится только к территориальным диалектам, а включает в себя также образования, промежуточные между литературным языком и диалектами, — социальные диалекты, просторечие.

А. Д. Дуличенко, предложившего описание факторов, способствующих этому, и различий в функциональном пространстве, обслуживаемом данным микроязыком, см. [Дуличенко 1981; Дуличенко 2006])<sup>2</sup>. Система микроязыка как кодифицированной формы основывается на особенностях фиксированного состава идиомов (диалект / группа диалектов), входящих в определенное диалектное пространство. Вследствие этого автоматически происходит расслоение территориально ограниченного языкового образования на стандарт, с одной стороны, и диалекты, в разной степени отличающиеся от кодифицированной формы, с другой. А диалектное пространство в целом получает статус языка и выделяется из того языкового образования, в которое было включено до появления литературного микроязыка (ср. выделение русинского языка из украинского).

Литературная и диалектная формы языка имеют разный статус как компоненты национального языкового пространства. В любом современном обществе высок престиж литературного языка как культурного символа нации. Но уровень оценки местных диалектов с точки зрения их престижности и социальной ценности в разных обществах не одинаков, что отражается, в частности, в языковой политике, проводимой в данном обществе. Колебания в отношении к диалектам довольно велики: от нежелательности использования диалекта только в официальной ситуации до представлений о несовместимости

---

<sup>2</sup> Появление литературных микроязыков может быть «результатом сложных исторических условий, в которых оказывались в разное время славянские народы. Речь идет о политико-административном разделении этноса, переселении его части по экономическим, политическим, религиозным и иным причинам в другие регионы славянского и неславянского мира и др.», и далее — «осознание языковой и этнической специфичности может способствовать культивированию в соответствующей среде мысли о необходимости собственными силами создать собственную письменность и собственный литературный язык» [Дуличенко 2006: 26].

диалектной речи с претензией говорящих на образованность и достойное социальное положение.

Примеры положительного отношения к диалектам обычно приводят из немецкоязычной среды, для которой характерна терпимость к диалектам и осознание их как части национальной культуры. Ср., например, как это отражено в следующем высказывании: «...диалект — это языковое открытие родины... независимая ценность диалектов состоит в том, что они дают гармонию внешнего и внутреннего мира, что они действительны и в сравнении с литературным языком. Диалекты уходят, но пустоты заполняются не литературным языком, а жаргоном» [Weisgerber 1976: 107]. Практикуемое в немецкоязычной среде литературно-диалектное двуязычие определяется как переключение кода в зависимости от ситуации общения [Блумфилд 1968: 66; Жирмунский 1968: 25]; в терминологии В. Ю. Розенцвейга это названо «координативным двуязычием» [Розенцвейг 1972: 10]. О масштабах такого переключения в немецкоязычной среде свидетельствуют следующие данные, относящиеся к недавнему времени: в Баварии число лиц, пользующихся местным диалектом в семейных условиях, составляет 77%; немецкие говоры Швейцарии постоянно используются во всех ситуациях устного общения [Васченко 2002: 37].

Неодинаковый уровень социальной сниженности разных форм диалектов одного языка отражен в терминах, используемых А. Мартине: абсолютно непрестижные формы названы им «патуа» (patois), а формы, употребляющиеся наряду с литературным языком и подчас имеющие письменную фиксацию, — «диалект» [Мартине 1963: 508]. О неодинаковой престижности местных диалектов в разных странах пишет Э. Сепир [Sapir 1963: 83].

Литературно-диалектное двуязычие предполагает, что в обществе диалектная речь не отождествляется однозначно с отсутствием культуры у тех, кто пользуется диалектом.

Примером иного отношения к диалектам может служить языковая политика, практиковавшаяся в русскоязычном обществе. В русской

языковой действительности прошлого большая часть населения России была не городской и говорила на диалектах, а существующие социальные барьеры препятствовали положительной оценке диалектов со стороны образованного общества. К диалектам относились как к непрестижному средству общения, присущему малокультурным слоям населения. Показательна в этом отношении сноска, сопровождающая первый из рассказов в «Записках охотника» И. С. Тургенева: «орловское наречие отличается вообще множеством своебытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных слов и оборотов» [Тургенев 1970: 7]. В самом произведении, посвященном описанию сельского быта, диалектная лексика немногочисленна и дистанцирована от авторской речи, часто путем заключения слова в кавычки или объяснения его значения в сноске.

Отношение к диалектам как компонентам национальной культуры, заслуживающим внимания, присутствовало в узком кругу специалистов-лингвистов, педагогов, любителей народной речи.

Языковая и культурная политика в обществе была ориентирована на внедрение литературного языка в среду носителей диалектов, имея в виду в конечном итоге замену диалектов литературным стандартом. Этому должно было способствовать, прежде всего, сельское школьное обучение, активно развивавшееся со второй половины XIX в. Результаты этого процесса по необходимости были индивидуализированы и проявлялись по-разному у конкретных носителей диалектов.

Языковая политика 20–30-х годов XX в. внесла новые критерии в характеристику русских диалектов. На оценку русских диалектов наложилась сознательно вырабатываемая социально-политическая компрометация. Считалось, что послереволюционная «демократизация» культуры в обозримо короткий период должна привести к устранению диалектов и повсеместному распространению кодифицированной формы языка. В перспективе, очень близкой, виделось такое общество, где языковое поведение человека не несет никакой

экстралингвистической информации о самом говорящем (локальной, социальной, образовательной, возрастной, профессиональной).

Уровень сохранения диалектных форм языка прямо связывался с уровнем социально-политической продвинутости общества [Филин 1938; Чистяков 1935]. Объявлялось, что диалектные формы языка свойственны политически отсталым слоям населения, не охваченным процессом коллективизации, и далее — диалектные формы сохраняются благодаря нежеланию отсталых крестьян овладеть литературным языком: «в колхозной деревне со стороны основной массы колхозников этого противопоставления литературному языку не имеется» [Филин 1938: 173; Филин 1973: 356]. В. Ф. Чистяков характеризует диалектную речь как классово маркированную: «Классы, находящиеся на низкой ступени экономического и культурного развития, сохраняют старые формы производства, быта и материальной культуры — а вместе с тем и старые названия; классы, экономически сильные, большей частью ведущие, наоборот», и далее: «произношение может служить показателем классовой принадлежности того или иного лица» [Чистяков 1935: 4]. Таким образом, лица, говорящие на диалекте, объявлялись чуждыми социальному прогрессу.

В параллель подобным оценкам в русской диалектологии было принято выделение в говоре отсталого и передового слоя, реализующихся в речи разных групп носителей диалекта. О том, что после революции в условиях социалистического строительства ставшее особенно интенсивным влияние литературного языка на говоры способствует расширению их передового слоя, писал Н. М. Каринский [Каринский 1936: 9]. Ф. П. Филин считал неправильным ориентироваться при обследовании говоров на отсталый слой говора. Он писал в 1936 г.: «До последнего времени создают карты говоров обычно на основе опроса представителей отсталых в культурном отношении слоев крестьянства, которых становится все меньше, то есть на основе незначительного процента населения. На самом же деле речь местного населения в целом весьма далека от этих представлений»

[Филин 1936: 98]. Насколько это утверждение соответствует реальности, можно судить по тому, что, в частности, сбор материала для диалектных словарей в русских говорах продолжается до настоящего времени.

Ассоциирование диалектов с сельским населением, не имеющим политической перспективы, официально санкционировало ожидание скорого и полного вытеснения русских диалектов литературным языком. Этот тезис включался в вузовскую подготовку педагогических и научных кадров; отражен он и в «Программе собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка» (М.; Л., 1947: 176–178). А в начале 1960-х годов в «Истории русской диалектологии» прямо сообщалось, что «исчезновение русских диалектов уже свершившийся факт» [История 1961: 61]. Аналогичное утверждение относительно украинских диалектов содержится у И. К. Белодеда; по мнению этого автора, в условиях развития культуры и просвещения населения УССР диалекты уже в 60-е годы XX в. или совсем перестали существовать, или находятся на грани полной замены литературным языком [Белодед 1969: 72].

В основе приведенных суждений лежит представление о диалектах как о лингвистически пассивных идиомах, лишенных структурно обусловленных факторов стабильности.

В последнее время можно встретить уже иной взгляд на русские диалекты. В контексте современного интереса в мировой лингвистике к территориальным формам разных языков меняются оценки и русских диалектов. Так, в одном из последних учебников по диалектологии сказано, что диалекты — это богатство русского языка, «нивелирование диалектов, утрата ими черт, отличающих друг от друга и от литературного языка, — это утрата части их языкового богатства, обеднение общенародного языка» [Русская диалектология 2005: 14, 15].

Находясь в контакте с литературным языком, диалекты испытывали определенные изменения, но фронтальной замены одного идиома другим не происходило. В то же время следует иметь в виду,

что в отношении русских диалектов и их носителей действовали деструктивные факторы нелингвистического характера. Такие факторы обуславливают исчезновение диалекта как языкового феномена под влиянием обстоятельств социального и демографического свойства. Процессы коллективизации, раскулачивание, переселение больших масс сельского населения, уничтожение «неперспективных» деревень в 70-е годы XX в. — все это вело к сокращению (разреживанию) русского диалектного континуума. В результате уничтожения непрестижных деревень многие населенные пункты, обследованные по Программе ДАРЯ в 40–50-е годы, сейчас не существуют. Исчезли и их говоры.

В этом случае имеет место динамика диалектов не языковая по своему содержанию, а обусловленная только социальными факторами. По замечанию Ф. де Соссюра, «нельзя найти в самом языке возможность прекращения его существования: только случайное событие, насилие или непреодолимая высшая сила внешнего характера могут уничтожить его» [Соссюр 1990: 47]. Именно такая сила воздействовала на русские диалекты.

Новейшим примером действия непреодолимых сил на диалектный континуум является утрата части украинского среднеполесского диалекта, носители которого были переселены в другие места (и в другую языковую среду) в результате чернобыльской аварии 1986 г. Украинские лингвисты сочли необходимым зафиксировать среднеполесский диалект в специальном издании, используя речь носителей диалекта как в сохранившихся селах, так и переселенцев [Говірки 1996; Говірки 1999]. Это тот случай, когда память о диалекте сохраняется в тексте, но как территориальная реальность он уже не существует.

В 1945–1947 гг. произошло принудительное переселение лемков из юго-восточных районов Польши на территорию Советской Украины, с одной стороны, и на западные и северные земли Польши, полученные от Германии, с другой. Так перестала существовать, как

компактное образование, группа лемковских говоров, которые были самыми западными украинскими говорами. То, как повлияло переселение лемков на их язык, описано М. М. Алексеевой [Алексеева 2008; Алексеева 2009].

Языковая политика, ориентированная на сплошную замену диалектов литературным стандартом, должна формировать у носителей данного национального языка отрицательное отношение к диалектной форме этого языка. Между тем это отношение может быть неоднозначным, и не только в среде носителей диалектов, но и носителей стандарта.

Диалектоносители при осознании непрестижности своего идиома, тем не менее, не могут относиться к нему отрицательно, поскольку он в их сознании включается в категорию «свой ~ чужой» (ср. об этом в отношении разных диалектов [Гетка 2012; Гриценко 2012]). Чужим может быть как литературный язык, так и другой диалект. Свой диалект традиционен, он обслуживает коммуникативные потребности коллектива, отражает объективную картину мира и поэтому он лучше других языковых идиомов (ср. бытование в русской диалектной среде насмешливых прозвищ для говорящих на ином / соседнем диалекте). Оценка языка как «своего» гарантирует его существование как такового — в противном случае на языке перестают говорить и он исчезает. Так это произошло в XVIII в. с полабским языком. А. М. Селищев в своем описании полабского языка отмечает, что, по свидетельству одного из современников последних десятилетий существования полабского языка, пастора Христиана Хеннига, «молодежь чувствует такое отвращение к родному языку, что не хочет не только учиться ему, но даже не хочет и слышать его звуки» [Селищев 1941: 421; см. также: Супрун 1987: 4–5]. Превращение «своего» языка в «чужой» логически ведет к отказу от такого языка.

Диалект как первично усвоенная коммуникативная система может продолжать существовать в памяти / сознании лица, заменившего

диалект литературной нормой. В преклонном возрасте эта память может оживиться, и в речи бывших диалектоносителей вновь становятся востребованными средства родного диалекта (обычно это касается лексики). Это описано Т. С. Коготковой как «возрастные явления возврата к материнской основе речи» [Коготкова 1970: 140–143].

Оценка диалекта его носителями может быть выявлена методом анкетирования. Опыт такого эксперимента отражен в работе [Климчук 2012]. Автор предлагал носителям западнopolесских белорусских говоров, знающих русский язык, оценить с эстетической и содержательной точки зрения художественный текст, переведенный с русского на западнopolесский диалект (в переводе был дан текст Л. Н. Толстого). Большинство респондентов отмечали, что текст на их родном диалекте воспринимается ими положительно, поскольку он ярче отражает картину мира, содержащуюся в оригинале.

Но положительная оценка диалектной речи может существовать и в литературно говорящей среде. В основе этого лежит оценка языкового фонда диалектов как компонента национальной культуры. О бережном отношении к русской диалектной лексике писал в своем словаре В. И. Даль еще в 1852 г.: «...с языком, с человеческим словом, речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека — это осязаемая связь, союзное звено между телом и духом, без слов нет сознательной мысли, а есть только чувство и мычание» [Даль 1935: с. III].

А. Д. Дуличенко в среде носителей русского и украинского стандартов провел опрос по анкете, которая должна была показать их отношение к русским и украинским диалектам [Дуличенко 2012]. Выяснилось, что в интеллигентной среде присутствует сознание культурно-исторической и этнической ценности диалектов.

Но анкетирование не всегда дает такие результаты. На XIII Международном съезде славистов был представлен коллективный доклад [Krause et al. 2003], посвященный выяснению того, как оцениваются в общественном сознании диалектные формы русского языка.

Был проведен эксперимент — носителям русского стандарта были предъявлены фонетические тексты из южнорусского, севернорусского регионов, из Сибири и др. Испытуемые должны были охарактеризовать услышанное с точки зрения близости к собственному варианту языка / речи и оценить эмоционально (приемлемо ~ неприемлемо). Севернорусские диалекты у всех испытуемых ассоциировались с отрицательным имиджем и оценивались как неприемлемые и далекие от стандарта. Южнорусские диалекты, напротив, воспринимались как близкие стандарту и индифферентные в отношении «приемлемо ~ неприемлемо».

Опыт анкетирования на предмет отношения в обществе к диалектам показывает, что диалекты воспринимаются носителями национального языка как особые языковые образования и у носителей литературного стандарта могут вызывать разную оценку.

Контакт литературного языка с диалектами создает предпосылки для включения диалектных элементов в языковую практику носителей литературного языка, в частности, в литературные тексты. В этом отношении интересна работа Р. Ф. Касаткиной, в которой она показывает наличие псковских диалектизмов в текстах А. С. Пушкина [Касаткина 2004]. Использование поэтом диалектизмов кажется естественным: будучи с детства окружен службой, говорящей на псковском диалекте, он не мог не усвоить некоторые диалектные явления. Позже некоторые из них могли ощущаться как более адекватные семантически и включаться в текст.

Допустимость использования в тексте диалектных элементов может быть соотнесена с уровнем демократизации общества. В русской языковой ситуации 1920–1930-х гг., в условиях жесткого идеологического пресса, диалектизмы в литературном тексте не допускались цензурой. Ср. в этой связи критические высказывания А. М. Горького о языке современной ему литературы. Он считал, что использование в художественном тексте не только жаргонизмов, но и диалектизмов («областническая терминология») засоряет литературный

язык и имеет нежелательные идеологические последствия [Горький 1934; Горький 1953: 152]. Отрицательное отношение Горького к диалектизмам коррелирует с его неприязнью к крестьянству вообще.

Иное отношение к включению диалектизмов в литературный текст демонстрируют произведения русских писателей 1960–70-х гг., объединенные определением «деревенская проза» (В. Белов, В. Астафьев, В. Личутин и др.). Ослабевают цензурные ограничения на диалектизмы в том случае, когда они используются для описания жизни и быта русской деревни. Включение в текст диалектных средств позволяет в этом случае более адекватно описать создаваемую писателем картину мира (см. об этом [Калнынь 1998]). Как достаточно красноречивую иллюстрацию этого, приведем фрагмент из романа «Раскол» Владимира Личутина — автора, который широко пользуется архаичным словарём и лексикой своего родного мезенского диалекта. Ср. описание трагического эпизода жизни поморов-зверобоев на Новой Земле: «Кто спохватится о поморянине, когда *пластается* он, *доска доскою*, на сиротском ложе, в нетопленной *зимовойке*, дожидаясь конца, а ветер скорбит, толчется с воем в *волоковое*, наглухо задвинутое оконце, когда бродят у стены песцы, чуя поживу, когда от догорающей сальной площадки *непродых* и последний артельщик уже давно мертв, *зальдился*, согнулся *корчужскою* на соседнем *примосте*, и оленняя *постель* ему и последняя утеха, и *погребница*, и *жальник*. И крепит тогда умирающего поморянина лишь *дух несносимый*, да Господь, *дозирающий* у изголовья, чтобы принять в райский вертоград отмучившуюся душу... Кто поймет ту крайнюю тоску и муку новоземельского *ушкуйника*, что угасает от *скорбута*... когда слеза скатившаяся в *сголовыще*, не высыхает, но *замревает* в морозные алмазы. Мир и покой праху твоему извечный добровольный скиталец Гандвика, морской паломник и *помытчик*. Воистину, кто в море не бывал, тот и Богу не маливался». Если этот текст лишить местной поморской лексики, заменив ее литературными словами, то будет получена картина, сильно отличающаяся от той, которую создал автор.

Однако включение диалектных элементов в литературный текст может быть не только результатом художественных предпочтений авторов текста. Востребованность диалектов может стать компонентом социально-политических преобразований, происходящих в обществе. Подобная ситуация, характерная для современной Украины, описана в работе [Гриценко 2011]. В условиях новой политической реальности использование диалектных элементов в литературе и средствах массовой информации оценивается в Украине как знак демократизации общества, национальной идентификации и отрицания тоталитарной нормы советского периода.

2.1. Диалекты функционируют в гомогенной среде и контактируют с литературным языком через школу, средства массовой информации, через общение с лицами, говорящими на кодифицированной форме языка. Принято считать, что в таких условиях носители диалекта усваивают правила литературного языка и диалекты нивелируются.

Это положение принято в русской диалектологии, где динамика русских диалектов связывается в первую очередь с влиянием литературного языка. Однако констатация этого не всегда сопровождалась изучением реального процесса влияния литературного языка на русские диалекты. На это еще в 1940-х годах обратила внимание Н. М. Гринкова, написав, что указания на воздействие литературного языка на диалекты «в большинстве исследований выглядит скорее как отписка по поводу материала, не подлежащего изучению», а «процесс воздействия литературного языка не изучается и как он происходит — неизвестно» [Гринкова 1947: 177, 183]. В этом отношении показателен труд С. И. Коткова, который сам автор называет пособием по усвоению норм литературного языка в условиях южнорусского диалекта [Котков 1957]. Однако в этой работе дается лишь перечень южнорусских диалектных особенностей и их литературных эквивалентов, которыми должны быть заменены диалектизмы. Но

как реализуется процесс вытеснения диалектизмов, что этому может способствовать или препятствовать, остается неизвестным, так как автор об этом не пишет. Приводятся лишь отдельные примеры искаженного восприятия явлений литературного языка.

В русской диалектологии актуальна идея сосуществования литературной и диалектной систем в языковой практике носителей диалекта, что определяется как двуязычие [Фонетика 1968: 189]. Однако в литературе нет описания конкретной реализации сосуществующих систем в речи носителей какого-либо русского диалекта. Обычно за проявление двуязычия принимается параллельное употребление диалектных слов и их литературных эквивалентов. В этом случае проявление двуязычия ограничивается одним уровнем языка, так как «переключение кода» в словаре не всегда сопровождается тем же в фонетике и грамматике [Баранникова 1974: 55]. К тому же освоение литературной лексики может иметь тематические ограничения — например, при переселении сельских жителей в город у них обычно сохраняется словарь, связанный с названием растений, реалий сельского быта и под.

Для определения идиома, образовавшегося в результате влияния литературного языка на диалекты и противостоящего литературному языку, используется термин «полудиалект», предложенный В. М. Жирмунским для немецкоязычной среды [Жирмунский 1936]. Термин используется и в русской диалектологии, обозначая «структуру, представляющую собою сплав сосуществующих языковых элементов диалекта и литературного языка» [Коготкова 1979: 6]. Однако введение нового термина не меняет содержания языковой ситуации, в которую включены русские диалектные и литературная формы языка. Термин «полудиалект» уже по своему названию должен быть включен в иерархию трех речевых форм: (1) говор архаический ~ (2) говор, подвергшийся влиянию литературного языка, ~ (3) литературный язык. В таком ряду «полудиалект» — это этап на пути измерения расстояния между первым и третьим элементом. Если архаическая

диалектная речь в говоре отсутствует, а лишь реконструируется, то «полудиалект» включен в двучленную оппозицию (диалект ~ литературный язык) и является диалектом современности.

Процесс влияния литературного языка на диалекты может происходить в разных обстоятельствах и осуществляться разным способом. В этом плане успех школьного образования во многом зависит от того, в какой языковой среде оказывается индивидуум за пределами школы.

Переход от диалекта к литературному языку предполагает сознательный отказ лица, первоначально говорящего на диалекте, от «материнского языка» (Muttersprache). Такой отказ принципиально должен сопровождаться негативным отношением к своему языку, желанием его заменить. Подобное отношение без труда формируется, если носитель диалекта выходит за пределы своего социума, контактирует с носителями престижной, с его точки зрения, формой языка и испытывает языковое давление новой языковой среды. Престиж литературного языка в такой ситуации безусловен, поскольку «престиж связан с перенесением на одну из лингвистических форм социальных ценностей, приписываемых выработавшей их социальной группе» [Лабов 1976: 21]. Ощущение престижности языкового идиома сопровождается стремлением не выделяться на общем фоне говорящих на этом языке, а стать одним из них. Однако и в такой ситуации носители диалекта не всегда полностью освобождаются от диалектных особенностей в своей речи [Коготкова 1979: 7; Розенцвейг 1972: 5].

По-другому обстоит дело, если обучающийся литературному языку в рамках школьного образования носитель диалекта живет в среде лиц, говорящих на этом диалекте, когда социальный контроль имеет другое содержание, чем в ситуации, описанной выше. В этих условиях престиж литературного языка не самоочевиден. Ощущаемое диалектоносителем отличие своего языка от стандарта не означает обязательно негативного отношения к своему языку. Не исключена

даже негативная оценка литературных форм — иногда попытка отдельных лиц внести орфоэпическую коррекцию в свою речь встречает насмешливое отношение со стороны других носителей диалекта и оценивается как претенциозность или жеманство. Повседневная жизнь и устоявшаяся картина мира обслуживаются диалектной формой языка, которой пользуется окружение носителя диалекта — правильным считается то, что общепринято в окружении говорящего. В этом случае проявляется давление диалектной языковой среды. Действует универсальный принцип: «Всякая устойчивая социальная группа — помимо всех других условий своего образования — объединяется общностью языка... Тесная и длительная солидарность не может существовать без этого. А с другой стороны — только при противопоставлении или столкновении с другой группировкой обнаруживается сплоченность коллектива. Язык, таким образом, оказывается всегда фактором социальной дифференциации не в меньшей мере, чем социальной интеграции» [Ларин 1977: 191].

За пределами школьного образования контакт диалектов с литературным языком происходит в ходе речевого общения носителей диалекта с лицами, говорящими на литературном языке, когда отсутствует целенаправленное нормативное воздействие на носителя диалекта. Такой контакт явление динамическое, для которого характерно отсутствие временного интервала между языковым намерением, его реализацией и восприятием сказанного. Как отметил Л. В. Щерба, «сознательная группировка слов свойственна лишь письменной речи... Сознательность же обыденной разговорной (диалогической) речи, в общем, стремится к нулю» [Щерба 1974: 25, сноска 3]. Каждый речевой акт в диалоге эфемерен — реализовавшись, он в тот же момент перестает существовать, уступая место следующему акту. На фоне общего понимания текста не происходит осознания и тем более возможного репродуцирования особенностей речи партнера.

Для того чтобы в такой ситуации заменить в своем языке диалектное явление литературным эквивалентом, надо заметить и

понять разницу между ними. Сложнее всего для лингвистически неискушенного носителя диалекта уловить существо фонетических и морфологических отличий собственной речи от речи литературной. Поэтому при общем понимании сниженной престижности своего языка и интуитивном ощущении несходства между диалектной и литературной речью в поле конкретного внимания попадает фонетика и морфология отдельных словоформ, произношение которых с большим или меньшим успехом может приблизиться к литературному образцу. Лексика воспринимается более определенно, хотя не всегда с пониманием значения слова.

Распространено мнение, что во внедрении кодифицированной формы языка в среду носителей диалекта значительную роль играют средства массовой информации, радио и телевидение. Однако в этом утверждении не учтены следующие обстоятельства. Восприятие радио- и телевизионной речи имеет свою специфику. Для слушателя язык средств массовой информации принципиально монологичен, то есть воспринимается как речевая деятельность, протекающая без его участия.

Диалект в естественном употреблении реализуется преимущественно в виде диалога. Для носителя диалекта длительно протекающий монолог, имеющий к тому же определенные отличия от его языка, не обеспечивает полного понимания передаваемой информации<sup>3</sup> и тем более фиксацию различия между диалектом и транслируемой речью. Следует согласиться с замечанием о том, что причиной малого воздействия на речь слушателей радио- и телепередач является то, что в них «не учитывается специфика языкового опыта реципиента и специфика смыслообразования в рамках этого опыта; для эффективного воздействия на слушателя необходим правильный

---

<sup>3</sup> Автору статьи не раз приходилось наблюдать, как в сельской среде при просмотре телесериалов зрители приписывали происходящему на экране иное содержание, чем это предлагалось по сюжету.

выбор знаковой системы, не противоречащей языковому опыту реципиента... и *диалогичность* (выделено мной. — Л. К.) коммуникативного процесса» [Сорокин 1985: 62]. Представление о том, что радио и телевидение способствует коррекции речи носителей диалекта по направлению к литературной норме, не вполне соответствует реальности.

Из сказанного можно заключить, что разного вида контакты, в которые вступают в своей речевой практике носители диалектов с литературным языком, не приводят ни к замене диалекта литературным языком, ни к образованию диалектно-литературного двуязычия. Для достижения таких результатов необходима специальная программа обучения (подобная постановке театрального произношения), что в рамках обычной образовательной практики не предусмотрено.

2.2. Понимание того, как в пределах культурной константы национального языка сосуществуют литературная и диалектные формы языка и к каким результатам это приводит, может быть достигнуто, если эти формы рассматриваются как параллельно функционирующие структурно организованные образования.

Изучение литературного языка в разных аспектах традиционно занимает центральное место в любой национальной лингвистике. Диалекты же чаще всего рассматриваются в дифференциальном плане, то есть с точки зрения особенностей, отличающих диалекты от литературного языка и от других диалектов. Между тем именно особенности литературного языка и диалектов как структурно организованных образований определяют характер и результаты их взаимодействия в ситуации сосуществования.

Эти идиомы принципиально различаются уже в качестве объектов наблюдения. Литературный язык позволяет констатировать как его синхронные особенности, так и диахронию. В литературном языке эксплицирована протяженность во времени (тексты разной хронологии, описание нормы в разный период).

Диалект в каждый момент его обследования предстает в своем синхронном состоянии. Это система одного хронологического среза. Особенность любого диалекта состоит в том, что в нем комбинируются стабильные черты и варианты явления, образующего какой-либо компонент системы. Наличие вариантов является онтологическим свойством любого языкового идиома. Если не учитывать вариантов и рассматривать язык как однородный объект, то «при таком подходе конкретный язык либо идеализируется целиком, т. е. весь превращается в инвариант фонетического и графического языка, либо даже такой конкретный фрагмент языка, как диалект, превращается в абстрактную схему» [Степанов 1976: 149]. Ср. также [Глисон 1959: 377]: «Одной из наиболее очевидных особенностей речи является ее вариативность. Если мы подвергнем анализу большое количество словесных выражений какого либо языка, мы обнаружим, что среди них нет и двух одинаковых...».

В диалекте варианты могут иметь разное происхождение — реакция на влияние литературного языка, результат структурно обусловленной динамики идиома.

Информация об изменениях, происходящих в конкретном диалекте, обычно получается путем привлечения данных истории языка и сопоставления разных диалектов. Более надежную информацию дают описания одного диалекта, относящиеся к разному времени. Таковы, например, описания русского говора с. Лека, сделанные в разные годы в трудах [Шахматов 1913; Высотский 1949; Касаткина 2009]. Последнее обследование диалекта показало, что изменения происшедшие в его вокализме, не связаны с влиянием литературного языка, а отражают внутреннюю динамику структуры диалекта [Касаткина 2009: 112].

Движение диалекта может быть прослежено путем долговременного наблюдения над одним говором или группой говоров; пример этого — изучение калининских (тверских) говоров в работах [Кириллова 1983; Кириллова 1985; Кириллова — Новикова 1988].

Возможно сопоставление переселенческого говора и того, от которого он когда-то отделился; ср. [Калнынь — Попова 2007]. Динамика одной диалектной черты — цоканья — в русском говоре рассмотрена в [Колесов 1975].

Вопреки наличию вариативности в диалектах и изменениям разного происхождения, в том числе под влиянием литературного языка, устойчивость современных диалектов в их фонетике и морфологии предстает как бесспорный факт. Лексика в диалектах более динамична, но не все новации отражают собственно языковую динамику диалекта — усвоение новых слов вместе с новыми понятиями относится к области экстралингвистики.

Стабильность диалекта в фонетическом и грамматическом (морфологическом) плане — это нормальное проявление консерватизма, она онтологически присуща любому естественному языку. В этой связи уместно привести следующее замечание: «Значительно хуже мы понимаем причину того, почему удерживается архаический тип там, где язык уже имеет удобный образец развития. В литературном языке обычно при исследовании подобных явлений прибегаем к социологическим причинам. Считаем, что изменение в кодификации не произошло потому, что старшее состояние поддерживается приверженностью к традиции, иногда действием рационализаторских намерений, искусственных влияний... В диалекте подобные внешние причины не подходят — диалектная структура обнаруживает тенденцию к сохранению старшего состояния, иногда структурно менее «удобного» [Chloupek 1973: 20].

Из сказанного можно сделать вывод, что адекватное представление о структуре и функционировании диалекта может быть достигнуто, если описание диалекта осуществляется по тем же правилам, которые применимы к синхронному описанию любого языка.

Это прежде всего означает, что дифференциальный метод описания диалекта, когда фиксируются только те явления, которые отличают диалект от эталона (литературный язык, традиционный слой

говора), не дает представления о структуре диалекта как языковом идиоме. Ср. верное замечание М. В. Панова о дифференциальном методе: указанием лишь на отличия данного говора от литературного языка «разрушалась системная целостность описания (черты, «общие» у говора с литературным языком, могли быть функционально совершенно различны — благодаря соотношению с другими участками системы, которые различны в говоре и в литературном языке)» [Панов 1972: 14]. В книге, посвященной методам лингвистических исследований, дифференциальный метод при описании диалектов включен в раздел «Типичные недостатки в применении лингвистических методов» и квалифицируется как «неправильный выбор метода», поскольку при дифференциальном подходе «отсутствует целостное описание системы диалекта. Обычно вся работа представляет перечень совершенно разрозненных отличий диалекта от литературного языка» [Общее языкознание 1973: 307].

На значимость описания диалекта недифференциальным методом впервые указал Л. В. Щерба в связи с предпринятым им описанием серболужицкого (мужаковского) говора. Это — «всестороннее, по возможности исчерпывающее, психологическое описание точно локализованного говора. Описание это основывается исключительно на наблюдении живого произносимого языка, без привнесения каких-либо чуждых категорий, не имеющих места в психике говорящих... Пусть поэтому не перевертывается сердце слависта, когда я исторически разные явления отношу в одну рубрику и разделяю то, что он привык видеть вместе: в описательной части мне нет дела до истории; меня интересует лишь то, как чувствуют и думают говорящие» [Щерба 1915: XIX]. Аналогичные мысли встречаем у Блумфилда: грамматика местных диалектов «с точки зрения требований современной науки должны были бы представлять собою описания, подобные описанию любого языка, и включать фонологию, синтаксис и морфологию» [Блумфилд 1968: 355], у Хлоупека: «...структура одного диалекта демонстрирует все языковые планы, независимо от

того, обслуживает ли он один конец деревни или простирается на большую область» [Chloupek 1973: 60], а также — «Легко представить, что диалектология могла бы иметь все дисциплины, присущие языкознанию вообще, отсутствовали бы только кодификаторские усилия» [Chloupek 1971: 20].

Сказанное означает, что диалект как форма национального языка, не является простым набором явлений, отличающихся от литературных эквивалентов, а представляет собою синхронную экспликацию структурно организованного идиома, в котором присутствуют также явления, присущие и кодифицированной форме.

В славянской диалектологии распространено так называемое «полное описание диалекта». Под полнотой подразумевается набор сведений о диалектных особенностях идиома от фонетики до синтаксиса. Такое описание не может дать представление о структурном устройстве идиома. Описания же славянских диалектов как синхронных систем являются достаточно редким жанром. Фонетический уровень в этом плане описан в работах [Калнынь 1973; Калнынь — Масленникова 1981; Калнынь — Попова 2007].

Описание морфемной модели, показывающей состав именных морфем и правила их сочетания с суффиксальными морфемами в смоленских говорах, содержит статья Е. С. Луньковой [Лунькова 2009].

Далее в настоящей статье рассматриваются такие фрагменты структуры диалектов на уровне фонетики, которые определяют специфику диалектов, поддерживают их стабильность, корректируют или задерживают проникновение литературных эквивалентов.

2.3. Отношение к диалекту как к языковому идиому, имеющему свои особенности и структуру, должно проявляться уже на первом уровне знакомства с диалектом, то есть на стадии фиксации звучащей речи.

При обследовании диалекта в контакт вступают эксплоратор и информант, которые часто являются носителями идиомов,

фонетическое устройство которых может не совпадать. В первую очередь это касается различия в артикуляционной базе — автоматизма комбинации органов речи и переключения артикуляций («совокупность произносительных тенденций, характеризующая речедвижения говорящих на данном языке» в терминологическом словаре О. С. Ахмановой). Артикуляционная база как материальный субстрат звукового строя языка формируется в детстве на стадии овладения языком и «является следствием языковой традиции, следствием передачи языка из поколения в поколение» [Зиндер 1979: 80].

Эксплоратор (обычно это носитель стандарта) знаками принятой транскрипции фиксирует диалектную речь. При этом может возникнуть ситуация, когда звукопредставления эксплоратора и информанта в пределах тождественного сегмента не совпадают. Это выражается в том, что эксплоратор не замечает (не слышит) некоторые нюансы произносимых информантом звуков или, наоборот, фиксирует такие факты, которые не попадают в зону внимания самого информанта.

На подобную ситуацию обратил внимание Л. В. Щерба, выделив проблему, связанную с субъективным методом записи фонетических текстов [Щерба 1974: 135]. Учитывая, в частности, свой опыт описания серболужицкого диалекта, Л. В. Щерба отмечал: «опыт научил меня, что переносить наблюдения над своим произношением чужих звуков на туземцев очень опасно при неимении каких-либо объективных данных» [Щерба 1915: 18]. И далее — «даже изошренное ухо слышит не то, что есть, а то, что оно привыкло слышать применительно к ассоциациям собственного мышления» [Щерба 1974: 138].

Позже на необходимость изучения материального субстрата звукового строя языка, «физической природы звуков как основы фонологической системы» обратил внимание С. С. Высотский [Высотский 1967: 8]. Он указывал на необходимость изучения «проблемы звукопредставления говорящего и его собеседника, вплоть до пресловутого „речевого намерения“ и его реализации» и далее —

«в сфере этой проблемы оказывается каждый исследователь, когда он, руководствуясь своим слуховым впечатлением, обусловленным воздействием фонологической системы родного языка, выбирает знаки транскрипции для записи каждого замечаемого им звукового оттенка» [Высотский 1977а: 9]. И в другой работе: «Непредвзятый подход к изучению любого языкового материала заставляет с большим вниманием интерпретировать даже такие его разделы, где, казалось бы, уже все знакомо по предварительным сведениям об этой языковой системе. Особой осторожности требует рассмотрение диалектных фактов, поскольку многие черты их сходства с материалом разговорной формы национального языка могут отвлечь внимание исследователя от существующих в диалекте специфических явлений» [Высотский 1977б: 24].

Таким образом, оба автора считают, что при обследовании диалекта надо стараться избегать ориентации только на звуковое представление эксплоратора, поскольку в этом случае могут быть не замечены или неправильно услышаны специфические диалектные черты. Л. В. Щерба в этой связи писал: «...мы всегда должны обращаться к сознанию говорящего на данном языке индивида, раз мы желаем узнать, какие фонетические различия он употребляет для целей языкового общения... поэтому-то для лингвиста так драгоценны все хотя бы самые наивные заявления и наблюдения туземцев» [Щерба 1974: 137]. В то же время Л. В. Щерба считал необходимым фиксировать и такие явления, которые «не находятся непосредственно в сфере сознания говорящих, то, что происходит в мире физиологическом и физическом» [Там же].

Сказанное означает, что, с одной стороны, фонетические записи могут фиксировать явления, которые при более тщательной проверке нуждаются в коррекции, так как они имеют другой вид в звукопредставлении информантов. Но, с другой стороны, эксплоратор может заметить и такие нюансы фонетики, которые хотя и не осознаются информантами, тем не менее, не могут быть оставлены без внимания.

В частности и потому, что имеют значение для классификации диалектов, в том числе и типологической.

То, насколько необходимо учитывать реальные особенности артикуляционной базы диалекта, показано в известном описании С. С. Высотским севернорусского ударного вокализма с точки зрения реальной локализации по степени подъема ударных гласных [Высотский 1967]. Варьирование подъема гласных в разных диалектах, иногда осложненное асимметрией уровня подъема в переднем и непереднем ряду, дает восемь территориально локализованных «трапецидов гласных». По фонемным характеристикам эти трапециды идентичны, что дает основание С. С. Высотскому заметить: «...формальное сопоставление различных систем вокализма по количеству фонологических подъемов дает очень мало для раскрытия специфики диалектных систем, фактически искажает представление об их подлинных отношениях с системой русского языка в целом» [Высотский 1967: 64].

На необходимость более точного определения артикуляции гласных в диалектах, в данном случае болгарских, указывает также В. Жобов [Жобов 2004]. С этой целью он сопоставляет болгарские гласные, обозначаемые принятыми в болгарской диалектологии знаками транскрипции, с универсальными, независимыми от конкретного языка точками, в качестве которых принимаются кардинальные гласные, сформулированные Д. Джоунзом [Jones 1962]. В результате оказывается, что присущий болгарским диалектам гласный, обозначаемый в транскрипции знаком *ê* и определяемый как широкий / открытый, в реальности в разных говорах различается подъемом и рядом [Жобов 2004: 20].

Особенности артикуляции гласных, образующих в русских диалектах разные «трапециды», могут аудитивно восприниматься эксплоратором, обследующим соответствующий говор. Что касается самих носителей диалекта, то в этом случае они вряд ли осознают особенность своего произношения в сравнении со стандартом. В то

же время автоматизм артикуляционной базы стабилизирует диалектную фонетику. В частности, элементы артикуляционной базы не поддаются избирательному изменению или замене. Изменяться может лишь общая звукообразующая установка, которая, в частности, касается уровня подъема и локализации по ряду всех употребляющихся в диалекте гласных, что возможно лишь при специальной постановке произношения.

Одним из подтверждений этого является устойчивость севернорусского оканья. Наблюдая переход от оканья к аканью в одном вологодском говоре, Р. Ф. Касаткина (Пауфошима) сделала вывод, что процесс на начальном своем этапе проходит как делабиализация гласного *o* без изменения его подъема и ряда, вследствие чего на месте предударного *o* произносится не *a*, а гласные *ъ*, *a<sup>b</sup>* [Пауфошима 1978: 65]. Сходное явление представлено в архангельском говоре (Пинежский район). Для носителей этого говора переход от оканья к орфоэпическому аканью означает не просто неразличение предударных *o* и *a*, а произношение в предударном слого на месте *o* гласного, отсутствующего в говоре. Носители диалекта ощущают орфоэпический предударный *a* [ʌ] как гласный значительно более широкий, чем тот, который они произносят в *трава*, *старуха*. Имитируя аканье, один из информантов (архангельский говор) произносит предударный гласный с утрированным раствором рта (опущением нижней челюсти). В этом проявляется ощущение информантов, что при аканье в предударном слого не просто отсутствует *o*, но выступает несвойственный артикуляционной базе говора гласный. В этой связи можно предположить, что произношение *ъ*, *a<sup>b</sup>* в предударном слого вместо *o* самими носителями диалекта может и не восприниматься как отход от оканья.

В названных окающих говорах гласные *o* и *a* на уровне артикуляционной базы включены в иную иерархию контраста по подъему, чем это имеет место в литературном языке. Это обстоятельство препятствует установлению в ощущении носителей диалекта отношения

эквивалентности между диалектным и орфоэпическим сегментами, а в речи препятствует освоению аканья.

В подтверждение того, что восприятие звуков речи носителем диалекта и исследователем диалекта, может не совпадать, приведем примеры из фонетики гуцульского и болгарского говоров. В обоих случаях речь идет о том, что русскоязычный эксплоратор, с одной стороны, и информанты носители диалекта, с другой, по-разному воспринимают комбинацию таких артикуляционных категорий, как участие голоса и уровень напряженности в образовании шумных согласных.

Разный уровень напряженности сопровождает образование шумных согласных, различающихся участием голоса. В фонемном плане признак «напряженность / ненапряженность» может конкурировать с признаком «глухость / звонкость». Этому соответствует определение фонем или как глухих / звонких, или как *fortis / lenis* (сильные ~ слабые, напряженные ~ ненапряженные) [Брок 1910: 50]. Согласные, глухость / звонкость которых сопровождается разным уровнем напряженности в речи носителей разных идиомов, могут по-разному отражаться в сознании говорящих и слушающих.

В гуцульском говоре (Раховский район Закарпатской области) шумные звонкие согласные перед паузой (позиция #0) заменяются согласными с ослабленным участием голоса, но не глухими. Это выражается в том, что с голосом артикулируется не весь согласный, а лишь его начальная стадия — соответственно завершающая стадия артикулируется без голоса. Встречаются и такие случаи, когда звонкая часть сведена до минимума или даже совсем отсутствует. В этом случае можно говорить о появлении безголосого согласного *lenis*, механизм которого так описан О. Броком: «...голосовые связи при звонких звуках образуют в гортани преграду, невольно уменьшающую давление выдыхаемого тока в ротовой полости, а эта преграда в гортани может до известной степени сохраняться, хотя бы и исчезло звучание голоса» [Брок 1910: 50].

Это качество согласного отчетливо проявляется в модификации фрикативного фарингального *h* перед #*Ø*. Слова *pih*, *mih*, *oborih* на русский слух производят впечатление оканчивающихся на гласный *i*, а не на спирант. Однако когда эксплоратор произносит эти слова без конечного согласного, носители диалекта воспринимают такое произношение как неправильное. В их сознании согласный в этих словах присутствует.

Для носителей диалекта различие между глухими и звонкими согласными состоит в разной степени их напряженности, а различие в голосе является сопровождающим признаком. Звонкие шумные согласные перед паузой утрачивают голос, но не повышают напряженность до уровня глухих согласных, то есть произносятся безголосый *lenis*. Для фарингального *h* это выражается в том, что он произносится в виде слабого призвука близкого к нулю звука. Этому способствует и то, что в говоре фарингальный спирант *h* не имеет глухого оппонента *fortis* — спирант *x* локализован в задненебном ряду. Поэтому русское произношение словоформы с задненебным фрикативным звонким *ɣ* вместо *h* воспринимается носителями диалекта как произнесение с *x*, то есть *vátaɣa* (Gen.) воспринимается как *vátaɣa* — задненебная локализация ассоциируется в их сознании только с *x*. Или же — различие между *h* и *x* воспринимается носителями диалекта как различие между *fortis* и *lenis*, а согласный *ɣ* в его русском произношении с его более напряженным, чем в диалекте, артикулированием звонких согласных, воспринимается как *fortis* и отождествляется с *x*.

Ослаблению конечного фарингального особенно способствует позиция после узкого гласного *i*, который как бы ассимилирует спирант (прогрессивная ассимиляция). В результате получается произношение типа *mi<sup>h</sup>* с некоторым продлением гласного. В [АУМ 3: 243] имеются указания на оглушение или частичное ослабление голоса конечного спиранта в слове *pih*, но нет указаний на его утрату; в [АУМ 2: карта 128] приводятся и варианты с утратой *h* — *p'i*, *noɣ'i*.

В рассматриваемом гуцульском говоре есть такое явление, когда согласный перед паузой действительно заменяется нулем звука. После гласного перед паузой утрачивается средненебный спирант *j* — *l'i*, *tv'i*, *nob'i*, *hn'i* и под. После других гласных *j* сохраняется — *daj*, *herój*, *kónej*, *kuþuj*. Процедура утраты спиранта состоит в ослаблении участия голоса и ассимиляции предшествующему гласному *i*. Но можно полагать, что в сознании носителей диалекта спирант присутствует. Появление его после других гласных дает повод считать, что после *i* звукопредставление носителей диалекта ассоциирует *j* с нулевой реализацией, а не с его отсутствием. Именно поэтому произнесение эксплоратором слов без конечного *j* после *i* носителями диалекта воспринимается как не соответствующее их собственному произношению. Возможно, носители диалекта в этом случае в своей речи ощущают некую безголосую (нулевую) артикуляцию (особенность артикуляционной базы).

Это были примеры того, как восприятие эксплоратором диалектного произношения оказывается не вполне адекватным реальному звукопредставлению информанта — носителя диалекта.

Пример обратного соотношения, когда восприятие эксплоратором речи информанта отражает объективную реальность, хотя и не осознаваемую информантом, приведем из восточноболгарского говора (с. Кортен, Старо-Загорско), см. в [Калнынь — Попова 2007].

Это отражается в произношении спирантов — заднеязычного *x* и губного двухфокусного *φ*. Эти согласные локализованы вблизи голосовых связок. При их произнесении в позициях V–V, V–Son перепад голоса по линии [звонкий ~ глухой ~ звонкий звук] не реализуется полностью, и спиранты оказываются в зоне действия голосовых связок. Результатом этого является произношение *γ* (звонкий фарингальный слабонапряженный) и *w* (звонкий двухфокусный билабиальный) на месте *x* и *φ*. Явление выглядит следующим образом:

позиция V–V — *б'у'у'л*, *с'у'у*, *см'а'уа са*, *ст'ар'у'у'ра*, *т'а'у'од'у*, *на'у'ра*, *ор'е'у'у*, *тили'у'она*, *шк'а'ва*, *ч'ар'у'а'ва* и под.;

позиция V–Son — *ма̀муд'ѝја*, *ис'буна*, *на̀ура̀н'и*, *ма̀ула̀* ‘махала’, *т'ѐун'ика*, *кѐвналу*, *су̀вра̀* и под.

На то, что при озвончении спиранта *x* в позициях V–V, V–Son ассимилирующее воздействие по голосу исходит преимущественно от гласного, указывает отсутствие изменения спиранта в позиции Son–V — *б'лха̀* (но *б'ул'и*), *б'рнх'ит*, *кул'хос*, *п'ерхут*, *в'рху*. Менее интенсивное прогрессивное воздействие сонантов на спирант *x* объясняется не только более низким, чем у гласных, уровнем голоса при их артикулировании, но и тем, что в их образовании участвует сближение органов ротовой полости. Место этого сближения отделено от *x*, что и препятствует непосредственному наложению голосности на *x*.

На озвончение спиранта *x* в болгарском обратил внимание О. Брок — имея в виду позицию V–Son, он констатировал произношение *кѝрѝте*, *чѝте*, где *γ* «звучало с весьма слабым велярным трением, находясь уже на переходе к голосному гортанному» [Брок 1910: 74, 166], то есть к фарингальному. Озвончение *x* в той же позиции при вялом произношении подтверждает Ст. Стойков в своей работе о литературном болгарском произношении [Стойков 1942: 83]. В описании говора сел Твырдица и Твардица тот же автор констатирует озвончение *x > γ* в позициях V–V, V–Son [Стойков 1951: 11]. Изменение *x > γ* отмечено и при обследовании по Программе БДА [Стойков. Програма 1969] говора с. Кортен (на карте БДА пункт № 3147). В текстах, предваряющих ответы на отдельные вопросы записано *гу уб'ѝга*, *др'ѐги*, *утѝду̀ми*, *са̀гата* и др. При этом звук *γ* определен как «звучно гърлено, но слабоучленявано *x*».

Цитированные исследования приведены в качестве подтверждения того, что включение голоса в спирант *x* в позициях V–V, V–Son является реальным фактом болгарской фонетики и его восприятие эксплоратором при обследовании диалекта отражает реальную фонетику. Аудитивное впечатление от включения голоса в образовании *x* в интервокальной позиции подтверждает осциллограмма, на которой видно участие голоса при артикулировании заднеязычного спиранта

в словах *з'ауарна*, *миу'урити*, *б'ауа*, а в на *уил'адата* звонкость почти на уровне гласного.

В то же время особенность этого явления состоит в том, что оно не замечается самими говорящими; это показывают разнообразные проверки (обсуждение артикуляции с информантами, имитация произношения).

Несовпадение звукопредставления у эксплоратора и информанта может быть связано с высоким уровнем напряженности артикуляции глухих согласных в говоре с. Кортен. У конечных согласных это выражается в усилении рекурсии, особенно заметном у шумных язычных согласных (зубных, переднеязычных, заднеязычных). Усиление рекурсии этих согласных создает эффект сильного придыхания после основной артикуляции — *н'эм<sup>+</sup>* (так обозначаем усиление рекурсии), *м'эм<sup>+</sup>*, *пуказ'ал'иц<sup>+</sup>*, *нош<sup>+</sup>*, *д'об'ит'к<sup>+</sup>*, *б'алт'к<sup>+</sup>*, *к'ер'еч<sup>+</sup>*. Напряженность согласного *с* перед #Ø создает эффект долгого спираанта — *мос:#*, *кръс:#*, *той мно'гу с'и пр'ос:#*.

То, что носители говора не замечают озвончения спирантов *х*, *ф*, можно объяснить следующим образом. Спиранты в позициях V–V, V–Son хотя и принимают голос, но сохраняют при этом такой уровень напряженности, который в звукопредставлении носителей диалекта не ассоциируется со звонким согласным, и поэтому голос проходит незамеченным. Этот согласный можно определить как голосный / звонкий fortis, но такого согласного в репертуаре звукопредставлений носителей диалекта нет.

Число особенностей артикуляционной базы, придающих специфическую окраску фонетике диалекта, может быть расширено. В русских диалектах — это дифтонгизация гласных, локализация согласных высокого тона в палатальной зоне, разный уровень палатализованности согласных (мягкие ~ полумягкие), высокий уровень веляризованности переднеязычных спирантов, вероятно, фразовая интонация и др. Сопоставительное описание артикуляционной базы в севернорусском, южнорусском, полесском говорах см. в [Калынь — Масленникова 1995: 41, 70, 106].

Приведенные примеры из разных славянских диалектов должны показать, что диалект, будучи компонентом национального языка, имеет свои особенности уже на начальном уровне своего устройства, то есть в артикуляционной базе. Если этот компонент диалектной фонетики отличается от кодифицированной речи, то он обычно не поддается замене орфоэпическим эквивалентом в ходе разговорных контактов носителей диалекта с литературной речью. Консервативность артикуляционной базы диалектов является их особенностью как компонента культурной константы национального языка. Артикуляционная база формирует «диалектный акцент» у определенной части носителей национального языка.

2.4. Следующий уровень фонетической специфики диалекта связан с качеством дискретных звуковых единиц. Эти единицы в своем образовании также обусловлены артикуляционной базой, но при этом они находятся на таком уровне звукопредставления, когда звуки осознаются в качестве отдельных сегментов говорящими и слушающими.

Такой сегмент может быть свободен от позиционной обусловленности и это наиболее благоприятно для замены диалектного звука орфоэпическим эквивалентом. Например, освоение взрывного *g* вместо фрикативного *γ* русских говоров облегчается к тому же тем, что в этом случае артикуляция знакома, так как взрывной задненебный присутствует в речи носителя диалекта в качестве позиционно обусловленного звука (*kag by*). Хотя это не значит, что *γ*-произношение легко устраняется — надо преодолеть правило артикуляционной базы, согласно которому заднеязычное сближение в сочетании с голосом должно завершаться фрикативностью (поэтому многие лица, в целом владеющие кодифицированной формой русского языка, сохраняют в своем произношении *γ*).

В русских говорах латеральный сонант может быть веляризованным (двухфокусным) *l*, как в литературном языке, и

невеляризованным *l*. Локализация этих согласных в русских диалектах показана в [ДАРЯ 1986: карта 61; ВСИ 1995: карта 2]. Для носителей диалекта, имеющего сонант *l*, освоение орфоэпического варианта *l* представляет несомненную трудность. Замена *l* на *l* предполагает изменение формы языка в виде напряжения его задней части, то есть веляризации. Без специальной постановки произношения достичь этого практически невозможно.

Сложно усваивать звук, вообще отсутствующий в диалекте. В русских говорах эта проблема возникает при коррекции такой диалектной особенности русских говоров, как цоканье. Для усвоения орфоэпической нормы необходимо освоить различение аффрикат зубного и передненебного ряда и правила их употребления. А это — замена аффрикаты *ц / ц'* на *ч'* в одних словах при сохранении *ц / ц'* в других. Процесс преобразования цоканья в севернорусском говоре описан В. В. Колесовым [Колесов 1975].

Стабильности диалектной фонетической черты может способствовать общий фонетический контекст идиома. Примером может быть устойчивость мягкого цоканья в одном архангельском говоре (с. Нюхча Пинежского района; обследован Л. Э. Калынь и Л. И. Масленниковой в 1983 г.). Мягкое цоканье как фонетическое явление присутствует в речи всех носителей диалекта. Ср. такие данные: 90 минут записи на магнитофонную ленту речи информанта 50 лет содержит 19 случаев нарушения мягкого цоканья при 130 примерах его правильной реализации. Такая ситуация не является индивидуальной особенностью данного информанта, а характерна для говора в целом.

Далее при описании интересующего нас явления используем латинскую транскрипцию: *l* переднепалатальный смычный, *l'* переднепалатальная аффриката, *l* переднепалатальный фрикативный, а также *č, č', c, c'*.

В применении к носителям этого говора трудно говорить о непроницаемости передненебной шипящей аффрикаты. Передненебная

корональная аффриката *č* произносится: (1) в составе сочетания *šč*, соответствующего орфоэпическому *š's'* (*tóšča*), (2) на месте *t* перед *š* (*očšaxn'ís*) и после *š* (*ščanu*). Имеется переднепалатальная аффриката *č* в виде позиционной замены *č* после *s'* — *ščenók* 'тень', (3) *č, č'* в отдельных словах — *m'ed'ička, čvānu* 'капризный', *č'knūla* 'ужалила'.

Хотя аудитивно аффриката *č* близка к орфоэпической аффрикате *č'* (в обоих случаях имеет место шипящий эффект), тем не менее как эквивалент литературной аффрикаты она не воспринимается. Характерно, что *č* перед и после *š* заменяется не палатальной аффрикатой, а палатализованной переднебной *č'* (*dájte > poěšč'e, p'ěta > p'ěč'sa*). Отход от мягкого цоканья к орфоэпическому различению аффрикат должен сопровождаться заменой *s'* на твердую аффрикату *s*. Эта артикуляция известна в говоре в виде позиционной замены *t* перед *s* (*pocsađít, ocsúnulas*). Таким образом, фонетика говора обладает ресурсами для введения различения свистящей и шипящей аффрикаты. Но программа введения *č'* и *s* — разная. Для *č'* надо элиминировать позиционную обусловленность аффрикаты и у *č* повысить тон, то есть заменить корональную форму языка более плоской. Для *s'* надо заменить твердой аффрикатой палатализованную. Повидимому, такая замена для носителей говора является более трудной, чем введение шипящей аффрикаты, так как употребление *s* перед гласным отмечается редко. Устойчивость мягкого цоканья в говоре с точки зрения фонологической системы алогична. Аффриката *s'* является единственным переднеязычным палатализованным согласным. Как таковой он ассимилирующе воздействует на предшествующий *s'* (*košéc' > kos'c'á, šec'ás > s'c'ás*). При заполненности палатального ряда взрывными и фрикативными согласными можно было бы ожидать (1) передвижения *s'* в палатальный ряд, то есть его изменения в *č*, который известен как позиционная замена *č*, и (2) отвердения *s'* в *s*. Однако ни того ни другого не происходит — нарушение мягкого цоканья проявляется в основном в произношении *č, č', č'* на месте *s'* при редкой замене *s'* на *s*. В целом же *s'* держится устойчиво.

Присутствие согласного *ś*, сочетания *šć*, *ć* (из *ť* после *ś*) создают общую шепеляво-шипящую нюансировку речи в разделе глухого консонантизма. Артикуляционный контраст этой тотальной шепелявости создают *s* и *s'*. Для носителей диалекта этот факт артикуляционного контраста привычен, и, наоборот, ощущение произносительного дискомфорта может возникнуть при замене *s'* переднебной аффрикатой. Это пример того, как общий фонетический фон идиома противостоит нововведениям (в частности, замене диалектного явления орфоэпическим) и охраняет явление позиционно необусловленное и внешне казалось бы легко поддающееся прямой замене.

2.5. Структуру диалекта стабилизируют правила фонетической синтагматики. В этом случае различие между диалектом и литературным языком выражается на уровне фонетической программы слова, то есть определенным образом организованного линейного стереотипа, ограниченного с обеих сторон паузой (о фонетической программе слова см. [Калнынь 2001]). Отказ от фонетической диалектной черты в этом случае означает освоение нового линейного стереотипа.

В вокализме многих русских диалектов фонетическая программа слова определяет выбор безударного гласного в зависимости от ударения и качества соседнего сегмента.

Наложение этих условий на вокальную часть слова придает ей значение целостного образования, компоненты которого обладают потенциалом стабильности. Так, диссимилятивное аканье — произношение после твердого согласного на месте предударных *o*, *a* гласного «не *a*» перед слогом с гласным *a* под ударением (*вады́* — *въда́*), когда выбор предударного гласного определяется ожиданием еще не произнесенного гласного, практически неустранимо без специальной коррекции произношения даже у лиц, в целом соблюдающих правила орфоэпии.

Специфическое устройство предударного вокализма после мягких согласных в русских говорах реализовано многими типами неразличения гласных, представленных под ударением (см. [Русская диалектология 1964: 41–65]). На выбор предударного гласного влияет качество следующего согласного, гласного в следующем слоге, в том числе и его этимология.

В нашей статье остановимся как на факторе, стабилизирующем структуру диалекта, на ёканье и умеренном яканье; в русской диалектологии эти типы предударного вокализма принято объяснять уподоблением предударного гласного следующему согласному в последовательностях  $C'VC$ ,  $C'VC'$ .

При ёканье в предударном слоге после мягких согласных произносится *о* и «не *о*» в соответствии с *о*, *е* (\**е*, \**ь*) ударного слога. При умеренном яканье в предударном слоге произносится *а* и «не *а*» в соответствии с ударными гласными неверхнего подъема (\**е*, \**ь*, \**а*, \**ё*). Принято считать, что условием произношения предударных *'о*, *'а* является твердость согласного, следующего после предударного гласного, а перед мягким согласным произношение *'о*, *'а* запрещено. Но, как известно, с мягкими согласными по своей синтагматической роли совпадают консонантные сочетания  $CC'$ . В результате фонетика явлений выглядит следующим образом.

Севернорусский говор (Пинежский район): *п'оку́* / *п'ек'и́*, *нап'екц'и́*, *т'опло́* / *т'епл'е́*, *подм'ола́* / *м'ет'и́*, *на м'етл'е́*, *выгр'обат' / гр'еб'от*, *на гр'ебн'ах*; в этом говоре под аналогичное правило попадает распределение предударного *а* после мягких согласных: *зат'ану́ла* / *т'ен'и́*, *пом'ану́* / *пом'ен'и́*, *йагу́шка* / *йегн'о́нок*.

Южнорусский говор (Моршанский район): *в'ис'ало́* / *в'ис'ил'е́й*, *з'арно́* / *в з'ирн'е́*, *ч'ало́* / *ч'ил'е́*, *п'асок / нь п'иск'е́*, *с'маху́* / *с'м'ийо́ца*, *с'т'акло́* / *на с'т'икл'е́*, *б'йаво́й* / *б'йив'е́й*.

Отсутствие предударных *'о*, *'а* перед  $CC'$  принято объяснять или грамматической аналогией, или тем, что первый согласный сочетания был некогда мягким и лишь позже отвердел [Аванесов 1949: 80].

Однако более адекватно отражает сущность явления точка зрения, предложенная П. С. Кузнецовым. Он считает, что выбор предударного гласного определяется качеством гласного под ударением, а не качеством консонантного элемента, разделяющего гласные [Кузнецов 1948: 35]. Это значит, что предударный и ударный гласные находятся в отношении сингармонизма, образуя вокальный каркас слова. Для того, чтобы в предударном слоге произносился гласный 'o, 'a, следующий после него сегмент должен завершаться элементом низкого тона, то есть быть сочетанием твердого согласного с гласным или быть одним непременным гласным. Позицию перед гласным показывают следующие примеры из севернорусского (архангельского) говора — *н'оддái < н'ооддái < н'еоддái; н'остáвл'у < н'оостáвл'у < н'еостáвл'у*. При завершении сегмента элементом высокого тона (мягкий согласный + передний гласный, в том числе передние варианты ·o, ·a, ·y) гласные 'o, 'a перед ним запрещены. Сегмент высокого тона, запрещающий 'o, 'a, не обязательно должен следовать непосредственно после предударного гласного — он может быть отделен от него твердым согласным.

Сказанное дает основание считать, что ёканье и умеренное яканье репрезентируют вокальную модель слова, включающую в себя такую суперсегментную характеристику, как слоговая гармония (подобие соседних слогов по высоте тона). Слоговая гармония придает устойчивость фонетике слова, поскольку усложняет связь между составляющими его элементами.

Организация предударного вокализма в русских говорах стабильно отличает диалектный идиом от литературной формы языка, которые продолжают параллельно функционировать и на современном уровне (хотя и обслуживают разный по объему контингент носителей русского языка).

Можно отметить, что уподобление гласных соседних слогов — это черта не только русских диалектов. Так, в юго-западных украинских говорах существует тенденция сблизить вокальные компонента

слова по уровню подъема и проявляется в изменении  $u > i$ ,  $e > u$ ,  $e$  перед слогом с  $i$  и  $o > o$  перед слогом с  $y$ ,  $o$  [Жилко 1963; Бевзенко 1980: 50, 54].

Внимания заслуживает тот факт, что в русских диалектах известна ситуация, когда слоговая гармония обнаруживает свой потенциал только при нарушении традиционной вокальной модели слова. Отмечается, что при разрушении оканья под влиянием аканья актуализируется связь между качеством предударного и ударного гласного. Описание этого дано в работах [Пауфошима 1978; Кириллова, Новикова 1988: 69]. Это выражается в том, что предударный «не  $o$ » раньше всего появляется перед слогом с  $á$ , позже перед слогом с  $ó$ ,  $ý$ .

Сходное явление можно показать на примере речи одного информанта из алтайского старообрядческого говора, записанной Калнынь в 1991 [см. Калнынь — Масленникова 1995: 68]. В речи информанта при нарушении модели оканья под влиянием аканья просматривается выбор предударного  $o$  и «не  $o$ », ориентированный на подобие с гласным слога под ударением.

Перед слогом с  $í$  — *розойд'ít'es'*, *толч'í* (inf.), *мол'ица*, *пакостл'íвы* и *обат't'í* (inf.), *агн'íва*, *хълъд'íl'н'ík*, *кръв'í*;

перед слогом с  $ы́$  — *полторы́*, *з головы́* и *во<sup>а</sup>ды́*, *машы́т'* ‘мшить’;

перед слогом с  $é$  — *пор'эзана*, *пойэхала*, *поэхай*, *забол'эла* и *забал'эл*;

перед слогом с  $ý$  — *во лбу́*, *стойу́*, *оддохну́*, *мойу́*, *росту́т*, *поступ'иш*, *в одн'эм году́* и *йа п<sup>а</sup>йдú*;

перед слогом с  $é$  — *кон'эц*, *софс'эм*, *в одн'эм* и *ат'эс* (в говоре  $ц > с$ );

перед слогом с  $ó$  — *ворóтца*, *под'йóм*, *грузовóй*, *мозгóф*, *дорóга*, *робóтат'*, *столóвой*, *морóс* и *рабóту*, *у братав'йóф*, *а это кавó*, *въз'м'óм*;

перед слогом  $á$  — *роскопáла*, *спор'áд*, *росп'át'йе*, *пошла́* и *за двум гарáм*, *мазгá*, *б'ез ацсá*, *тавар*, *пакаст'át*, *аддáж дак*, *на скълáх*, *вйíна*, *къгда́*, *по<sup>а</sup>гáной*, *ф то<sup>а</sup>рфá*.

Варьирование *o* и «не *o*» встречается перед всеми ударными гласными, но с разной частотой. Сохранению лабиализованности благоприятствует антиципация лабиализованного гласного под ударением. Произношение же *a* часто фиксируется перед слогом с *á* и высоким гласным *í*. Можно даже найти примеры позиционной мены предударных *o* и *a* в зависимости от гласного под ударением — *стойú* и *стайáт*, *мозгóф* и *мазгá*.

Проявляющаяся при разрушении оканья связь между предударным и ударным гласными актуализирует дистантные связи между ними. При соблюдении правил оканья в диалекте выбор предударного гласного не содержит ориентацию на гласный в слоге под ударением. При нарушении оканья такая ориентация появляется и регулирует выбор предударного гласного. Это свидетельствует о том, что вокальный компонент программы слова в диалекте обладает внутренним стабилизирующим потенциалом, который актуализируется в ситуации, провоцирующей синтагматические новации в звуковой последовательности (переход от оканья к аканью). Это свойство, присущее диалекту как системно организованному идиому, компоненты которого не проявляют пассивности при контакте с литературной формой языка.

Диалекты обладают и такой особенностью, как неодинаковая устойчивость позиционно свободной и позиционно обусловленной частей одной и той же диалектной особенности. Так, при общем усвоении представителями южнорусских диалектов взрывного *g* вместо фрикативного *ɣ*, в их речи часто сохраняется результат оглушения  $\gamma > x$  (*снега*, *сних* > *снега*, *сних*, а не *сnek*). Не усваивается линейный стереотип, согласно которому звонкий заднеязычный согласный перед паузой должен заменяться не фрикативным, а взрывным согласным.

Диалектная фонетическая черта может охраняться как артикуляционной базой данного говора, так и правилами звуковой синтагматики. Примером является недопустимость мягких губных согласных

на конце слова в большей части славянских языков/диалектов. Артикуляционная база не приспособлена к переключению палатализованности в губном ряду в паузу — это переключение возможно только из твердого губного согласного

Можно было бы привести и другие примеры устойчивости диалектной фонетики, но они лишь подтвердят вывод о том, что социальные предпосылки влияния литературного языка на структуру диалекта встречают определенное противодействие со стороны фонетического строя диалекта. Это нормальное свойство идиома, являющегося средством общения в конкретном социально маркированном коллективе. При контакте диалектов с литературным языком структурные особенности менее престижного идиома сохраняются даже на фоне высокого социального статуса более престижной формы языка. В данном случае при конкуренции языкового и социального признаков идиомов приоритет отдается языковому признаку. Традиционная фонетика практически может исчезнуть лишь вместе с носителями диалекта. Именно поэтому, в частности, до сих пор фонетикам удается наблюдать в русских диалектах традиционную фонетику, а при использовании новых методов исследования обнаруживать неизвестные ранее явления.

2.6. Сказанное выше позволяет сделать следующие выводы.

В современном обществе актуальна культурная константа, в рамках которой сосуществуют (объединены) литературная и диалектная формы языка. Сосуществование этих форм имеет как лингвистический, так и социальный аспект. Литературный язык имеет статус постоянного компонента, существенно не меняющийся во времени в своих социальных характеристиках. Напротив, колебания социального статуса диалектов может быть значительным, что отражается в уровне престижности диалектов в обществе.

Характер социальных отношений между кодифицированной и диалектной формой языка в принципе ориентирован на замену

диалектов кодифицированным стандартом. Предполагается, что носители диалектов в ходе контактов с литературным языком, должны отказаться от своего языка и освоить литературный язык. Однако ни в одном из славяноязычных обществ такого перехода не произошло. Диалекты продолжают существовать как достаточно стабильные идиомы. Стабильность обусловлена тем, что диалекты представляют собою полноценные структурно организованные идиомы. Их реакция на контакты с литературным языком не является пассивной, а выявляет тенденции, направленные на сохранение идиома. Выше было показано, как это проявляется на фонетическом уровне.

Указанной стабильности нет в диалектах на лексическом уровне. Здесь при контактах диалекта с литературным языком действуют иные правила, чем в фонетике. Диалекты открыты для лексических включений из литературного языка (в данном случае не имеет значения, что пришедшие из литературного языка слова меняют свою фонетику по правилам диалектной фонетики). Это обусловлено в первую очередь социальными факторами (обстоятельства жизни) и лишь во вторую — влиянием литературного языка (требованием / предложением овладеть литературной лексикой).

Таким образом, диалекты, будучи компонентами культурной константы, при контакте с литературным языком обнаруживают разную динамику на фонетическом / грамматическом и лексическом уровнях. В принципе можно представить ситуацию, при которой исконная лексика диалекта перестает существовать — заменится литературными эквивалентами или забудется в связи с изменениями обстоятельств жизни. Но при этом на структурном уровне диалекты будут существовать до тех пор, пока существуют носители данного национального языка, для которых диалект является «материнским языком», то есть тем первым средством общения, которым человек овладевает в детстве. Именно такую ситуацию подразумевал в 1958 г. Тревор Хилл, когда писал: «Распространение информации, образование и т. п., возможно, приведут к тому, что все будут

одинаково писать и говорить на грамматическом и лексическом уровне, но не на фонетическом и фонологическом» [Hill 1958: 443].

#### ЛИТЕРАТУРА

- Аванесов 1949: *Р. И. Аванесов*. Очерки русской диалектологии. М., 1949.
- Алексеева 2008: *М. М. Алексеева*. Лемковские говоры в контакте с другими славянскими языками // Исследования по славянской диалектологии. 13. Славянские диалекты в ситуации языкового контакта (в прошлом и настоящем). М., 2008.
- Алексеева 2009: *М. М. Алексеева*. Основные фонетические процессы в современных переселенческих лемковских говорах в Польше и на Украине // Исследования по славянской диалектологии. 14. Фонетический аспект изучения славянских диалектов. М., 2009.
- АУМ 2: Атлас української мови. Ч. 2. Київ, 1988.
- АУМ 3: Атлас української мови. Ч. 3. Київ, 2001.
- Баранникова 1974: *Л. И. Баранникова*. Русские народные говоры в советский период. Саратов, 1974.
- Бевзенко 1980: *С. П. Бевзенко*. Українська діалектологія. Київ, 1980.
- Белодед 1969: *И. К. Белодед*. Развитие языков социалистических наций. Киев, 1969.
- Блумфилд 1968: *Л. Блумфилд*. Язык. М., 1968.
- Брок 1910: *О. Брок*. Очерк физиологии славянской речи. СПб, 1910.
- ВСИ 1995: Восточнославянские изоглоссы / Отв. ред. Т. В. Попова. М., 1995.
- Васченко 2002: *В. Васченко*. О типологической классификации народных говоров (русского и иного ареала) // *Romanoslavica. XXXVIII. Referate și comunicări prezentate la cel de-al XIII-lea Congres internațional al slaviștilor*. București, 2002.
- Высотский 1949: *С. С. Высотский*. О говоре с. Лека // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. 2. М., 1949.
- Высотский 1967: *С. С. Высотский*. Определение состава гласных фонем в связи с качеством звуков в севернорусских говорах // Очерки по фонетике севернорусских говоров. М., 1967.
- Высотский 1977а: *С. С. Высотский*. Фонемный состав слова как основа для изучения звукового строя говора // Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 1977.

- Высотский 1977б: *С. С. Высотский*. Звуки речи в контексте // Диалектологические исследования по русскому языку. М., 1977.
- Гетка 2012: *Й. Гетка*. «Каждому народу свой язык хорош», или об отношении к своему идиому жителей белорусско-российского пограничья // Исследования по славянской диалектологии. 15. Особенности сосуществования диалектной и литературной форм языка в славяноязычной среде. М., 2012.
- Глисон 1959: *Г. Глисон*. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959.
- Говірки 1996: *Говірки Чорнобильської зони*. Тексти. Київ, 1996.
- Говірки 1999: *Говірки Чорнобильської зони*. Системний опис. Київ, 1999.
- Гринкова 1947: *Н. П. Гринкова*. Воронежские диалекты. М., 1947.
- Гриценко 2012: *П. Е. Гриценко*. Диалекты в современной языковой ситуации в Украине // Исследования по славянской диалектологии. 15. Особенности сосуществования диалектной и литературной форм языка в славяноязычной среде. М., 2012.
- Горький 1934: *М. Горький*. О языке // О литературе. М., 1934.
- Горький 1953: *М. Горький*. Собрание сочинений. Т. 27. М., 1953.
- Даль 1935: *В. И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1935.
- ДАРЯ 1986: Диалектологический атлас русского языка. Вып. 1. Фонетика. Карты. М., 1986.
- Дуличенко 1981: *А. Д. Дуличенко*. Славянские литературные микроязыки. Вопросы формирования и развития. Таллин, 1981.
- Дуличенко 2006: *А. Д. Дуличенко*. Современное славянское языкознание и славянские литературные языки // Славянские литературные микроязыки и языковые контакты. Тарту, 2006.
- Дуличенко 2012: *А. Д. Дуличенко*. Нужны ли нам диалекты? // Исследования по славянской диалектологии. 15. Особенности сосуществования диалектной и литературной форм языка в славяноязычной среде. М., 2012.
- Жилко 1963: *Ф. Т. Жилко*. Фонологічні особливості української мови. Київ, 1963.
- Жирмунский 1936 — *Жирмунский В.М.* Национальный язык и социальные диалекты. М.; Л, 1936.
- Жирмунский 1968: *В. М. Жирмунский*. Проблемы социальной дифференциации языков // Язык и общество. М., 1968.
- Жобов 2004: *В. Жобов*. Звуковете в българския език. София, 2004.
- Зиндер 1979: *Л. Р. Зиндер*. Общая фонетика. М., 1979.
- История 1961: История русской диалектологии. М., 1961.

Калнынь 1973: Л. Э. *Калнынь*. Опыт моделирования системы украинского диалектного языка. Фонологическая система. М., 1973.

Калнынь 1998: Л. Э. *Калнынь*. Включение диалектизмов в художественный текст как разновидность контакта между диалектной и литературной формами русского языка // Вопросы языкознания. 1998. № 6.

Калнынь 2001: Л. Э. *Калнынь*. Фонетическая программа слова как пространство фонетических изменений в славянских диалектах. М., 2001.

Калнынь — Масленникова 1981: Л. Э. *Калнынь*, Л. И. *Масленникова*. Сопоставительная модель фонологической системы славянских диалектов. М., 1981.

Калнынь — Масленникова 1995: Л. Э. *Калнынь*, Л. И. *Масленникова*. Изучение вариативности в славянских диалектах. М., 1995.

Калнынь — Попова 2007: Л. Э. *Калнынь*, Т. В. *Попова*. Фонетика двух болгарских говоров, функционирующих в условиях разной языковой ситуации. М., 2007.

Каринский 1936: Н. М. *Каринский*. Очерки языка русских крестьян. М.; Л., 1936.

Касаткина 2004: Р. Ф. *Касаткина*. О диалектизмах в творчестве Пушкина // Русский язык в научном освещении. 2004. № 2 (8).

Касаткина 2009: Р. Ф. *Касаткина*. Новые данные о говоре деревни Лека Шатурского р-на Московской обл. // Исследования по славянской диалектологии. 14. Фонетический аспект изучения славянских диалектов. М., 2009.

Кириллова 1983: Н. В. *Кириллова*. Развитие народных говоров в советский период. Калинин, 1983.

Кириллова 1985: Н. В. *Кириллова*. О типологии изменений в диалектном вокализме // Среднерусские говоры. Калинин, 1985.

Кириллова — Новикова 1988: Н. В. *Кириллова*, Л. Н. *Новикова*. Активные процессы в фонетике русских народных говоров. Калинин, 1988.

Климчук 2012: Ф. Д. *Климчук*. Материалы опросника «Мое впечатление от переводов с русского литературного языка на западнополесский говор» // Исследования по славянской диалектологии. 15. Особенности сосуществования диалектной и литературной форм языка в славяноязычной среде. М., 2012.

Коготкова 1970: Т. С. *Коготкова*. Литературный язык и диалекты // Актуальные проблемы культуры речи. М., 1970.

Коготкова 1979: Т. С. *Коготкова*. Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы). М., 1979.

Колесов 1975: *В. В. Колесов*. Расшифровка системы современного говора (на материале севернорусского цоканья) // Севернорусские говоры. Вып. 2. Л., 1975.

Котков 1957: *С. И. Котков*. Усвоение норм литературного языка в условиях южновеликорусского диалекта. М., 1957.

Кузнецов 1948: *П. С. Кузнецов*. О гласных первого предударного слога в некоторых владимирских говорах // Бюллетень диалектологического сектора Института русского языка АН СССР. Вып. 4. М., 1948.

Лабов 1976: *У. Лабов*. Единство социалингвистики // Социально-лингвистические исследования. М., 1976.

Ларин 1977: *Б. А. Ларин*. История русского языка и общее языкознание. М., 1977.

Лунькова 2009: *Е. С. Лунькова*. Опыт описания частной морфемной модели в смоленских говорах // Севернорусские говоры. Вып. 10 / Отв. ред. А. С. Герд. СПб., 2009.

Мартине 1963: *А. Мартине*. Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.

Общее языкознание 1973: Общее языкознание. Методы лингвистических исследований / Под ред. Б. А. Серебрянникова. М., 1973.

Панов 1972: *М. В. Панов*, Р. И. Аванесов — фонолог // Русское и славянское языкознание. К 70-летию члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова. М., 1972.

Пауфошима 1978: *Р. Ф. Пауфошима*. Перестройка системы предударного вокализма в одном вологодском говоре // Физические основы современных фонетических процессов в русских говорах. М., 1978.

Розенцвейг 1972: *В. Ю. Розенцвейг*. Языковые контакты. Л., 1972.

Русская диалектология 1964: Русская диалектология / Под ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой. М., 1964.

Русская диалектология 2005: Русская диалектология / Под ред. Л. Л. Касаткина. М., 2005.

Селищев 1941: *А. М. Селищев*. Славянское языкознание. Т. I. Западнславянские языки. М., 1941.

Сорокин 1985: *Ю. А. Сорокин*. Психолингвистический аспект изучения текста. М., 1985.

Соссюр 1990: *Ф. де Соссюр*. Заметки по общей лингвистике. М., 1990.

Степанов 1976: *Г. В. Степанов*. Внешняя система и типы ее связи с внутренней структурой // Принципы описания языков мира. М., 1976.

- Стойков 1942: *Ст. Стойков*. Български книжовенъ изговоръ. София, 1942.
- Стойков 1951: *Ст. Стойков*. Говор с. Твърдицы (Сливенской околии в Болгарии) и с. Твардицы (Молдавская ССР) // Статьи и материалы по болгарской диалектологии. Вып. 8. М., 1951.
- Стойков. Програма 1969: *Ст. Стойков*. Програма за събиране на материали за български диалектен атлас. София, 1969.
- Супрун 1987: *А. Е. Супрун*. Полабский язык. Минск, 1987.
- Тургенев 1970: *И. С. Тургенев*. Сочинения. Т. 3. М., 1970.
- Филин 1938: *Ф. П. Филин*. Исследования по лексике русских говоров. М.; Л., 1938.
- Филин 1973: *Ф. П. Филин*. Актуальные проблемы диалектной лексикологии и лексикографии // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов М., 1973.
- Фонетика 1968: Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование / Под ред. М. В. Панова. Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры. М., 1968.
- Чистяков 1935: *В. Ф. Чистяков*. К изучению языка колхозника. Смоленск, 1935.
- Шахматов 1913: *А. А. Шахматов*. Описание лекинского говора Егорьевского уезда Рязанской губернии // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. Т. XVIII. 1913. Кн. 4.
- Щерба 1915: *Л. В. Щерба*. Восточнолужицкое наречие. Пг., 1915.
- Щерба 1974: *Л. В. Щерба*. Субъективный и объективный метод в фонетике // *Л. В. Щерба*. Языковая система и языковая деятельность. М., 1974.
- Chloupek 1971: *J. Chloupek*. Aspekty dialektologie. Brno, 1971.
- Chloupek 1973: *J. Chloupek*. Aktuální otázky dialektologie // Jazykovědné sympozium 1971. Brno, 1973.
- Hill 1958: *T. Hill*. Institutional Linguistics // Orbis. Bulletin internationale de Documentation linguistique, 7, 1958.
- Jones 1962: *D. Jones*. An Outline of English Phonetics. Cambridge, 1962.
- Krause et al. 2003: *M. Krause, V. Ljublinskaja, Ch. Sappok, F. Evdokimov, A. Kopylova, E. Moškina, V. Područnjak*. Mentale Dialektkarten und Dialektimages in Russland: Metasprachliches Wissen und linguistische Determinanten der Bewertung von Dialekten // Zeitschrift für Slavistic. 48 (2003). № 2.
- Sapir 1963: *E. Sapir*. Selected Writings in Language, Culture and Personality. Berkeley: Los Angeles, 1963.
- Weisgerber 1976: *L. Weisgerber*. Die Leistung der Mudart im Sprachganzen // Zur Theorie des Dialekts. Wiesbaden, 1976.

А. Ф. ЖУРАВЛЁВ

**О смысловых и коннотационных потерях  
в межкультурных трансляциях**

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ<sup>1</sup>

***Один, ничаво, славный юнга и Райзман с Коганом,  
или К вопросу об истоках северновеликорусской икоты***

Но как нам дух перевести?

*Кушнер*

В знаменитой у нас повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1965), в самом начале третьей главы Истории третьей «Всяческая суета», недолго, на протяжении всего трёх смежных абзацев, действует третьестепенный персонаж — руководитель Отдела технического обслуживания Научно-исследовательского института чародейства и волшебства и, по совместительству, консультант Китежградского завода маготехники *Саваоф Баалович Один*. Поскольку его имя и отчество прямо отсылают к теонимиям — соответственно к иудео-христианской (ветхозаветной: книги Царств, книги Паралипоменон, у пророков и в псалмах) и

---

<sup>1</sup> Автор искренне признателен Ирине Александровне Седаковой, с которой обсуждались некоторые вопросы, затронутые в настоящей работе.

более древней западносемитской, — нетрудно сделать предположение, что фамилия персонажа, а для русского читателя это, несомненно, фамилия, тоже должна иметь теонимические истоки. Некоторая несбалансированность трёхчленного проприального имени главного инженера и консультанта рождается тем, что первые две его трети связаны с соприкасавшимися ближневосточными культурно-религиозными традициями, а последняя почерпнута авторами повести из теонимического тезауруса совсем иной культуры — древнескандинавской (на наш взгляд, более равновесную конструкцию образовала бы искусственная мультикультурная триада, в которой вместо, например, имени *Саваоф* фигурировало бы извлечение из греческого, индуистского или, скажем, ацтекского священных именников; впрочем, дело вкуса).

Строго говоря, усматриваемая пронизательным читателем детонимичность фамилии *Один*, к др.-сканд. *Óðinn*, не носит жёстко обязательного характера. Мало ли, скажем, и в литературной антропонимии, и в реальности негармоничных в рассматриваемом смысле сочетаний личных имён, которые восходят к теонимам, с фамилиями, такой благодатью не освящёнными<sup>2</sup>. Внешне, далее, ономастическая единица *Один* без проблем вписывается во вторую по нагруженности модель образования русских фамилий — на *-ин* (и может квалифицироваться как производное от какого-нибудь семейного

---

<sup>2</sup> Реальные, например: *Аврора Дюпен-Дюдеван* (пожелавшая, однако, стать Жоржем), *Анаит Нерсесян*, *Аполлон Григорьев*, *Бальдур фон Ширах*, *Венера Юлдашева*, *Диана Спенсер*, *Зинаида Волконская*, *Кронид Любарский*, *Лакшми Миттал*, *Ника Турбина*, *Тур Хейердал*, *Уран Гуральник*, *Хесус Фариа*, *Христо Ботев*... (Зинаида и Кронид — первоначально отчества: «Зевсовна», «Кронович»). А если их дополнять вымышленными, то нельзя упустить примера из Бахыта Кенжеева с его «Стихами мальчика Теодора», где «благодать», правда, распределена иначе: «Спускается с горных отрогов, / с цветущих памирских лугов / Сергей Саваофович Бóгов, / известный любимец богов».

\**Ода*<sup>3</sup> или \**Одя* — гипокористической формы к паспортным именам *Адам*<sup>4</sup>, *Мефодий*, *Авдей*, *Авдотья*, *Одетта*...<sup>5</sup>, или даже как производное от *ода* ‘хвалебная песнь’<sup>6</sup>), хотя грамматических примет, безусловно подтверждающих её принадлежность указанному структурному типу, не дано. Встретившаяся в тексте «Понедельника» лишь три раза, она всякий раз употреблена в именительном падеже единственного числа мужского рода, который в морфологическом плане минимально информативен, диагностичной формы творительного мужского (\**Одиным*)<sup>7</sup>, как и парадигматических форм женской версии, в повести нет.

<sup>3</sup> В известном словаре русских имён Н. А. Петровского, фантастическом по материалу гипокористических образований, обнаруживается *Ода* — «уменьшительная форма» к женскому личному имени *Свобода* [Петровский: 334].

<sup>4</sup> Со стандартным для гипокористик лабиальным «прояснением» в ударном положении исходной фонемы /a/: *Тамара* → *Тóма*, *Таисия* → *Тóся* (наряду с *Тáся*), *Матрёна*, *Матвей* → *Мóтя*, *Давид* → *Дóдик*.

<sup>5</sup> На 56-м Каннском кинофестивале в программе «Двухнедельник режиссёров» демонстрировался документальный фильм Эдгара Бартенева «*Одя*» — о девушке коми с этим именем (удорский диалект).

<sup>6</sup> К непрямой (дистантной) связи фамилий с названиями, в конечном счёте, словесных жанров ср.: *Рассказов*, *Сказкин* (ср.: [Тупиков 2004: 333] — «Андрей Иванов сын, а прозвище *Рассказ*», [356] — «Матвей *Сказка*»), *Загадкин* [<http://zagadkin.narod.ru>], *Просьбин* [Унбегаун 1995: 160], *Беседин*, *Разговоров*, *Баландин*, *Болтовнин* [[http://news.yandex.ru/people/boltovnin\\_aleksandr.htm](http://news.yandex.ru/people/boltovnin_aleksandr.htm)]; фамилии типа *Баландин*, *Болтовнин*, *Разговоров*, *Брёхов* непосредственно отсылают к названиям носителей свойства (любителей поговорить), словообразовательно омонимичным по отношению к наименованиям жанров.

<sup>7</sup> Ср.: «Приезжаю в Абрамцево в 7 вечера с обещанными *Герценым*, Бродским и коньяком» (Наталья Шмелькова. Последние дни Венедикта Ерофеева. 2002; извлечено из текстов, вошедших в Национальный корпус русского языка). Этот контекст судить о принадлежности антропонима *Герцен* к разряду русских ф а м и л и й (в мужской версии) позволяет безошибочно.

И всё же теонимическое «прошлое» литературной фамилии *Один* более чем вероятно. В поддержку такого понимания говорит целая совокупность моментов. Во-первых, фарсовое смешение Стругацкими непересекающихся ономастических систем с нередким обращением к разного рода мифологиям: ср. *Китежград*, *Лукоморье*, *Лысая Гора*, *Наина Киевна Горыныч*, *Хрон Монадович Вий*, *Перун Маркович Неунывай-Дубино*, *Данаиды*, гекатонхейры *Котт*, *Гиес* и *Бриарей*, двупостасный, что для данного случая важно, *Янус Полуэктович Невструев* (администратор *А-Янус* и учёный *У-Янус*), *Каин*, *Голем*, *Артур*, *Мерлин*, *Дракула* и даже очеловеченные, точнее, «офигуренные» *демоны Максвелла*. Во-вторых, художественно оправданная плотность трёхчленного детеонимического ряда (всё-таки единство, пусть, как отмечено, несколько диспропорциональное), предполагаемая читателем, обременённым хотя бы скромными познаниями в германской мифологии. Сбросить её со счетов было бы недальновидно. В-третьих, наконец, многочисленные факты послужного списка именованного персонажа: «обрёл возможность творить любое чудо», «был ведущим магом земного шара», «его именем заклинали нечисть», «его именем печатавали сосуды с джиннами», «царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил в его честь храмы».

Нужно сказать, что теоретически как будто имеется ещё одна возможность интерпретировать фамилию *Один*, но возможность

---

Принадлежность фамилии *Ельмслев* к фамилиям русским с необходимостью вытекает из формы *Ельмслевым*, использованной, например, в профессиональном русском переводе книги о профессиональном переводе (Эко 2006: 44). Многочисленные показания того же НКРЯ заставляют думать, что даже кресло германского канцлера в первом десятилетии XX века занимал коренной русак: фамилию Бернгарда Генриха Карла Мартина фон *Бюлова* наши источники в творительном падеже употребляют исключительно с флексией *-ым* (21 вхождение — против убедительного нуля для формы *Бюловом*).

крайне маловероятная. Вряд ли придёт кому-нибудь в голову найти эту фамилию результатом механического перенесения в антропонимическую сферу счётного числительного *один* (например, для передачи значений 'единственный в семье ребёнок' или 'одинокый, сирота'; ср. фамилии *Одинцов, Одинок*). Противоестественная формальная инертность слова при перемене классной принадлежности в языке синтетического строя с развитой морфологией была бы чрезвычайно странной художественной находкой даже для фарсовой литературной антропонимии. Подобного сорта нетрансформируемых приобретений из других языковых подсистем нормальная русская система собственных личных имён, похоже, не знает. Конечно, принципиально не исключается игра с буквальным («цифральным», если можно так выразиться) «озвучанием» записей наподобие *Пётр I, Екатерина II, Наполеон III*, то есть с обращением порядкового числительного в счётное или с опущением подразумеваемого технического словечка *номер* в шутовском именовании (\**Генрих-четыре* ← \*\**Генрих номер четыре*). Однако если бы было так, то сочинители «Понедельника» милосердно оставили бы читателю хоть какие-нибудь намёки, например, употребив имя \**Саваофа Бааловича Одного* в косвенном падеже или введя для равновесия параллельный персонаж с буффонной, невозможной в реальности фамилией \**Два*<sup>8</sup>. Порезвиться на творческой кухне только «для себя», сугубо эзотерически, никак не показав адресату текста игровых ономастических интенций, — вроде бы не в писательских привычках Стругацких.

Всё говорит в пользу того, что фамилия *Один* отсылает читателя к имени одного из верховных богов древнегерманской вселенной. Именно это мнение теперь авторитетно пропагандируется на сайте

---

<sup>8</sup> Искусственный антропоним *Mark Twain* и прозвища дылдоватых личностей типа *Полтора-Ивана* (с управляемым родительным падежом нормального личного имени) лишь очень отдалённо напоминают этот чисто умозрительный пример.

*Понедельник начинается в субботу* в Википедии. А попытки истолковать фамилию апелляцией к существительному *ода* («варианты» — несуществующие слова \**одя*, \**одь*) или числительному *один* — от лукавого. Можно передохнуть.

Но не всё так просто. Повести братьев Стругацких была уготована участь попасть в руки переводчиков...

Какие-то затруднения при переводе можно было предвидеть уже применительно к заголовку<sup>9</sup>. Счёт дней недели в других культурах может быть отличен от славянского, и буквальное название книги евреи и арабы, например, вынуждены воспринимать приблизительно в том же коннотативном ключе (то есть скорее без особых коннотаций), в каком мы понимали бы фразу *Вторник начинается в воскресенье*. Стало быть, для сохранения культурной ауры или хоть каких-то её оттенков еврейская или арабская версия разбираемого текста должна носить название 'Воскресенье начинается в пятницу'. Однако это породило бы цепь новых сложностей, масштаб которых просчитать до конца невозможно. С текстовыми фрагментами «Сюда пришли люди, которым приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода *воскресений*, потому что в *воскресенье* им было скучно» (глава третья Истории второй «Суета сует») или «— Повезли родимого<...> / Повезли, — повторила она

---

<sup>9</sup> Напомним придирчивое примечание к нему, сделанное «и. о. заведующего вычислительной лабораторией НИИЧАВО младшим научным сотрудником А. И. Приваловым»: «Название очерков, как мне кажется, не вполне соответствует содержанию. Используя эту действительно распространенную у нас поговорку, авторы, видимо, хотели сказать, что маги работают непрерывно, даже когда отдыхают. Это в самом деле почти так и есть. Но в очерках этого не видно. Авторы излишне увлеклись нашей экзотикой и не сумели избежать соблазна дать побольше завлекательных приключений и эффектных эпизодов. Приключения духа, которые составляют суть жизни любого мага, почти не нашли отражения в очерках».

[Наина Киевна Горыныч]. — Каждую *пятницу* возят... / — Куда? — спросил я. / — На полигон, батюшка. Всё экспериментируют... Делать им больше нечего» (глава третья Истории первой «Суета вокруг дивана») формально справиться как будто можно, попросту сдвинув все событийные узлы и переломы на одни сутки. Но спасительность такого решения иллюзорна. Во-первых, это означало бы заставить Януса Полуэктовича или Х. М. Вия следовать иудаистским или исламским распорядкам, что вряд ли прибавило бы их образам художественной убедительности. Во-вторых, если ввести инокультурный счёт дням внутри недели, как быть с началом суток? Мы их отсчитываем с полуночи, а арабы и традиционные евреи — от заката: «и бысть вечер, и бысть утро, день един» (на самом деле немного сложнее, но здесь можно удовлетвориться грубым суточным межеванием). С какой путаницей столкнутся переводчики, взявшись за фразы: «И каждую полночь, ровно в ноль часов ноль-ноль минут ноль-ноль секунд ноль-ноль терций по местному времени А-Янус будет, как и все мы, переходить из сегодняшней ночи в завтрашнее утро, тогда как У-Янус и его попугай в тот же самый момент, за мгновение, равное одному микрокванту времени, будет переходить из нашей сегодняшней ночи в наше вчерашнее утро» или «... ровно в полночь все вдруг стихло. И не удивительно. Контрамоты [существа, движущиеся во времени назад. — А. Ж.] вступили в свой новый день — двадцать девятое июня по нашему времяисчислению» (глава пятая Истории третьей)? Транслятору-буквочеду, зачем-то избравшему этот сомнительный путь, грозит увязнуть в такой головоломной перестройке всей повести, что от согласования её названия с механизмами времени в культуре, на язык которой делается перевод, лучше сразу отказаться. Это не невинная замена Тютчевым биологического вида 'ёлка' → 'кедр' при переводе гейневского «Ein Fichtenbaum steht einsam» (неопытный Лермонтов, как помним, осуществил операцию по перемене грамматического рода, не осознав лесбийских

мотивов, соткавшихся в его переводе<sup>10</sup>). Получается, что утрата коннотативной ауры в заголовке при неустраимости реалий и примет «транслируемой» культуры — вещь куда более терпимая, чем ради её сохранения перекраивание всей сюжетной ткани.

Переводчик почти всегда, сознаёт он это или нет, оказывается проводником информации о механизмах культуры, в границах которой был порождён исходный текст, в пространство культуры, субстратом которой является другой язык. Какого бы уровня перелицовки начального текста, ухода от культурных устоев оригинала ни достигал переводчик (и чем более он в этом преуспевает, тем выше часто ценится его искусство), избавиться от этой функции до конца почти невозможно<sup>11</sup>, ну разве что в редких образцах притчевого и басенного жанров с их ставкой на этнографическую зачищенность, на универсальную приложимость «морали». В менее стерильных жанрах, а уж тем более специально «реалистических», читателю переведённого (вторичного) текста — носителю языка, обеспечивающего функционирование отличной культуры, — практически всегда навязываются некие объёмы внеязыкового, энциклопедического знания о культуре, стоящей за первичным текстом.

Проблема с названием занимающей нас повести в переводном варианте, правда, невелика и, надо признаться, целиком высосана из

---

<sup>10</sup> Перемена рода / пола случилась в переводе трогательных стихков самого Лермонтова на болгарский язык. Но, по счастью, обоюдосторонняя. У Пенчо Славейкова лермонтовский *утёс-великан* вынужден превратиться в большую скалу — *скала голяма*, — а в соответствие *тучке золотой*, согласно с гендерными предпочтениями болгарского словаря, поставлен *златен облак*. Равновесие было сохранено, однако оказалось зеркальным: если у Лермонтова легкомысленным порханием отмечена дама, то у Славейкова — противоположный пол (наблюдение А. Людсканова, см.: [Людсканов 1969: 113]; ср.: [Горбачевский 2001: 135], которому мы обязаны этим примером).

<sup>11</sup> Ср.: «Культуры не бывают монологическими» [Живов 1996: 9].

пальца, потому что арабы в массе своей, насколько можно понять, интересуются европейской фантастикой не слишком пристально, а поклонники Стругацких в стране возрождённого иврита хорошо помнят устройство восточноевропейской недели и с творчеством прославленных наших авторов знакомы по большей части в оригинале. Оставим в стороне эти надуманные европейско-ближневосточные культурные несхождения, затронутые скорее в порядке полуплутивого мысленного эксперимента, и отправимся дальше.

Как в любом переводе, а особенно в переводе сочинения наполненного иронией, стилистически не скованного, насыщенного цитатами (обрывками «прецедентных текстов»), пародийными переименованиями и каламбурами, при трансляции «Понедельника» на другие языки неизбежны значительные смысловые, коннотационные и прагматические потери.

Ещё до всякого опыта, например, очевидно, что передача аббревиатуры *НИИЧАВО* средствами любого иного языка обречена на неуспех. Сохранение каламбурной переключки начального сегмента *НИИ* с отрицательной частицей *ни-* исключается даже для самого ближайшего родственного языка — белорусского (*научно-исследовательский институт — навукова-даследчы інстытут*), а о невозможности вульгарного обаяния, которое несёт спрятавшееся за аллюзией диалектно-просторечное *ничаво*, и говорить не приходится. Все наши собственные попытки создать по-белорусски если не эквивалент, то некоторое подобие аббревиатуре Стругацких, увенчались лишь довольно далёким от оригинала переосмыслением *нічога* ‘ничего’ (в предикативной функции) → *НІЧОГА* →<sup>12</sup> *Навуковы інстытут чортавага гаспадарства*, из немногих достоинств которого — неожиданная соотнесённость с диалектным эвфемистическим именованием нечистой силы *нічогае* / полесск. *ничогое* [СД 5: 519, ст. **Чёрт**].

<sup>12</sup> В направлении стрелки ошибки нет.

Поскольку каламбуры на другие языки принципиально не переводимы и удачи в этой области нужно относить скорее к чудесам, перед переводчиком во взятом случае складываются три возможности: либо (а) оставить аббревиатуру как есть и в лучшем варианте дать подстрочное или затекстовое примечание, где толмач не скрывает своего бессилия, но хотя бы приблизительно разъясняет читателю, в чём там у авторов фокус, либо (б) дословно перевести растолкование аббревиатуры и из начальных букв получившегося сочетания составить новый вполне бесцветный акроним или слоговое сокращение, либо, наконец, (в) подобрать какое-нибудь постороннее «дурацкое» слово, запись которого прописными литерами можно подать как буквенную аббревиатуру словосочетания, по значению близкого расшифровке русского каламбурного сокращения. Все эти возможности мы и находим реализованными в разных переводах. Вариант «а» использован в болгарском переводе «Понедельника»<sup>13</sup>: *НИИЧАВО* (без какого-либо комментария, вполне допустима мысль, что каламбурный статус единицы прошёл мимо сознания транслятора). Вариант «б» — например, в польском: *INBAD CZAM* ← *Instytut Badań Czarów i Magii* (переводчик — Irena Piotrowska); в английском (американское издание): *SRITS* ← *Scientific Research Institute for Thaumaturgy and Spellcraft* (переводчик — Leonid Renen). Третий, вариант «в», — в другом переводе на английский (британское издание): *NITWITT* ← *National Institute for the Technology of Witchcraft and Thaumaturgy* (переводчик — Andrew Bromfield; использовано англ. *nitwit* — ‘дурачина, простофиля’).

А вот как выглядит в иноязычных трансляциях фрагмент русской повести, где сам герой, будущий м. н. с. института, пытается понять смысл сокращения («НИИЧАВО, подумал я. Научно-

---

<sup>13</sup> «Понедельник започва в събота». Автор настоящей работы пользовался текстом перевода, размещенного в Интернете (по меньшей мере дважды). Имя переводчика на болгарский выяснить не удалось.

исследовательский институт... *Чаво?* В смысле — чего? *Чрезвычайно автоматизированной вооруженной охраны? Черных Ассоциаций Восточной Океании?»*). По-болгарски: «НИИЧАВО, чудех се аз. Научноизследователски институт... *ЧАВО?* Какво ли ще значи това? *Чрезвичайна автоматизирана въоръжена охрана? Черни асоциации на великобританска Океания?»* По-английски (Л. Ренен): «SRITS, thought I. Scientific Research Institute of TS. Meaning what — Technology of Security, Terrestrial Seismology?» В силу родственной близости русского и болгарского языков лишь прилагательное *восточный* (болг. *източен*) составило для переводчика незначительную трудность, разрешившуюся не очень пунктуальным выбором прилагательного *великобританска* (как раз в восточной Океании доминирует не Британия, а Франция: острова Туамоту, острова Товарищества до сих пор остаются её заморскими территориями, которые так и называются: Французская Полинезия). Переводчик же на английский язык, более или менее справившись с первой версией расшифровки (*ЧАВО / чрезвычайно автоматизированная вооруженная охрана* → *TS / Technology of Security*), для второй (на счёт «чёрных ассоциаций») не стал искать ничего сколько-нибудь похожего по смыслу, подставив маловразумительное ‘земная сейсмология’; впрочем, малая вразумительность и требовалась. Не бог весть как смешно, но сгодится. Польская переводчица аббревиатурному сегменту *-CZAM*, кроме «*Czarnych Asocjacji Melanezji*», предложила расшифровку «*Częstotliwości Aberracji Myślowych*».

Если уж мы коснулись аббревиатур, которых в «Понедельнике» предостаточно, то трудно миновать сокращение *Изнакурнож* ‘изба на курьих ножках’. Болгарский переводчик изменил методе, применённой для *НИИЧАВО*, и составил сокращение из огрызков болгарских слов в безупречном соответствии оригиналу: *Конакокошкрак* ‘колиба на кокоши крака’. Стоит обратить внимание на то, как, ради большей связности и опознаваемости чуждых иноязычному читателю реалий, со словом *Изнакурнож* обошёлся американский прелагатель

Л. Ренен, тоже непоследовательный в использовании переводческих приёмов. Каких уловок ни ищи, всё плохо, и ему пришлось оставить аббревиатуру в виде транслитерированного варваризма и, при первом её появлении в тексте, снабдить подстрочным комментарием: «*Iznakurnozh*\* [\* *Izba na kuryikh nozhkakh*: Log cottage on hen's legs, of Russian folklore]». Но уже при следующем употреблении аббревиатуры читатель сталкивается с заменой одной буквы: «„Hello.“ / „Who's this?“ asked a piercing female voice. / „Whom do you want?“ / „Is that *Izbakurnozh*?“ / „What?“ / „I am saying — is it the *Izba on Hen's Legs* or not? Who is talking?“ / „Yes,“ I said. „It's the *Izba*. Whom do you want?“» Не наделённый собственным значением сегмент *izna-*меняется на *izba*, поддерживаемое дальнейшим контекстом и потому приобретающее — в глазах англоязычного читателя — едва ли не статус самостоятельной морфемы. Можно предположить, что эта замена — вовсе не описка. По-видимому, она порождена небезосновательным опасением переводчика, что разъяснений, данных ранее, маловнимательный читатель мог не усвоить и ему нужно напомнить, what is what, хотя бы таким ненавязчивым способом, который к тому же усиливает плотность и смысловую определённости текста. Не исключено также, что одновременно новый вариант сокращения имеет адресатом немногочисленного американца, в культурный багаж которого слово *izba* — наряду с *balalaika*, *borshch*, *komsomol*, *kvass*, *okroshka*, *sobornost*, *udarnik* и под. — входит как этнографизм (подобно словам *вигвам*, *иглу*, *бунгало* в нашем словаре).

Хорошо известную проблему безэквивалентной лексики, в частности наименований этнографических реалий, и фольклорных клише затрагивать рискованно из-за её необъятности: нелегко будет остановиться. Приведём по одному примеру.

Как перевести на английский, например, *гусли-самогуды*? Если прибегнуть к транслитерации \**gousli*, то потребуются подстрочные комментарии, а их обилие, неизбежное при таком подходе к книге «Понедельник начинается в субботу», превратит текст в

«нечитабельный» справочник по этнографии, русскому и мировому фольклору, и если бы только по фольклору<sup>14</sup>. Перевести обобщающим *psaltery*? Во-первых, неточно, теряется национальная окраска, во-вторых, слово не из ходовых (как и русские *псалтирь*, не путать с *псалтирью* ‘собранием псалмов’, или *псалтерий*, см. музыкальные энциклопедии), значит, тоже без разъяснений для англоязычного читателя не обойтись. Да ещё *самогуды*: *selfsounding*? Л. Ренен выбрал арфу: *the playing harp*. Пусть — несмотря на то, что древнерусского исполнителя на этом инструменте воображение тут же рисует даже не столько с внешностью и манерами напудренного и томно закатывающего глаза глюковского гуслира Орфея, сколько в облике несчастной солистки филармонии, скоморошьими своими просёлочными дорогами таскающей на горбу золочёное, с семью педалями, изделие Ленинградской фабрики щипковых мусикийских орудий им. А. В. Луначарского. Спасибо скажешь переводчику «Понедельника» на немецкий язык Герману Бухнеру, который назвал экзотический для немцев инструмент *eine Balalaika, die von selber spielt*: озабоченно смоделирован русский колорит. Правда в другом эпизоде повести тот же инструмент в лапах говорящего кота Василия именуется *Laute* — «плотней», так что чувство благодарности переводчику следует умерить. В болгарском переводе находим гипероним *цитра*, что не так уж и плохо, несмотря на утрату этнической компоненты<sup>15</sup>. Любопытно, что от отождествления *гуслей* с болг. *гусла*, диал. *гъсла* переводчик решительно отказался: болгарский инструмент, как и

<sup>14</sup> Едва ли не именно эту задачу ставили перед собой авторы повести, приложив уже цитированное «Послесловие и [терминологический] комментарий... А. И. Привалова». К общему удовлетворению задача выполнена очень отчасти.

<sup>15</sup> В национальном корпусе болгарского языка встретились *гръцка* и *японска* цитры, а также упоминания этого инструмента в «библейском» и «польском» контекстах.

сербские *гусле*, словенские *gosli* — смычковый, с одной, гораздо реже с двумя струнами, на русские гусли не похож ничуть<sup>16</sup>.

Страдающий склерозом кот-рапсод цитирует русскую сказку: «А Иван, сами понимаете — дурак, отвечает: „Эх ты, *поганое чудище*, не уловивши бела лебедя, да кушаешь!“». Передать бранное выражение *поганое чудище* с сохранением смыслов, нынешним языком утраченных, но законсервированно ещё просвечивающих в фольклорной фразеологии, переводчики и не пытаются, оставаясь нарочитыми «современниками»-буквалистами: «Heу, you, *revolting monstrosity*, stuffing yourself before you caught the snow-white swan!» (англ., Л. Ренен); «Ех, ти, *отвратително чудовище*, не си хванало белия лебед, пък ядеш!» (болг.), «Ach ty *wstretny potworze...*» (польск., пассаж с «белым лебедем» опущен) и под. Никто из них, скорее всего, и не отдаёт себе отчёта в том, что точным однословным эквивалентом выражению является не столько *нечисть*, сколько *нехристь*. *Поганый* — первоначально ‘языческий, чужеверный’, каковое значение резонирует с семантикой и прагматикой существительного *чудище*, производного от *чудо* — слова, неоднократно уличавшегося (см.: [Фасмер IV: 378, 379]) в исторически вторичном семантическом взаимодействии с гнездом прилагательного *чужой* (праслав. \**tjudjь*).

Кроме этнографии и фольклора существует ещё диалектология. Если у нас об этом предмете не имеет представления почти никто (кроме самих диалектологов, да и то, пожалуй, выборочно), то что говорить о переводчиках-иностранцах.

Герой книги зачёрпывает из колодца воду, а в бадье оказывается говорящая рыба: «— Опять на рынок поволочёшь? — сильно *окая*, сказала щука». В американском переводе сильный севернорусский акцент, свойственный красноречивой рыбе, заменяется сильной

<sup>16</sup> И тем не менее в русско-болгарских словарях можно встретить «*гүсли*, -ей, *мн.* гусла», например: [Главнюков 1953: 106] — этимологическое соответствие вместо перевода (как и в «Македонско-русском словаре», см.: [Толовски — Иллич-Свитыч: 82]).

икотой: «„Going to drag me off to the market again?“ inquired the pike, *hiccuping* strongly». Объяснять американскому читателю, что такое северновеликорусский вокализм с его различием фонем неверхнего подъёма в безударном слоге, дело хлопотное. А так — всё просто и к тому же в смысловом плане, кажется, каким-то образом увязывается со зрительными впечатлениями героя: «Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре, она всю открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно сжав челюсти». Что же до физиологических причин икоты, то надёжное объяснение найти легко: сюжет разворачивается в краях северных, вода в реках холодная, вот рыба и назяблась, бедолага, перебралась в колодец, в стоячую воду, где, пожалуй, немного теплее. У Стругацких щука жалуется на ревматизм — удачная шутка, а переводчик, видимо, купился, не вспомнив о том, что щука животное пойкилотермное и колодезно-речные температурные перепады для неё малозначительны.

В отличие от Л. Ренена, немецкий переводчик в обсуждаемом эпизоде некоторое знакомство с русской диалектологией демонстрирует: «...sagte der Hecht mit einem ausgeprägt *südlichen Akzent*». Правда, подмена севернорусского наречия южнорусским скрывает в себе опасность содержательных нестыковок или проявления не предусмотренных авторами фабульных умолчаний. Если щука из местных, то в соответствии с проносом, который приписал ей переводчик, территория, где развиваются события, должна находиться не севернее Смоленска, Калуги и Рязани. Но это очевидно не так: изобретённый Стругацкими населённый пункт Соловец (имя которого — то ли обратный дериват от реального *соловецкий*, то ли изящная контаминация топонимов *Соловки* и *Олонец*) в самом начале повести заявлен приблизительно посередине пути от Ленинграда к Мурманску, полярные сияния для персонажей повести — привычный пейзажный антураж (см. главу пятую Истории второй). Стало быть, щука с её ярко выраженным южным («*ausgeprägt südlich*») акцентом — из

чужой популяции, иммигрантка. Спрашивается, какими водными артериями её сюда занесло и почему авторы не пожелали осветить столь интригующие обстоятельства её биографии. Но это мелочи, которые, по надежде переводчика, сойдут за сочинительскую прихоть или просто недогляд. Так что, перенеся проблему в лингвогеографическую плоскость, но постаравшись при этом избавиться от какой-либо конкретности в типологии щучьего вокализма, Г. Бухнер поступил более или менее осмотрительно: не приведи бог, какой-нибудь дотошный немецкий читатель захочет распутать диалектологический клубок, сличит перевод с оригиналом и наткнётся на несуразицу — южновеликорусское оканье. И всё же: если этот эвентуальный немецкий зануда окажется с наклонностями к советологии, то, дополнительно вдохновясь тем же напрашивающимся оттопонимическим прилагательным *соловецкий*, щучьи дороги из благодатных полуденных краёв к Полярному кругу он неотвратимо проложит через печально знаменитый Беломорско-Балтийский канал. И тут откроется такой простор для интерпретации скрытых смыслов, что в шеренгах мастеров аллюзии братья Стругацкие должны будут занять место сразу же после знаменитого Эзопа, оттеснив Монтескьё и Салтыкова-Щедрина. Лестная, что говорить, участь, но готовить её Г. Бухнер должен был, нам кажется, с осмотрительностью ещё большей.

Однако, начав с личных имён, точнее, с имени *Саваофа Бааловича Одина*, мы сильно отвлеклись в сторону. Вернёмся к ним.

Сначала о переименованиях, которые можно расценить как удачи или, выразимся осторожнее, относительные удачи.

В болгарском переводе фамилия *Один* сохранена в неприкосновенности (и не стоит разбираться, все ли болгарские читатели делают нужные мифологические отождествления). По-другому пришлось поступить с фамилией смотрительницы музейного объекта «Изнакурнож» старухи Наины Киевны *Горыныч*, которая находится в каком-то непрояснённом родстве с известным змеем русских сказок, тоже мелькнувшим на страницах «Понедельника». Препятствием для незатейливой транслитерации является отсутствие буквы «ы» в

нынешней болгарской кириллице. Просто скопировать нельзя, возможные для иных фактов буквенные субституции вроде «ы» → «и» или «ы» → «ь» не очень отвечают историко-фонологическим зависимостям и сбивают с толку. Субститутный вариант \**Горинич* толкает на включение имени в глагольное гнездо *горя* (← \**gorěti*), субститут же \**Горьньч* неоправданно «обогащает» русский аффиксный морфемарий (для большинства болгар это ощутимо) и делает имя мало похожим на русское<sup>17</sup>, что в данном случае нежелательно — при весьма желательной, однако, актуализируемости внутренней формы. Довольно естественно напрашивается привлечение параллельного балканославянского мифологического имени \**gorěniъ* / \**gor'aniъ*<sup>18</sup>: болг. змей *Горянин* [Младенов 1: 807; Георгиева 1983: 95; Попов 2006, ст. **Змей**]<sup>19</sup>, макед. змей *горјанин*, серб. *gòrјанин*. Комментаторы сербских источников (см.: [Раденковић 1996: 63]) говорят о старобалканском териоморфном божестве, имя которого представляет собою кальку с лат. *Silvanus* ‘лесной (бог)’ (серб.-хорв. *гора* ‘гора’ и ‘лес’, болг. *гора* ‘лес’<sup>20</sup>). Наина Киевна таким способом преобразована в *Н. К. Горянину*, а змей-эпоним — в *З. Горянина*.

<sup>17</sup> Ср. болгарскую фамилию *Гълъбов* (= рус. *Голубев*), которую лингвисты при необходимости транслитерируют — деваться некуда — как *Гылыбов*, а необразованные (это их родовой, неустранимый признак) журналисты как только ни коверкают, вплоть до труднопроизносимого *Глбов*.

<sup>18</sup> Собственно, ‘горец’. Слово общеславянского распространения и, безусловно, праславянского возраста, но мифологические значения у него регистрируются только в южнославянской зоне. См.: [Sl. prasł. VIII: 134]; в [ЭССЯ 7: 41–42] эти значения не приводятся.

<sup>19</sup> О популярности мифонима говорят его использование литератором Светозаром Димитровым (1905–1958) в качестве псевдонима и существование на юге Софии улицы *Змей Горянин*. Огнедышащая разновидность змея в болгарском фольклоре характеризуется эпитетом *огнянин*.

<sup>20</sup> Соприкасаемость значений ‘гора’ и ‘лес’ в пределах одного слова составляет видимую семантикотипологическую особенность множества языков, включая славянские (см.: [Толстой 1969: 22–103; Виск 1949: 46–48]).

Осложняющий нюанс в том, что соотношение «*Горянин* (муж. р.) — *Горянина* (жен. р.)» безукоризненно вписывается в нормативную систему современных русских фамилий. Но если *Горыныч* у смотрительницы музея — это неоспоримая фамилия (см. ржавую жестяную табличку на музейных воротах: «... *Н. К. Горыныч*»), то встраивание прозвища трёхголовой фольклорной рептилии в теперешнюю регламентированную антропонимическую подсистему вызывает улыбку. Юмористический план в таких проприальных переключках и у Стругацких, конечно, присутствует, но в болгарском переводе он оказался — непроизвольно или с намерением — чуть-чуть усиленным. Усиленным, на наш взгляд, отнюдь не во вред общей интонации.

Довольно остроумно справился с переводом отчества «товарища завкадрами гражданина Дёмина» Л. Ренен. Полностью кадровика зовут — Дёмин *Кербер Псоевич*. Личное имя персонажа копирует именование стража Аида: Кёрβερος — страшный многоголовый пёс с гривой, состоящей из змей, порождение Тифона и Эхидны (не сказать, чтоб тип советского кадровика целиком отвечал такому образу, но похожие экземпляры попадались). Отчество же *Псоевич* подобрано Стругацкими для «семантической рифмы» — по его созвучию с русским *пёс*. Просто воспроизвести отчество в английском тексте означало бы допустить потерю ассоциативного резонанса между составляющими полного имени, столь явственного в источнике. Переводчик находчиво спасает положение составлением производных на манер русских отчеств от английских слов, так или иначе связанных с собаками<sup>21</sup>, — *Cerber Roverovich* и *Cerberus Curovich* (в разных

<sup>21</sup> Хочется думать, что переводчик не смешал отчество от редкого имени *Псой* с прямым производным от *пёс*, неразличение которых встречалось даже у героев А. Н. Островского (ср.: «**Аграфена Кондратьевна**. Как тебя звать-то, батюшко? Я все позабываю. / **Рисположенский**. Сысой *Псойч*, матушка Аграфена Кондратьевна. / **Устинья Наумовна**. Как же это так: *Псович*, серебряный? По-каковски же это? / **Рисположенский**. Не умею вам сказать доподлинно; отца звали *Псой* — ну, стало быть, я *Псойч* и выхожу. /

главах; единственный известный нам пример, когда один и тот же персонаж в одном и том же переводе именуется двойко, хотя оригинал повода к этому не даёт; можно предположить, что это неустрашённые следы сомнений переводчика в том, какой вариант лучше): от *sur* ‘злая и трусливая дворяшка, шавка’, ‘хам; трус’ и *rover* ‘разбойник, пират’ (распространённая в англоязычном пространстве собачья кличка; ср. русскую кличку *Пират* большей частью для любимцев детворы крупных дворовых кабыздохов, некогда очень популярную, но в последние времена слышимую редко).

Как мы знаем, радикальные (в буквальном для лингвиста смысле) проприативные перекодировки, вроде *Псович* → *Roverovich* / *Curovich*, вовсе не относятся к примерам, исключительным для переводческой практики. Лаура, скажем, Сальмон, переводившая книгу Сергея Довлатова «Зона. Записки надзирателя» на итальянский язык, считает особенной своей творческой заслугой замену единично встречающихся там фамилий *Райзман* и *Коган* на *Rabinovič* и *Abramovič*: «для того, чтобы они стали столь же „говорящими“ для итальянского читателя и в то же время не теряли свою марку „русских фамилий“» [Сальмон 2002: 116]. Нам трудно судить, достигла ли переводчица своих целей, но её эксперименты не кажутся достойными поощрения и всяческого подражания, особенно если вспомнить авторское предуведомление к «Зоне»: «Имена, события, даты — всё здесь подлинное. Выдумал я лишь те детали, которые несущественны. / Поэтому всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный

---

**Устинья Наумовна.** А *Псович*, так *Псович*; что ж, это ничего, и хуже бывает, бралиянтовый» — «Свои люди — сочтёмся»). Между прочим, некоторые театральные критики («Восточно-Сибирская правда», 30.12.1999; «Молва. Независимая газета» [Самарская обл.], 10.10.2002) и филологи (обнаружено в интернетской Хронике МАПРЯЛ) уверены, что имя-отчество, смоделированные Колумбом Замоскворечья, так и выглядят: *Сысой Псович*.

домысел — непредвиденным и случайным». И даже если догадаться, что Довлатов, аттестуясь безупречным документалистом, на самом деле слегка лукавит, — не слишком ли назойливо переводчица просится в редакторы-правщики-соавторы? При okazji нужно будет поинтересоваться, как поступила она с фамилией *Шлафман*, появившейся на последней странице «Зоны»; здесь для замены сгодился бы антропонимический ярлык *Најтмовић*, тоже весьма эксплуатируемый в русских еврейских анекдотах. Легко ли, далее, среднеобразованный итальянский читатель, не способный опознать в Когане еврея, отличает от русских фамилий, например, фамилии украинские, при том что у Довлатова последние иной раз могут быть «говорящими» не только с тем ограничением в понимании термина, к какому прибегла Л. Сальмон: один только «оперуполномоченный *Долбенко*» чего стóбит. Нет вопроса в том, входило ли в намерения Довлатова нагнетание еврейских фамилий «из анекдотов». Точно не входило, иначе вместо *Райзмана*, *Когана* и примкнувшего к ним *Шлафмана* в довлатовском тексте мы таки нашли бы *Рабиновича*, *Абрамовича* и *Хаймовича*, а самого автора имели бы основания держать не в хороших писателях с внимательным взглядом и отменным слухом, а всего лишь в мелкотравчатых зубоскалах. Утверждение теоретизирующей переводчицы, что применяемый ею метод «является идеальным средством перевода Л<ичных> И<мён> сатирических и юмористических текстов» [Там же], пусть останется её внутренним убеждением (тем более что вряд ли сам Довлатов числил себя по ведомству «сатиры и юмора»). Нам же представляется, что переводческий инструмент, настойчиво, не без саморекламы рекомендуемый Лаурой Сальмон<sup>22</sup>, должен применяться с чрезвычайной осторожностью. В силу

---

<sup>22</sup> И блистательно использованный, например, выдающимся переводчиком Николаем Михайловичем Любимовым в работе над «Гаргантюа и Пантагрюэлем». С творческим опытом Любимова теоретик Сальмон, судя по библиографии в её книжке, даже не знакома.

ограниченности любого опыта, переводческого в том числе, слишком велик риск переаострить акценты, сместить ракурс, внести в текст не предусмотренные автором прагматические и содержательные моменты, не заметить культурных «подводных камней».

Наконец, коснёмся несомненных переводческих неудач в иноязычных версиях «Понедельника», к которым мы, собственно, и вели.

Выше относительно проприальной формы *Один* мы предложили несколько этимологических объяснений, которые в порядке убывания их вероятности располагаются так: (а) заимствование из древнескандинавского теонимикона (*Óðinn*) — на глазок надёжность оценивается цифрой в последнем полудесятке процентов, выше 95%; (б) производное от собственного гипокористического личного имени \**Одя* — маловероятно; (в) производное, через ступень личного прозвища, от нарицательного *ода* — крайне маловероятно; (г) перенос в антропонимию числительного *один* без каких-либо формальных изменений — вероятность, по-видимому, нулевая: оправдательных аналогий не нашлось.

К нашему удивлению, именно этот последний вариант, который не заслуживал, казалось бы, ни малейшего внимания, и был отражён по меньшей мере в двух переводах повести «Понедельник начинается в субботу» на иностранные языки. В польском переводе Ирены Пётровской Саваофу Бааловичу *Одину* сообщена «полонизированная» фамилия *Jeden*, а в американском — «англизированной» *Uni*, полученная вычленением из сложных слов, начальный компонент которых отвечает русскому *одно-* или *едино-* (в сложениях типа *unilateral, uniformity*)<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Ср.: «Но потом пришел их главный — Саваоф Баалович *Один*, — и меня сразу отодвинули от машины» — (польск.) «Wkrótce jednak przyszedł ich najwyższy zwierzchnik — Sabaoth Baalewich *Jeden* — i natychmiast przestali zwracać na mnie uwagę» — (англ.) «But then the chief arrived, a certain Savaof Baalovich *Uni*, and I was immediately displaced from the machine».

И та и другая замена были вызваны похвальным стремлением переводчиков сократить дистанцию между русским текстом Стругацких и языковым опытом иноязычного читателя. Но выстрелы оказались мимо цели, более того, замены привнесли в текст повести болезненные стилевые и содержательные возмущения. Благие намерения переводчиков не были подкреплены, с одной стороны, должной ориентацией в механизмах, закономерностях и тем самым в реальных возможностях личной проприальной номинации в русской языковой системе и, с другой, минимально необходимой осведомлённостью об ономастическом корпусе наиболее известных мифологических систем древней Европы (в данном случае — германоскандинавской).

Поверхностная критика переводов удовлетворилась бы этим простым упреком — в неведении.

Действительно, в иноязычных переложениях «Понедельника» то и дело встречаются ошибки, коренящиеся в отсутствии у переводчика знаний, необходимых для интерпретации данной ситуации.

Например, во второй главе Истории первой, есть фраза: «В прошлом сне это был третий том „Хождений по мукам“». Русскому читателю сразу же понятно, что речь идёт о трилогии Алексея Николаевича Толстого: в русской литературе никаких других триптихов, тетраптихов и т. д. с таким названием, по-видимому, нет. В читающей англоязычной среде сочинение А. Н. Толстого существует под названием «*The Road to Calvary*»; перевод неточен, поскольку отсылает не к чрезвычайно популярному на Руси и лишённому такой популярности на западе апокрифу «Хождению Богородицы по мукам»,

---

В других, более поздних переводах на те же языки дела обстоят лучше: соответственно используются фамилии *Odyn* (уже в написании, присвоенном польской орфографической практикой скандинавскому богу-громовержцу) и *Odin* (честная, хотя тем самым и ущербная, транслитерация русского написания — в свою очередь тоже транслитерации).

но к представлению о крестном пути на Голгофу. Отвлечёмся от того, что укрепившееся английское название навязывает оценку исторических событий, отражённых в сочинении «красного графа», несколько отличную от авторской (заключительная книга трилогии рисует хоть и «Хмурое...», но всё же «...утро»: явно не Голгофа). Судя по английскому тексту «Понедельника», Л. Ренен или с переводом трилогии А. Н. Толстого на английский не сталкивался (нужно ли, если может читать в оригинале?), или принятого перевода её названия в памяти не держал, поскольку цитированную выше фразу представил как «In the last dream, it was the third volume of *Lives of the Martyrs*». Известное конкретное переводное беллетристическое сочинение «*The Road to Calvary*», имеющее автора и (в оригинале, конечно) время от времени «проходимое» в русской общеобразовательной школе, заменилось неопределёнными, широко трактуемыми «житиями мучеников». Но ничуть не лучше дела в немецком переводе «Понедельника» работы Г. Бухнера, который, как мы уже отметили, располагает несравненно бóльшими познаниями в области русской филологии. В этом эпизоде они тоже показаны, но как-то односторонне. Об апокрифическом «Хождении Богородицы по мукам» Бухнер слышан, а о куда более знаменитой в СССР трилогии «Хождение по мукам» — почему-то нет. В его переводе обсуждаемая фраза («в прошлом сне...») выглядит так: «Im vorigen Traum war es „*Der Leidensweg der Gottesmutter*“». Специалист, вспоминается, подобен флюсу. В Германии даже специалисту по советской литературе, которому триптих известен под коротким названием «*Der Leidensweg*», опознать его в этой фразе трудно (так сказать, *Gottesmutter* не велит; заметим, кроме того, что выпущено указание в оригинале на третий том сочинения), «простой» же читатель будет дезориентирован, включив её в насмешливо-мифологические контексты Стругацких как приметно инородное вкрапление.

В том же эпизоде повести Стругацких таинственный голос, исходящий из туманного зеркала, произносит: «Вскоре очи сии, еще не

отверзаемые, не узрят более солнца, но не попусти закрыться оным без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве... Сие есть „Дух или Нравственные Мысли *Славнаго Юнга*, извлеченныя из nocturnal его размышлений“. Продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова по два рубля в папке». Не подозревая о том, что цитируется — заметим, со ссылкой! — реальное философско-дидактическое творение вовсе не безвестного английского поэта и критика Эдварда Юнга (Edward Young, 1683–1765) «*The Complaint; or Night Thoughts on Life, Death and Immortality*», вышедшее в Санкт-Петербурге в 1798 году по-русски (документально точное название русского издания и сведения о местах продажи — в цитате выше), болгарский переводчик «Понедельника» превратил *Славнаго Юнга* в «славного юнгу»: «Това е „Дук<sup>24</sup> или Нравствени мисли на славния юнга, извлечени от nocturnal му размишления“». Переводчику оказалось не под силу сообразить, что «мальчишка корабельный» [Даль<sub>2</sub> IV: 667], отягощённый житейской мудростью, рвущийся поделиться ею с современниками, издающий философские книги и тем снискавший уже международную славу, — фигура со всех сторон экстраординарная, если не невозможная. А увидеть в буквенной последовательности *Юнга* запись имени собственного ему обидным образом помешало обилие прописных в начертании заведомо апеллятивных слов, в чём русская библиографическая справка следует английскому образцу: инерция восприятия слов как апеллятивов была распространена и на проприальную единицу.

Конечно, дело не только в неосведомлённости. Даже в том труднопредставимом случае, когда сам переводчик обладает всеми

---

<sup>24</sup> Sic. Природу этого лексического знака нам прояснить для себя не удалось. Повторяющаяся во всех интернетских воспроизведениях текста опечатка? Ориентация на название самого известного сочинения Макьявелли: болг. дук ‘герцог’, хотя книга в болгарском читательском обиходе известна как «Принцът» или «Князьт»? Эпиграф к настоящему очерку (см.) не в последнюю очередь связан именно с данной загадкой.

нужными, энциклопедического толка, знаниями, чтобы не допустить ошибок, о которых только что говорилось, читатель перевода, не связанный с культурой, стоящей за первичным текстом, обречён иметь дело с текстом ущербного в разных отношениях качества, всегда оставляющим «когнитивные зазоры»<sup>25</sup>. Например, английскому и американскому читателю фраза «For the section titled „Our Veterans“, there was an article by Cristobal Junta, „From Seville to Granada in 1547“» говорит только о том, что в рубрику «Наши ветераны» стенной газеты НИИЧАВО ветеран института Кристоаль Хунта предложил свою статью «От Севильи до Гранады», где, скорее всего, делится воспоминаниями о каких-то испанских событиях середины XVI века, в которых принимал непосредственное участие. Всё. Никакой перевод не сообщит того, что стоит за оригинальным русским текстом. Что *от Севильи до Гранады* — строчка из стихотворения Алексея Константиновича Толстого, точнее, из прилипчивой песенки П. Чайковского на эти стихи. Что, будучи цитатой, она воспринимается чуть ли не в пародийном ключе, напоминая названия военных мемуаров, романов и фильмов, построенные на формуле «от (топоним) до (топоним)» (например, «От Путивля до Карпат» командира партизанской дивизии Сидора Ковпака или «От Волги до Веймара» полковника вермахта Луитпольда Штейдле)<sup>26</sup>. Что приглянувшееся

<sup>25</sup> См.: [Воскобойник 2004; Куницына 2011].

<sup>26</sup> Углубившись в семантику синтаксической схемы «от (топоним) до (топоним)», нетрудно обнаружить, что мы сталкиваемся по сути с двумя омонимичными формулами. Тип *от Путивля до Карпат*, *от Буга до Вислы* (название фильма 1980 г.) — «векторно-событийный», обращённый к некоему протяжённому во времени действию, имевшему начало в точке *A* и завершившемуся в точке *B* (путешествие, военный бросок и т. п.). Тип же *от Волги до Дона* (название песни на слова Анатолия Софронова про «Цимлянское море» и про то, как гудят провода), *от Москвы до самых до окраин*, *от Калининграда до Владивостока* — «невекторный, охватный, ареальный», указывающий на вневременные пределы некоей цельной в том или

Чайковскому стихотворение А. К. Толстого называется «Серенада Дон Жуана» и, таким образом, заголовок, которым Кристоаль Хунта снабдил свой мемуар, приобретает довольно двусмысленный характер<sup>27</sup>. (Можно, наверно, добавить, что не менее известным стихотворением М. Светлова *poem loci Гренада* эстетизировано в героико-ностальгическом цвете<sup>28</sup>.) Всю эту фоновую семантику и прагматику прямой перевод отражать не может в принципе. Многие смыслы, скрытые в оригинале, можно приоткрыть лишь в подробном комментарии или вольном пересказе. От претензий передать читателю

ином отношении территории. Выражение *от Севильи до Гренады* у А. К. Толстого реализует второй, «охватный» тип; у Кристоаля Хунты — похоже, первый, «векторный» (к такому осмыслению толкает наличие при нём даты), но не исключается и иное понимание.

<sup>27</sup> На более ранних страницах в дружеской болтовне с Кристоалем Хунтою заведующий Отделом Линейного Счастья НИИЧАВО маг Фёдор Симеонович Киврин цитировал «Серенаду» («М-много крови, много п-песен за п-прелестных льётся дам... К-как это там у вас?..»), но это только усугубляет двусмысленность. Ибо, во-первых, вряд ли в статье, предназначенной для публичной стенной печати советского периода, речь может идти о сражениях за сердца прелестниц, во-вторых, нужно припомнить, что в молодости Кристоаль Хунта состоял в дружине Карла Великого, поставлял ему боевых китайских драконов, специально натасканных на мавров, хотя и дезертировал позже по несогласию с императором в вопросе о выборе противника. Кроме того Хунта долгое время был Великим Инквизитором и до сих пор в институтском виварии практикует опыты на животных, очень деликатный намёк на каковые обстоятельства, возможно («К-как это там у вас?..»): под *вами* имеется в виду вовсе не соавтор Чайковского), заключил добрейший кудесник-врачеватель Ф. С. Киврин в стихотворную цитату с упоминанием *м-многой крови*.

<sup>28</sup> Литературоведы и другие трактовщики навязали отождествление его с цветом большевистских знамён, но на самом деле в стихотворении героизируется махновщина. Михаилу Аркадьевичу это не помешало в конце жизни удостоиться Ленинской премии.

всю многослойность текстовой семантики, включая аллюзивные связи, коннотативные ореолы и проч., переводчик должен сознательно отказаться.

Причина переводческих ошибок вроде польск. *Jeden* и англ. *Uni*, нем. *Leidensweg der Gottesmutter* и болг. *славен юнга* — не столько незнание само по себе, сколько, так сказать, неосознанная установка на незнание. Иначе говоря, причина таких погрешностей — в излишне доверчивом отношении к внешнему сходству, за которым в запертое сознание переводчика не просачивается мысль о возможных внутренних различиях, о том, что тексту может быть свойственна культурная многокодовость и что в ситуациях, подобных обрисованному, от него, переводчика, требуется повышенная насторожённость и, в целях последующего выбора, скрупулёзный пересчёт всех допустимых интерпретаций, сколь маловероятными ни казались бы какие-то из них. А также безусловная готовность к поиску и принятию нового знания: нелюбопытство у переводчика граничит с профессиональной непригодностью.

Важным свойством манеры, воплощённой Стругацкими в повести «Понедельник начинается в субботу», является фабульная и стиливая игра с откровенным смещением реалий, имён и институций, принадлежащих разным культурам и эпохам<sup>29</sup>. Ведьмы, которые диктуют телефонограммы, щуки, которые не верят в радиотехнику, неразменные пятаки чеканки 1961 года, офсетные копии «*Malleus maleficarum*», гекатонхейры, согревающиеся игрой в снежки, милиционеры и привидения, уравнение Стокса и попугаи-контрамоты, летательные мётлы и второй принцип термодинамики, звезда Соломона и неведомый Белый Тезис... Русская сказка и «Упанишады», алхимическая терминология и жаргон программистов, Паскаль и стенгазета, французские цитаты из «Войны и мира» в косноязычных

---

<sup>29</sup> В повести «Сказка о тройке», которая служит продолжением «Понедельника», эта манера ощутима в гораздо меньшей мере.

словоизвержениях проходимца Выбегаллы и украинская *правдóчка*, *ото як копають мак*, лютый советский канцелярит, пересыпаемый прибаутками из фразеологического репертуара цыганок-хироманток... Вся эта мешанина уже сама по себе должна настраивать интерпретатора (читателя, переводчика) на мысль о том, что на любом повороте его может ожидать подвох, что каждую минуту есть опасность демонтировать участок текста с помощью не того кода, не опознать явление иной культуры и намёк на него вписать в константы культуры своеязычной. Но, как нетрудно увидеть, и эта вполне наглядная, заданная с самого начала особенность текста Стругацких далеко не всегда становится серьёзным предупредительным моментом. Многокодовая содержательная структура сочинения, обманчиво «нивелированная» его рождением и существованием в пространстве русского языка и «окормляемой» им культуры, для интерпретатора оказывается опасностью, которая только усугубляется при трансляциях текста в иные языковые и культурные координаты. Нераспознавание в первичном тексте культурообусловленных смыслов в лучших случаях имеет следствием их недонесение до читателя, в худших — «компенсируется» приписанием тексту не существующих в оригинале, неадекватных ему смыслов, сопряжённых со словом чужого языка и живущих в другой культуре.

Вторичный текст, каковым является перевод, никогда не может быть эквивалентным оригиналу. Возможность безущербного диалога культур, инструментом которого призвано быть переводческое искусство, — увы, один из чересчур благостных культурных мифов.

ОЧЕРК ВТОРОЙ

***Все боги, жена монаха и конь, имеющий копыта,  
или Как из кислого молока делают свежее***

Всегда я рад заметить разность...

*Пушкин*

Сходная проблема, состоящая в безрефлекторной установке интерпретатора текста на незнание и в переоценке близости соприкасающихся культур, может быть рассмотрена на ином материале. Как область, где вариативность текста напрямую зависит от влияния культурных факторов, должна быть трактована диалектная толковая лексикография. Лишь на невнимательный взгляд эта сфера представляется далёкой от того, что стало предметом рассмотрения выше, в «очерке первом».

Здесь мы также констатируем наличие текстов первичного и вторичного, функционирующих в различающихся культурных пространствах<sup>30</sup>. В отличие от ситуации, затронутой выше, в областных

---

<sup>30</sup> О некоторых понятиях, которые используются здесь (без предварительных определений и не всегда строго), см., в частности: [Текст 1989] (особенно гл. III «Национально-специфическое в межкультурной коммуникации»: 71–102). Однако основное понятие, развиваемое в указанной монографии и заимствованное у К. Хейла [Hale 1975] — «лакуна», «гар», — проблему межкультурных несоответствий характеризует несколько упрощённо. Пробелы и бреши в концептуальной системе языка, на котором создаётся вторичный (в нашем понимании) текст, формируют эту проблему не в первую очередь: они могут и должны быть теми или другими способами компенсированы. Существо дела преимущественным образом упирается как, во-первых, в более фундаментальные различия, касающиеся схемной организации, самой «архитектуры» концептуальных сетей, так и, во-вторых, в

словарях вторичный текст, которым являются словарные толкования, формируется не как иноидиомный эквивалент первичного (текстуальные диалектологические записи и отдельные слова и словосочетания с возможными, но не гарантированными пояснениями информанта), а как текст интерпретативный, не конгруэнтный первичному и воплощаемый иными средствами того же этнического языка (с помощью единиц литературного идиома, не тождественных диалектным).

Составитель областного словаря является, как правило, носителем культуры, лишь частично совпадающей с культурой, которую отражает объект описания (диалект). Первая из них — это в наше время высокотехнологичный городской стандарт общеевропейского кроя, обслуживаемый наддиалектными формами языка, мало зависящий от внешних «натуральных» обстоятельств, хотя, безусловно, помнящий о своей корневой этнической специфике; вторая — намного более консервативная традиция, имеющая заметную локальную специфику, сильно привязанная к природным условиям, хотя и испытывающая значительное влияние со стороны первой.

Однако лексикограф-диалектолог отнюдь не всегда с необходимой трезвостью оценивает дистанцию, разделяющую его («наддиалектную») культуру и культуру, стоящую за идиомом-объектом (данном диалектом или суммой разных диалектов<sup>31</sup>). Более того,

---

соотношения между концептами, устроенные на иных основаниях (в частности, в несовпадения межъязыковых лексических «соответствий» по внутренней форме и их расхождения по не воспроизводимым в ином языке ассоциативным связям).

<sup>31</sup> Суммой — если дело касается создания интегрального диалектного тезауруса типа [Опыт 1852] или [СРНГ]. В этом случае нужно говорить о множественности культур-объектов в данных этнических границах, ср. громадные этнографические различия между, скажем, архангельскими поморами и кубанскими казаками, принадлежащими одному этносу. В связи с труднооспоримым нетождеством субэтнических культур, отражаемым разными

вполне можно допустить, что в подобных случаях некоторые из различий, существующих между культурами, связанными с языком описания, с одной стороны, и с идиомом-объектом, с другой, могут вообще не достигать «светлого поля» сознания лексикографа, что в крайнем, нежелательном варианте приводит к безотчётному отождествлению несовпадающих моментов отражаемых ими «картин мира». Обозначенная ситуация отличается от той, которая реализуется при составлении словаря иного типа — двуязычного переводного: заведомая разница между языками диктует лексикографу особое внимание и к различиям своей и чужой культур (оговоримся: в идеале). Если же дело касается инвентаризации и словарной дескрипции областной лексики, то «своеязычность» описываемого говора может притуплять у исследователя и составителя лексикона остроту взгляда, необходимое чувство дистанции иногда может не сработать, а бессознательная переоценка сходства влечёт за собою ошибочные лексикографические решения (в частности, неточные, а иной раз и совершенно неправильные, толкования лексических значений). Пренебрежение этой опасностью в диалектной лексикографии встречается гораздо чаще, чем кажется со стороны.

Говоря о культурных конфликтах в диалектной лексикографии (скрытых или неосознаваемых составителем словаря), в старых

---

диалектами, удивительно невдумчивым упрощением и даже попросту непониманием предмета выглядит примитивная схема В. Крупы, проецируемая на «целые» языки и культуры (см. [Крупа 1968: 56]); в пересказе У. Эко: «...различие между языками, отличными друг от друга по структуре и культуре, как эскимосский и русский; между языками, сходными по структуре, но различными по культуре (чешский и словацкий); между языками, сходными по культуре, но различными по структуре (венгерский и словацкий); между языками, сходными по структуре и культуре (русский и украинский)» [Эко 2006: 46]. Попутно отметим неловкость выражения «языки, сходные / различные по культуре».

работах [Журавлёв 1983: 80–81; Журавлёв 1988: 89–96] мы уже приводили примеры разной степени «конфликтности».

Сравнительно простодушный, например, случай — толкование фразеологизма курск. *молить корову* в «Словаре русских народных говоров»: ‘обряд моления за отелившуюся корову и телёнка, совершаемый старшей женщиной в доме’ [СРНГ 14: 350], где опущено имевшееся в источнике (и подтверждаемое множеством аналогичных описаний) указание на непременною и главную составляющую сложного, образуемого несколькими звеньями ритуала — приготовление каши на молоке очистившейся после отёла коровы и семейную трапезу, со скармливанием части каши новотёлке. Ритуал «моления коровы» представляет собою не столько молитву, как то «извлекается» из его диалектного наименования, сколько именно трапезу, в которую исторически трансформировалось древнее жертвоприношение (ср. *молить* ‘колоть, резать (скотину, птицу)’, *моленина* ‘убоина’, фразеологизмы *молить кашу*, *молить сыры*, *моленая кутья*, *моленое пиво*, *за семь верст киселя молить* и т. п.). Жестоко урезанное толкование ‘[словесная] молитва, обряд моления (за...)’, с исключением важнейшего компонента ритуала, вызвано отсутствием интереса к тому, как эту фразеологию истолковывали предшественники<sup>32</sup>, и автоматическим перенесением на ситуацию, чуждую культурным навыкам и представлениям лексикографа, единственного значения глагола, функционирующего в литературном языке (над или даже «мимо»-диалектная формация) и современной стандартизованной культуре<sup>33</sup>.

Случай же поистине вопиющий — толкование в двух сибирских региональных словарях [Бухарева — Фёдоров 1972: 130; Новосибирский

---

<sup>32</sup> См.: [Даль<sub>2</sub> II: 341; Куликовский: 56] — весьма обстоятельные описания энциклопедического характера; [Зеленин 1991 (1927): 92] — где упоминаются «заговоры», но лишь беглой фразой в конце развёрнутого описания ритуала.

<sup>33</sup> См. ещё: [Иванов 1960; ЭСРЯ МГУ 10: 279–280, ст. **Молить**].

словарь: 346] обрядового термина-фразеологизма *обыдённая рубаха*. Он иллюстрируется следующей диалектной записью: «Трясовица [лихорадка. — А. Ж.] раньше ходила, так женщины в один день лён намали, напряли и рубашку сшили, это *обыдённая рубаха*». Более чем прозрачный контекст должен был натолкнуть составителя словарной статьи на мысль о том, что описываемая реалия народного быта представляет собою нечто особенное, культурно отмеченное. Диалектное прилагательное *обыдённый* практически везде регистрируется в значении ‘однодневный, изготовленный в течение одного дня’, которое нередко сопровождается коннотативной семантикой ‘обладающий сакральной чистотой, позволяющей использование (данной реалии) в ритуальных, катартических целях, в частности при эпидемиях и эпизоотиях’, ср. *обыдённый храм*, *обыдённое полотенце* и т. п. (см.: [Зеленин 1911 (1994); Журавлёв 1994: 119–121]. Между тем в упомянутых словарях выражение *обыдённая рубаха* получило изумляющее профаническое толкование ‘рубашка, быстро и просто сшитая из домотканого полотна для повседневной носки’, — при том что в русских диалектах значение ‘повседневный, заурядный, будничнейший’ у распространённого едва ли не повсюду слова *обыдённый* или его производных встречается исключительно редко (см., например: [Липина 2004: 53]) и, что для историка вопроса не подлежит сомнению, своим существованием обязано очень позднему усвоению из литературного языка<sup>34</sup>.

В приведённых примерах «своеязычие» диалекта заслонило в глазах лексикографа различия между элементами его (стандартной) культуры, вербально обнаруживающей себя в литературном языке, и культуры традиционной. Истоки ошибочного толкования — не в неосведомлённости о тех или иных народных обычаях и традиционных

---

<sup>34</sup> Позднее значение ‘праздничная одежда’, формулируемое для слова *обыдёнка* (так!) в уральском говоре [СРНГ 22: 291; запись 1965 г.], соотносится с изначальной культурной маркированностью «обыденных» реалий.

установлениях, уже потерявших силу (хотя незнание, как можно судить, имеет место), но прежде всего в неосознании разности культур, несовпадения их элементов, даже если последние характеризуются близостью их лексических обозначений, в недооценке того обстоятельства, что обладание общим кодом в его наружных проявлениях отнюдь не свидетельствует об идентичности культур: тождество на поверхностно-лексическом уровне далеко не предполагает сходства концептов, стоящих за формально совпадающими единицами территориального диалекта и литературного идиома.

На весьма многочисленные несоответствия подобного характера в своём анализе СРНГ обращает внимание А. Б. Страхов. Сошлёмся на некоторые его разборы.

Фразеологизм переясл. влад. *взять вверх* (1848) получил в словаре толкование 'взять из деревни (из низов) в прислуги, в горничные, в услужение' [СРНГ 4: 81]. Здесь противопоставлению 'верх' : 'низ' составители словаря приписали социальное звучание (статус «горничной», стало быть, выше статуса «сельского труженика», «землепашца» и проч.), в то время как имелось в виду перемещение крепостного, состоящего в дворне, по господской воле «из людской, помещавшейся на нижнем этаже, на барский „верх“, в барские покои, в горничные или лакеи» [Страхов 2008: 218]<sup>35</sup>; ср., в дополнение к цитированию Страховым «Детства» Толстого: «Вавило же был мальчиком *взят в верх*, то есть в услужение господам...» (Л. Н. Толстой, «Хаджи-Мурат») и даже «...желая отличить от прочих новую любимицу, вдруг *взяла ее в верх к себе* и сделала камерюнферою...» (А. А. Нартов, «Рассказы о Петре Великом», 1785–1786); ср. также *наверх*: «У нас *Марфушу взяли наверх*, в барский

---

<sup>35</sup> Замечание тем более уместное, что *верхи* противоплагаются *низам* в конструкции не только барских, но и крестьянских домов (там, где распространены двухъярусные постройки, — на русском Севере, на Дону), что регистрируется и в материалах [СРНГ 4: 158 и др.].

дом, в девичью, в прислугу» [Даль<sub>2</sub> I: 183]. Действительно, подразумевается движение по лестнице, но не столько социальной — перепад не такой значительный, как живописует словарь («из деревни в...»), — сколько физической, ведущей в бельэтаж; отметим также, что пространственная семантика у *наверх*, приведённого Далем, ошутима намного сильнее, чем социальная.

Другой пример (см.: [Страхов 2004: 299]). Руководствуясь значениями ‘обжигать на огне’ и ‘выжигать весной прошлогоднюю траву’ у глагола *опаливать* и располагая архангельским текстом «Житники опаливали в крупниках», автор словарной статьи с этим глаголом в заголовке, понимаемым как производное от *палить* ‘жечь’, приписал ему третье значение — ‘печь [= испекать]’ [СРНГ 23: 231]. Но операция «опаливания житников» к обработке теста огнём отношения не имеет: речь идёт о способе вымешивания теста путём многократного подбрасывания на крупнике — специальном деревянном ковше. А глагольная форма *опаливать* в этом употреблении составляет аблаутную часть словообразовательной парадигмы глагола *полоть / полать*<sup>36</sup>, который показывает терминологическое сближение двух внешне сходных хозяйственных приёмов — веяния зернового хлеба с помощью подбрасывания и вымешивания теста указанным способом. Народной материальной культуре в статье **Опаливать** искусственно сообщены внутренние связи и смыслы, ей не присущие. Причина явления лежит в ложном убеждении о приоритетности семантики, хранимой словом литературного языка, что не дало внимательнее оглядеться окрест и привлечь идею межгнездовых формальных наложений. Иное устройство традиционной культуры и связанного с ней локального словаря оказались недооценёнными.

К «выявлению» несуществующих фактов материальной народной культуры диалектографа может приводить буквалистское понимание

<sup>36</sup> Об этимологическом единстве ряда см.: [Фасмер III: 307, 317].

фразеологизмов-гипербол. Так, из полевых записей «О двух рук жала», «По тринадцать гектар один у нас мужик сеял. Один такой был, с обеих рук сеял» авторы областных словарей извлекли фразеологизмы *о двух рук* и *с обеих рук сеять* и истолковали их соответственно как ‘двумя руками’ ([Словарь Приамурья: 259]; с малозначительными изменениями повторено в [СРНГ 35: 238]) и ‘разбрасывать зерно на пашне с помощью обеих рук по очереди’ [Новгородский словарь 10: 50], по-видимому, не вполне адекватно представляя себе технологию жатвы и традиционного ручного сева. Значение фразеологизмов (а во втором случае и наружное устройство) следовало сформулировать иначе: *о двух рук* (что-л. делать), *с обеих рук* (что-л. делать) — ‘(делать) с ловкостью, значительно превосходя других в скорости и производительности работы’. Ср. вторичные значения наречия *оберу́чь* — ‘прилежно, усердно, охотно’ (сев.-двин., перм., заурал., [СРНГ 22: 36]) и предложно-именного сочетания наречного характера *в оберу́чи* — ‘жадно, ненасытно (есть)’ (калуж., там же). Причина приведённых ошибок кроется в прямолинейности мышления, в подозрительно-недоверчивом отношении лексикографов к выразительным возможностям диалектной речи, в частности, к её фигуративности.

Нам уже доводилось [Журавлёв 2005: 290] обращать внимание на неприемлемость буквальной интерпретации в СРНГ клишированного контекста со словом *мост*. Из погребального или поминального плача «Наша мамонька во сырой земле, ... Во сыром песке, под чугунным мостом, Под чугунным мостом, под решетчатым» составителями словаря было извлечено значение *мост* ‘металлическая решётка на могиле’ (верхотур. перм., [СРНГ 18: 288]). Напрасный труд выяснять, насколько широко в традиционной севернорусской деревне распространено размещение на могилах чугунных решёток, которое утверждается словарной статьёй, и как именно выглядели эти надгробные сооружения. Многослойная фольклорная символика моста в славянских, и не только славянских, представлениях о смерти и

загробном мире (ср.: *мосты мостити по мертвыхъ*, см.: [Седакова 2004: 224])<sup>37</sup>, своеобразно преломившаяся в цитированном фольклорном тексте, под рукой лексикографа обернулась прямолинейным и безоглядным навязыванием чуждой ему культуре материальных фактов, невероятно далёких от малейшего правдоподобия. Именно насильственной прививкой. И спасти такую словарную статью даже не могла бы отсутствующая помета «фолькл.»: чересчур конкретно выглядит описание «предмета», подчёркнутое осторожно-расширительной заменой маловероятного «чугуна» на уклончивый «металл».

Замечательно осмысление выражения *без числа согрешить* в «Словаре диалектной личности», созданном проф. В. Д. Лютиковой (словаре, по своим научным достоинствам относящемся к категории постыдных). Из текстуальной иллюстрации «Борька один гонят<sup>38</sup> воду, а остальные пьяны, *без числа согрешили*» лексикографом выведено значение ‘безответственно отнестись к работе’ [Лютикова: 8]<sup>39</sup>. Предложно-именная конструкция *без числа* ассоциирована составительницей словаря с литературным наречием *бесчисленно* ‘несчислимо, в большом количестве, без меры’, а коли речь вообще идёт о нерадивости в делах, то это неодобрительное суждение, по мнению

<sup>37</sup> Из огромной литературы на эту тему см., например: [Соболев 1913: 115–117; Элиаде 2000: 340–341; СД 3: 303–307, ст. **Мост**].

<sup>38</sup> К сожалению, в нашей региональной лексикографии укоренилась чрезвычайно скверная манера давать текстуальные иллюстрации без ударений, что очень часто влечёт за собой и неверное понимание текста читателем, и невозможность использовать текстовые данные для воссоздания диалектных морфологических парадигм: явное обеднение потенциальных значений словаря. Здесь следует — *гоня́т* ‘гоняет’.

<sup>39</sup> Ещё вопрос, работа ли — *гонять воду*. Ср., с одной стороны, *варить воду* о пустой болтовне (ворон., [СРНГ 4: 331]), *чаи гонять* — и *собак гонять, разгонять облака*, с другой. Во всяком случае это не *гонять воду* — «обычай посылать невесту во время вечеринки у жениха за водой» (смол., [СРНГ 7: 15]); ср. [Куликовский: 16].

лексикографа, сосредоточено именно в глагольной форме *согрешили*. Беда лишь в том, что тут (*со*)*грешить* не содержит оценку степени ответственности за вменённое дело, а «всего лишь» отсылает к самому распространённому и не самому порицаемому в нашем отечестве греху — злоупотреблению горячительным зельем. Истинная же суть осуждения заключена в предложно-падежной форме *без числа* — ‘без оправдательного повода’, то есть непосредственно ‘без оглядки на календарь, не дожидаясь праздника’. Ранее ту же ошибку, трудно замечаемую при чтении лексикона, но серьёзно искажающую интенции говорящего-диалектоносителя, совершили составители Новосибирского словаря и вслед за ними комплектовщики статей в СРНГ, истолковав фразеологизм чулым. новосиб. *напиться без числа* как ‘напиться без меры’ («Водку напьются без числа и бузят» [Новосибирский словарь: 587], с опущением глагола: толкуется только наречное выражение *без числа*<sup>40</sup>). В несколько смещённом употреблении эти выражения связаны с представлениями о праздниках *в числах* и *не в числах*, то есть календарно закреплённых и подвижных, ср.: «Паска поползуха, была *не в числах*, она поползает, то в мае, то в апреле» (пинеж. арханг. [СРНГ 29: 331, ст. **Поползúха**]). Выражения (*быть*) *в числах* и *не в числах* распространены широко, но им не слишком повезло: лексикография, даже в лице Даля, до поры до времени замечала их неохотно<sup>41</sup>. Что же до не оприходованного

<sup>40</sup> Но в повторениях этой регистрации в других словарях [Фразеологический словарь Сибири: 217; СРНГ 20: 76] упущение исправлено: синтагматические ограничения оговариваются. Хотя с ненужным прихватыванием лишку: в первом из этих словарей в синтагматические партнёры, кроме *пить*, *напиваться*, *подвёрстан* ещё и глагол *есть*, сочетания которого с наречной конструкцией *без числа* реальными записями не подтверждены (тягу к такого рода распространениям-обобщениям в диалектографии одобрить никак нельзя).

<sup>41</sup> Досадными недосмотрами, о которых речь, характеризуется не только русское словарное дело: [СПЗБ 5: 443] пропускает фразеологизм *ни ў*

словарями фразеологизма *без числа согрешить*, то он отмечается в сочинениях Д. Н. Мамина-Сибиряка («Бойцы», 1883), Скитальца (С. Г. Петрова, «Сквозь строй», 1902)<sup>42</sup>.

Неверное понимание диалектной лексики и фразеологии, извлекаемой из полевых записей, само по себе есть явление, которое должно квалифицироваться в качестве культурного момента. Межкультурные конфликты имеют место не только при незнании диалектологом тех или иных фактов материальной и духовной жизни носителей говора, при его незнакомстве с теми или иными феноменами социальной традиции, но — и может быть, в первую очередь — недостаточностью собственно языковой компетенции лексикографа.

---

(*вадных*) *числах* ‘в разных числах, будучи переходным праздником’, хотя выделить его из контекста, которым иллюстрируется значение *число* ‘число месяца, дзень’, нетрудно. Похоже, что только под узкосфокусированным взглядом этот диалектный материал может приобретать должное лексикографическое оформление. Его мы находим, например, в уральском этноидеографическом словаре О. В. Вострикова, где учтены фразеологизмы *быть в числе, численный день, числовой день, нечисловой день* [Востриков I: 14], в «Материалах к этнодиалектному словарю полесских хрононимов» С. М. Толстой: «Противопоставляются праздники неподвижные, с фиксированной датой (о них говорят, что они „в числе“, „глядят числа“, „держат число“ и т. п.), и подвижные, с фиксированным днём недели (они „не в числе“, „из числа выступают“, „числа не глядят“, но „глядят дня“ [далее приводятся иллюстрации]» [Толстая 2005: 259]. Ещё из регистраций: [Словарь семейских: 375; Словарь Коми-Пермяцкого округа: 260–261; Словарь Карелии 6: 793; Журавлёв 2004: 427–428].

<sup>42</sup> А. А. Гиппиус усомнился в правильности нашей трактовки, указав на распространенное молитвенное выражение *Без числа согреших, Господи, прости мя*. Мы склонны его сомнения отвести. В цитированном В. Д. Лютиковой диалектном тексте предпочтительнее усмотреть не сохранение в неприкосновенности семантики молитвенного клише, обычно относимого к неопределённо большому числу грехов, накопленных в течение длительного времени, а реакцию на одномоментное событие, когда предложенное нами толкование выглядит существенно более уместным.

Язык нерасторжимо является и субстратом культуры, и её оформителем. Модное понятие «языковая картина (модель) мира» относится не к чисто лингвистическим понятиям: тонкая, не дающаяся в руки сразу индивидуальная сеть параметризации действительности, свойственная каждому отдельному идиому, от этнического языка до идиолекта, есть одновременно и результат и инструмент интеллектуального овладения миром. Выдвигая толкование слова, лексикограф посягает на суждение об устройстве некоего фрагмента действительности, на обозначение места слова и его значения в сложной концептуальной матрице. Искажение семантики слова в словаре тем самым навязывает искажённое представление модели мира — самого масштабного из явлений культуры. Поэтому в разговоре о влиянии культурных установок отправителя текста (здесь — словарных статей и предлагаемых в них дефиниций) на формирование текста и его латентную вариативность чрезвычайно важно иметь в виду языковую компетенцию составителя лексикона.

Простейшим, но далеко не редким событием, когда компетентность диалектолога-словарника входит в противоречие с его задачами, является нераспознавание лексического факта, который нуждается в статейной репрезентации. Всякий, в чьи привычки входит чтение диалектного лексикона с карандашом в руках, обращал внимание на то, что иллюстративные зоны словарных статей суммарно, как правило, существенно богаче лексикой, чем его словник — список словарных заголовков. Многие из областных слов, записанных и встречающихся в текстуальных иллюстрациях, особых словарных позиций не удостоиваются, причиной чему чаще всего заурядная невнимательность составителя, «замыленность» взгляда, вызванная, например, объяснимой в напряжённых условиях его работы психической и интеллектуальной усталостью. Лексикографу, однако, часто не хватает квалификации, чтобы оценить нестандартность семантики известной лексемы, смысловые нюансы, своеобразие лексической сочетаемости и проч. Здесь приводить примеров мы не станем, но

сошлёмся на многочисленные несостоявшиеся вокабулы и пропуски значений, отмеченные нами в рецензиях на некоторые диалектные словари (см., например, [Журавлёв 1996; Журавлёв 2001]).

Интереснее иной случай. В. П. Тимофеев, автор первого в нашей лексикографической традиции словаря нелитературного идиолекта, в предисловии к нему описывает эксперимент по установлению объёма общезыковой лексики, которой владеет носитель обследуемого индивидуального говора (мать составителя). Для контроля был выбран словарь Ожегова; экспериментатор зачитывал слова по этому словарю и получал подтверждение их знания / незнания информанткой, регистрируя степень его точности. Реакцией на слово-стимул *омолодить* было произнесённое респондентом словосочетание *омолодить опару* [Тимофеев 1971: 16]. Что в данном сочетании означает глагол, сам интервьюер не знал, как его осмыслил, нам не сообщил. Ясно, однако, что *омолодить* связано с заквашиванием теста (скорее всего — просто ‘поставить (опару), замесить (кислое тесто)’): в гнезде *молод-* / *\*mold-* семантика ферментации занимает исключительно важное место, ср. *молодое молоко* ‘кислое, простокваша, свежее квашеное’<sup>43</sup> [Даль<sub>2</sub> II: 332], *замолáживать*, *замолодúть* (пиво, мёд) ‘приводить в винное брожение’, о квасе — ‘приводить в кислое брожение’ [Даль<sub>2</sub> I: 604], далее польск. диал. *młodzić się* ‘бродить, скисать’ [Kałłowicz III: 174], кашуб. *młoze* ‘дрожжи’ [Sychta III: 91], словен. *mladiti* ‘замешивать тесто’ [Pleteršnik I: 588]. Но по той, видимо, причине, что в собственный лексический багаж лексикографа глагол *омолодить* ‘заквасить’ не входил, он его благополучно пропустил, ну, может быть, лишь позволил себе мимоходом подивиться вычурности или неожиданной образности соединения слов в неподготовленной речи. Ни самостоятельной позицией, ни в статье **Опáра** глагола *омолодить* в словаре Тимофеева нет, лексико-семантическая лакуна в литературном языке по сравнению с обследованным говором

<sup>43</sup> Мы, во избежание путаницы, написали бы «свежеквашенное».

оказалась невыявленной (а кроме того славянская семантическая изоглосса \**mold-* ‘скисать, бродить’ не расширена курганским свидетельством).

Многих лингвистов, занимающихся составлением диалектного словаря одной территории или говора, как ни странно, мало интересуют лексические богатства других диалектов, накопленные предшественниками и коллегами. Дефиниции, которые при первом приближении кажутся им допустимыми, подвергаются верификации путём обращения к показаниям уже существующих собраний областной лексики и фразеологии нерегулярно, и выбранный вариант толкования оказывается в их глазах единственно возможным, «вторых приближений» не производится.

Уже знакомая нам В. Д. Лютикова, воспользовавшись записанной ею сентенцией «Каждой хочет коня копотного, а жаниха портного», создала словарную статью **Копотный**, где заголовочное слово истолковано как ‘имеющий копыта’ [Лютикова: 70]. Насчёт жениха судить с профессионализмом не возьмёмся, но про коня — мысль совершенно бесспорная: кому же в хозяйстве нужна лошадь без копыт, намаешься с нею не приведи господь (другой вопрос, где таких берут). Но стоило ли такое неприятное гиппологическое соображение того, чтобы дать ему кристаллизироваться в пословице? Не усомнившись в формальной выводимости прилагательного *копотный* из *копыто* (морфонология с акцентологией внимания не задержали), автор словаря сочла излишним справиться у Даля или в СРНГ, не занимались ли уже диалектографы этим словом. Занимались: *копотный конь* арханг. ‘бодрый, бойкий, рьяный, пылкий’ ([Даль<sub>2</sub> II: 159]; там же: *кóпоть* арханг. ‘быстрота, скорость, шибкость, прыткость в беге, скачке, езде’), арханг., волог. *копотный* ‘бойкий, ретивый; горячий (о лошади)’ [СРНГ 14: 296], см. далее *копотеть / копотить*.

В солидный по объёму материала и в целом качественный «Словарь русских говоров Карелии...» входит пять статей с заголовочным

слово *красу́ха*, последняя из которых включает два значения — ‘внешний вид’ и «о том, кто постоянно любит себя, своей внешностью» [Словарь Карелии 3: 15]. Вероятно, именно регистрация этих значений (но скорее только второго из них) заставила составителя словарной статьи прилагательное тихв. *красу́хий* понять как ‘красивый внешне’. Иллюстрация к вокабуле, однако, настраивает на другое понимание: «Был на селе один парень, веснухий такой, все лицо в веснухах было, а волосы на голове рыжухие, как огонь, до чего ж красу́хий парень был». Постоянная или сезонная пигментация лица и оранжевый цвет волос в традиционной русской культуре вообще не относятся к достоинствам человеческой внешности<sup>44</sup>, а здесь подчеркнута кумулируются признаки именно дерматологической и эндокринной аномалии: «в веснухах», «всё лицо», «как огонь», особенно этому служит словообразовательный параллелизм цветowych прилагательных *веснухий* — *рыжухий* — *красухий*. Обращение к другим лексиконам, как, впрочем, и к соседним статьям того же словаря говоров Карелии, подтолкнуло бы к большей осмотрительности в реконструкции значения, поскольку с основой *красух-* / *красуш-* преимущественно связывается негативная («болезненная») семантика: ‘сыпь’, ‘скарлатина’, ‘корь’, ‘золотуха’, ‘крапивная лихорадка’, ‘кровь из носа’ [Даль<sub>2</sub> II: 185; СРНГ 15: 202–203; Подвысоцкий<sub>2</sub>: 223; Ярославский словарь [5]: 87; Иванова: 234; Словарь Среднего Урала II: 60; Словарь Карелии 3: 14–15; и др.], ср., в усугубление ассоциаций, *весну́ха* ‘лихорадка’, ‘желтуха’ [Псковский словарь 3: 116], ‘полудница (‘болезнь, пристающая с полден’)’ [Новгородский словарь<sub>[1]</sub> 1: 119], *весну́шка* ‘лихорадка’ [Воронежский словарь 1: 210], *весна́* ‘желтуха’ [Словарь Сибири 1: 135].

<sup>44</sup> О рыжих, кроме того, известно, что они народ ненадёжный: см. половицы *Рыжий да красный — человек опасный*, *Рыжи да плешивы все люди фальшивы*, *Рыжих и во святых нет*, известную дразнилку *Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой*. См. также [Айрапетян 2011: 67, 171, 297 («Иные люди»)].

В СРНГ, в статье **Простоки́ша**, после значения (1) ‘простокваша, кислое молоко’, сопровождаемого сорока двумя территориальными пометами (слово и значение регистрируются от территории Эстонии до Забайкалья), помещено, со ссылкой на «Труды Общества любителей Российской словесности» (1822), значение (2) ‘свежее молоко’ (волог., [СРНГ 32: 248]). Далее в кавычках следует формулировка значения, как она дана в источнике (кавычки призваны показать читателю, что составители СРНГ отстраняются от формулы источника, находя её либо неясной, либо не согласующейся с современным словоупотреблением): «Молодое молоко». Логика замены *молодой* → *свежий* вполне очевидна. Хотя в синонимических справочниках эти слова уравниваются не всегда, языковой опыт услужливо подсказывает позиции семантической нейтрализации: *молодая листва* — *свежая листва*.<sup>45</sup> Ну а каким ещё может быть «молодое молоко»! По описанному выше казусу с несостоявшейся в словаре Тимофеева статьёй *омолодить опару* мы уже знаем, что ‘прокисшим’, а составитель статьи в СРНГ этого, увы, не ведал, из чего можно заключить, что ознакомление со словарём Даля в прямые служебные обязанности ему не вменяется. И не только с Далем или, что уж совсем роскошь, с вологодским словарём П. А. Дилакторского [Дилакторский: 259], но и с уже вышедшими выпусками собственного же коллективного словаря (статья **Молодóй** с включением словосочетания *молодое молоко* — «Твер., Волог., Новг., Костром.» — написана другим автором)<sup>46</sup>.

<sup>45</sup> Есть ещё донской фразеологизм *как курица по молодому снегу* [Словарь донских говоров 3: 236]. Ср. также диалектные иллюстрации к *свежий* (5) в [СРНГ 36: 227]: «Он на него живой воды брызнул, и стал человек свежий, молодой» (новосиб., фолькл.), «Надя-то с нам же, да свежая еще, а он старый гриб» (Коми АССР).

<sup>46</sup> Нужно заметить, что у составителей СРНГ в данном случае есть возможность формально оправдаться тем, что кое-где в севернорусских говорах словосочетание *свежее (свежéе) молоко* тоже служит названием ‘с кисшего

Невнимание не только к данным других словарей или статьям других авторов в лексиконах, пишущихся бригадно, но и к «своему» (вручённому по производственному плану) картотечному лексическому и текстуальному материалу, который подвергается анализу «по соседству», может быть даже, в один присест, очень заметно во многих статьях СРНГ.

В этом словаре выделены омонимы **2. Байда́к** (1) ‘озорник, буй; дурак’ (*бить байдаки* ‘слоняться без дела, бить баклуши’), (2) «ругательство»<sup>47</sup> и **3. Байда́к**, *á, м*, ‘нетель’ [СРНГ 2: 53]. Основанием для последней статьи стала диалектологическая запись, сделанная в Томской области: «Байдаки — нетели». Лексикограф, создавший статью, был совершенно уверен, что полевая запись представляет собою готовое толкование слова *байдаки* и по сути является текстом, который должен, после небольшой кабинетной поправки (замены грамматического числа), предстать в виде самостоятельной словарной позиции. Однако в приведённой фразе более оправданным было бы прочтение иного смысла. Можно предположить, что она была

---

молока’ [Даль IV: 156; СРНГ 36: 227]. Однако это означало бы, что в части статьи — с вологодским примером — толкование, во-первых, построено с достойным порицания использованием диалектной лексики и, во-вторых, по существу дублирует предшествующее значение, а потому излишне. Разумеется, такая попытка оправдаться была бы недобросовестной: «свежее молоко» в цитированной дефиниции, без сомнений, есть «свежее молоко», как оно понимается литературноговорящим.

<sup>47</sup> Здесь мы вынуждены поставить кавычки-ёлочки, чтобы отделить от семантических дефиниций (которые в несловарных текстах помещаются в марровских кавычках, а в словарях типа СРНГ даются «никак») формулы металингвистического содержания («ругательство», «кликча», «подзывные слова» и тому подобные лексико-категориальные квалификации заголовочных единиц), которые значениями не являются. К недостаткам нашей лексикографии относится неразработанность твёрдых эдиционных приёмов необходимого разграничения этих вещей.

произнесена с поясняющей инвективу интонацией, которой на письме больше отвечало бы двоеточие, чем поставленное записывателем тире, и её содержание передаётся примерно следующим образом: «Эти юные коровы — такие, будь они неладны, бездельницы: до сих пор остаются нетелями!» То есть томская запись без каких-либо затруднений могла войти в качестве иллюстрации в предыдущую словарную позицию. Но не вошла. Синтаксическое устройство диалектного текста оказалось понятым неправильно, а слово, сделанное заголовком статьи (3.), с ближайшим словарным материалом (оценочно-поносного разряда) соотнесено не было и рекомендовано как синоним остальным обозначениям ‘ещё не телившейся коровы’ без каких-либо стилистических характеристик. Правда, синонимом по каким-то причинам стало слово мужского рода, подобно тому как незамужнюю женщину называли бы «холостяком». В результате мы имеем очередной семантический фантом, которых в отечественной лексикографической продукции, обращённой к диалектному материалу, в тревожном избытке.

Устойчивое сочетание *становая вода* (статья **Становой** в [СРНГ 41: 56–57]) извлекается из песни гребенских казаков: «Мыла девка карешочки в ключевой воде, Полоскала чисто-начисто в становой воде». Исходя из синтаксического параллелизма *в ... воде — в ... воде* и заподозрив в этой соотносительной конструкции противопоставительную семантику, кроме того, догадавшись, что прилагательное *становой* этимологически связано с глаголом *стать / стоять*, автор словарной статьи сформулировал значение словосочетания *становая вода*: ‘непроточная вода (о воде в пруду)’. Его уверенность не была поколеблена интригующей материально-культурной подробностью: «карешочки» моются в ключевой воде, а окончательно — «чисто-начисто» — выполаскиваются в воде непроточной, застоявшейся. Гигиенические навыки гребенских казаков предстают в несколько неожиданном свете. Между тем в пределах той же словарной статьи, под значением (6) размещено выражение вост.-сиб.

*становя́я щель* ‘не замерзающее зимой место на озере’. Целый ряд частных значений прилагательного *становой* может быть обобщён семантикой ‘основной, базовый, стержневой; стрежевой’, ср. *становой хребет* геогр., *становая кость* ‘позвоночник’, *становой вожак* ‘рыба, за которой идёт весь косяк’ и проч. Применительно к потокам воды *становой* означает ‘главный, устойчивый, постоянный’; если речь о прудах или озёрах, то имеются в виду как раз места с ключами, бьющими со дна и не дающими водной поверхности на таких участках замёрзнуть. Лексикограф, как сказал бы персонаж Булгакова, «соврамши». Поводок, которым составитель статьи привязал себя к картотечному материалу, оказался чересчур коротким.

В затронутом ранее примере со словом *копотной* мы столкнулись со случаем, когда установление реального значения слова в диалектном тексте затрудняется его сравнительной редкостью, да ещё употребимостью в узком, связанном контексте<sup>48</sup>. Но иной раз лексикограф вынужден описывать фразеологизм или поговорку весьма широкой известности, но в которые информантом внесены мало-вразумительные искажения. Вряд ли В. Д. Лютикова, будучи филологом, никогда в жизни не слышала (не читала) поговорки *За морем телушка полушка, да рубль перевоз* (с вариантами). От своей информантки она записала высказывание *За морем телушка-повлушка, а перевоз дорог* «(посл<овица>)» и пояснение «Хорошая нетелёная тёлка за морем, а попробуй перевези её». Вкладывался ли носительницей идиолекта в слово *повлушка* именно смысл ‘нетель’, можно только бесплодно гадать, но составительница словаря дала ему дефиницию ‘полуторагодовая тёлка’ ([Лютикова: 118]; неясно, откуда

<sup>48</sup> По известной обратной зависимости между степенью парадигматической закреплённости слова как лексико-семантической единицы и степенью его синтагматической закреплённости [Шмелёв 1973: 190]: чем более слово связано синтагматически, тем менее определённым является его место в лексико-семантической парадигме (ср. неясность собственной семантики контекстно несвободных слов типа *баклуши, кулички, тормашки, турусы*).

такая точность в указании на возраст животного). Конечно, автор словаря может заявить: регистрируется осмысление слова носителем говора, лексикограф не должен его подправлять отсебятиной, диалектную словесную материю следует доносить до читателя в нетронутом качестве. Спору нет. Однако обратим внимание на то, что при предложенном В. Д. Лютиковой уразумении слова *повлушка* паремия теряет всю свою сентенциальную («посл.»!) весомость, если не вовсе обесмысливается. Попробуем найти афористический резон в синонимическом («энгионимическом») трансформе \**За океаном полторагодовая коровка, но транспортировка накладна*. Мы ни за что не согласимся, что мысль, передаваемая такой фразой, достойна помещения в коллекцию сокровищ народной мудрости. Так может быть, пословичной *повлушке* в данном информанткой растолковании отвечает прилагательное *хорошая*? Кто знает. Но опасаемся, что и таким подходом проблема лексикографической отсебятины не устраняется.

В словник СРНГ [36: 197] включена не насторожившая составителя, редакторов и рецензентов выпуска вокабула *Сбух*. Всем им оказалось невдомёк, что в иллюстрирующей фразе *На сбухе рожь не вымолотишь* за нелепым этим словом стоит ошибочно прочитанное *обух*, а в самом речении они поленились распознать паремию, входящую в классику своего жанра, — широко известный, воспроизводимый у Писемского, Толстого, Салтыкова-Щедрина, Ключевского и др. фразеологизм *на обухе рожь молотить (...молотит, зернá не уронит)*, который следует верстать в один ряд с идиомами *топором (ломом) подпоясываться, бриться шилом, из блохи голенище кроить, из печёного яйца цыплёнка высидеть, из мякины кружево плести, из песка верёвки вить, с говна пенку снимать* и под. Интерес представляет попытка лексикографа с опорой на скудный контекст истолковать злополучное фантомное слово. Ищущая мысль составителя словарной статьи, столкнувшегося с неизвестной лексемой, из веера пониманий, возможных при таком положении вещей, остановилась

на варианте, наименее близком к реальному: \*сбух — ‘нетвёрдая поверхность’. Не в самую последнюю очередь причиной допущенной несурезицы оказывается нескрываемое недоверие к диалектному слову как свидетельству не иссякающего в народной речи творческого начала. Великолепное плебейское остроумие раблезианского толка низведено лексикографом до склонности к плоскому и унылому назидательству.

Фольклор и его препарирование в областном словаре — это вообще более чем серьёзная проблема.

«Странное толкование и странная статья» — таким впечатлением от статьи **4. Ерма́к** [СРНГ 9: 29] поделился А. Б. Страхов. В недоумение его привело данное заголовочному слову толкование ‘яблоныя в цвету’ — словосочетание, служащее разгадкой суздальской загадки *Стоит ермак, на нём белый колпак*. «Если этак рассуждать, то любым личным именам собственным, которые часто используются в загадках для кодировки предметов и явлений, можно приписать в качестве значения общерусские названия кодируемых денотатов или саму отгадку загадки... Такие статьи могли бы быть уместны в словарях или указателях, специально посвящённых загадкам..., но вряд ли должны включаться в кумулятивный диалектный словарь» [Страхов 2008: 219].

Увы, статья в СРНГ, которая привлекла его критический интерес, — не единственная в своём роде. Более того, областная лексикография превратила конструирование подобных статей в накатанную практику, причём процедурам такой «декодировки» подвергаются не только ономастические единицы, но и апеллятивы. Составители новгородского лексикона тоже не видят принципиальных различий между значением слова и фольклорным энигматическим кодированием. Статья **Ба́ба**<sup>4</sup> оснащена дефиницией ‘соха’ [Новгородский словарь 1: 16]. Повод — загадка про соху: «Стоит баба на дороги, раскорячены ноги, пришел мужик». На этом месте фольклорный текст решительно оборван: особенное целомудрие

новгородских словарников — составителя статьи или ответственного редактора — не позволило привести окончание загадки по причине её похабности (маскируемой, впрочем, тем, что загадка построена, насколько мы знаем её территориальные варианты<sup>49</sup>, без применения лексики, которую определяют поллюболюбившимся у нас термином «обсценный»). То, что у слова *баба* значения ‘соха’ нет ни в одном русском говоре, не очевидно только авторам словаря. Что же до лексикографического жеманства, спровоцированного аллюзивной «репродуктивной» семантикой загадки, то хочется спросить их, можно ли вообразить университетский, скажем, учебник анатомии или физиологии, где вместо внятного, с рисунками и фотографиями, описания детородных органов и их функций читатель найдёт застенчивое отточие: материя, видите ли, деликатная, неудобьсказуемая, в интеллигентном обществе вслух про это не принято.

Но ещё эффектнее, и по части уяснения фольклорного текста, и по части целомудренности составителя, статья **Раздвижка** в [СРНГ 33: 321]. Скабрёзное — и, кстати сказать, пользующееся достаточной известностью — энигматическое выражение *книжка-раздвижка в волосяном переплете* (для непосвящённых и страдающих недогадливостью: речь о женских гениталиях) получило здесь восхитительное толкование ‘книжка со складными листами’. Не очень понятно, какую «складность» листов имел в виду толкователь (может быть, гармошкообразность детских картонных книжек-раскладушек), но за то, что книжные переплёты из волос не делаются, можем ручаться<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Один из них: «Стоит баба на дороге, расшепелила ноги, пришел мужик, говорит: Господи благослови (соха)» (Байкал., 1912 [СРНГ 34: 323]). См. также: [Русский эротический фольклор 1995: 385].

<sup>50</sup> Обычно такие загадки имеют две разгадки — пристойную и непристойную: кроме женских гениталий загадка «Книга-раздвига, по краям волоса, а в середке чудеса, придёт беда — пойдёт вода» кодирует «глаз, ресницы, зрачок, слёзы» ([СРНГ 33: 321]; скабрёзная разгадка не упоминается). Они

От проблемы языковой компетенции лексикографов и просчётов в их творческих технологиях вернёмся назад, к собственно культурологическим и этнографическим неадекватностям, просачивающимся в областные словари.

Недостаточная осведомлённость в устройстве традиционной культуры и её локальных вариантов<sup>51</sup> нередко приводит диалектолога-лексикографа к формулированию культурных категорий и явлений вполне призрачных, не обеспеченных никакими положительными основаниями.

---

относятся к особой разновидности внутри жанра, настроенной на обманутое ожидание, и ценятся за остроумие.

<sup>51</sup> Здесь самое место посетовать на ненаходимость в метаязыке этнографов добротного термина, который нужен для замещения пустоты в лексическом воплощении семантического квадрата 'этнический язык' : 'диалект' = 'традиционная этническая культура' : '[её устойчивая локальная разновидность]'. Увы, не единственной: словарь описательной и исторической этнографии такого рода пустотами зияет. Напомним, кстати, что термины *изопрагма* и *изодокса*, представляющие собою культурологические аналоги лингвистическим терминам *изоглосса*, *изолекса* и др. были введены лингвистом (Н. И. Толстым). Этнографы, как можно заметить, до сих пор не испытывают в них видимой нужды: привычка сильнее потребности, идеологию и методологию науки диктует не движение исследовательской мысли, а наличный весьма бедный и недостаточно адекватный понятийно-терминологический аппарат. Вспоминается брюзгливая реакция («Ну зачем это оригинальничанье?») ныне покойного фольклориста и этнографа Э. В. Померанцевой — редактора сборника, в который в 70-х гг. была направлена статья автора, где он предпринял робкую попытку модернизировать терминологию, используемую при описании обрядности, поместив это описание в рамки более широких семиотических представлений и усмотрев несомненную для него изоморфность языка и культуры (в частности, предлагалось формы контактной и имитативной магии рассматривать как культурные аналоги соответственно метонимическим и метафорическим отношениям в лексической семантике). Это при том, что Эрна Васильевна вовсе не была непокладистым ретроградом.

Составители Новгородского областного словаря на основании полевой записи «Монашина меня зовут», сделанной в Демянском районе, сфабриковали статью **Мона́шина**, в которой заголовочное слово истолковано ‘жена монаха’ [Новгородский словарь<sub>[1]</sub> 5: 95]. Трудно представить, что гуманитарий с высшим образованием, практикующий написание словарей, не знает, в чём состоит сущность монашества, и тем не менее с таким уровнем осведомлённости приходится встречаться. У авторов словаря была возможность сопоставить свои материалы с данными [СРНГ 18: 252], где слово *мона́шена* / *мона́шина* (имевшее распространение в севернорусских<sup>52</sup> и в части среднерусских говоров; сейчас его употребительность, видимо, значительно уменьшилась) истолковано как ‘монахиня’ (информантка, сообщившая собирателям новгородской диалектной лексики о своём прозвище, вероятно, дала для него повод образом жизни или внешним обликом, а не принадлежностью к монашествующему сословию). Но даже этой весомой подсказкой они не воспользовались. Правда, в вышедшем недавно однотомном доработанном втором издании лексикона [Новгородский словарь<sub>2</sub>] позорная эта статья выпущена. Не поправлена, что было бы разумно, а именно выброшена целиком, чтобы и памяти о ней не сохранилось. Однако тем самым упразднена информация о регистрируемости слова в нынешние времена, и не только в демянском, но и батецком говоре (о чём была отметка в первом издании); «пользователи» второго издания будут довольствоваться неполными сведениями. Потеря, конечно, не катастрофична, — и всё равно жалко.

В отличие от рассмотренного случая, статью **Собира́ть** во второй эдиции [Новгородский словарь<sub>2</sub>: 1115] переиздатели оставили — и

---

<sup>52</sup> См. ещё: [Словарь Карелии 3: 256]. Попутно заметим, что здесь в иллюстрациях к статье **Мона́шина** фигурируют только формы именительного множественного *монашини*, с мягкостным исходом основы. Верна ли лемматизация?

оставили в прежнем виде, очевидно не обнаружив в ней ничего несовместимого с их представлениями о народной культуре. Речь, впрочем, не обо всей статье, а о помещённом в неё мнимом фразеологизме *собирать всех богов* с фантастическим значением ‘молиться всем богам’. Иллюстрируется этот «фразеологизм» следующим текстом: «Я всех богов собирала, а он всё уделывал, я за верёвки уцапалась» [Новгородский словарь<sub>[1]</sub> 10: 108]. Не будем задаваться сомнением, реальна ли семантическая производность ‘собирать’ → ‘молиться’, не в том дело (хотя и в том тоже). На основании короткого контекста достоверно восстановить ситуацию, которая отражена в рассказе, трудно, но в нём при любом раскладе и намёка нет на некое неизжитое многобожие, констатируемое лексикографом. Составителю статьи не достало сил посмотреть статью **Бог** у Даля или в 3-м выпуске СРНГ, где *бог* (у Даля форма множественного числа *боги*) объясняется как ‘икона’ (‘иконы’)<sup>53</sup>. Мы позволим себе повторить сделанные ранее [Журавлёв 2005: 237] выдержки из разных диалектных лексиконов, которые не оставляют сомнения в правильности иной, чем в Новгородском словаре, трактовки: «Бажница, где багі стáвюцца, ико́ны» [Псковский словарь 2: 61], «Ета бажница, на ей багі стаять» [Брянский словарь 1: 62], «Ены ўсих багоў даўно ўжо павыносили з хаты» [Расторгуев: 46], «У хозяйки возьміте богóф-го, она́ не мо́лицца», «У меня́ прóшлой гóт мужы́к в Ленингра́т увёс одно́го бо́га» [Архангельский словарь 2: 41], «Бага́-та у миня́ ра́ньшэ бы́ли: и

<sup>53</sup> Об этом семасиологическом явлении подробно, с привлечением исторических и инославянских фактов, см.: [Успенский 1982: 10, 118–119]. (Ранее, с достаточным основанием воспринимая соображения Б. А. Успенского в общем контексте его работы — ср. подзаголовок книги: «Реликты язычества...» — мы полемически возразили против уравнивания практики именованья икон богами с идолопоклонством [Журавлёв 2005: 238]. Справедливости ради следует, однако, отметить, что прямых высказываний подобного характера у Б. А. всё же нет.)

Траиру́шница, и Казáнская Багамáтерь — усё куды́-та патиря́лась» [Словарь семейских: 44], «Богоностом был, боги носил» [Словарь Русского Севера I: 126] (в последнем примере выразительна неодоушевлённая форма винительного падежа, обозначающая предмет). Событийные обстоятельства, однозначная реконструкция которых, как мы сказали, по иллюстрации, приведённой в Новгородском словаре, затруднительна из-за неполноты контекста, с достаточной, всё же, вероятностью можно представить, как отъём икон у их владелицы (предположим, в виде некропролитного акта атеистического просвещения). Составитель же словарной статьи по слабой ориентации в бытовом православии и лексике, с ним связанной, был склонен увидеть в информантке некое подобие то ли известной Ярославны, которая в бедственных обстоятельствах обращается ко всем обожествляемым стихиям, то ли, ещё убедительнее, языческого реформатора князя Владимира Святославича, создателя многоидольного капища на Старокиевской горе. Великопафосное «собрание всех богов», однако, плохо совмещается с приземлённой поведенческой деталью «я за верёвки уцапалась». Некритическое распространение узкой в нормированном литературном языке семантики слова *бог(и)* на факты диалектной речи (*бог*, мн. *боги́*, *бога́*) — следствие непростительной самонадеянности носителя «иноидиомных» и инокультурных навыков.

Этнографическому знанию (которое, по нашему мнению, должно быть обязательной составляющей профессионального образования диалектолога) никогда не суждено быть совершенным. Незнакомство с теми или иными явлениями народной культуры, требующими своего отражения в диалектном лексиконе, нельзя считать принципиальными корнями межкультурных конфликтов, возникающих в лексикографической практике: всё знать нельзя. Подобные конфликты могут ослабляться или предотвращаться лишь исследовательской установкой, при которой описываемая через лексику традиционная народная культура трактуется лексикографом в качестве

«чужой», как бы тому ни противилось его сознание, естественно тяготеющее к представлениям о культурном единстве этноса.

## ЛИТЕРАТУРА

Айрапетян 2011: *В. Айрапетян*. Толкуя слово. Опыт герменевтики по-русски. 2-е изд. В 2-х чч. М., 2011.

Архангельский словарь: Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецовой. Вып. 1 – М., 1980 –.

Брянский словарь: Словарь брянских говоров. Вып. 1 – Л., 1976 –.

Бухарева — Фёдоров 1972: *Н. Т. Бухарева, А. И. Фёдоров*. Словарь фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири. Новосибирск, 1972.

Воронежский словарь: Словарь воронежских говоров. Вып. 1 – Воронеж, 2004 –.

Воскобойник 2004: *Г. Д. Воскобойник*. Лингвофилософские основания общей когнитивной теории перевода. Автореферат дисс. докт. наук. Иркутск, 2004.

Востриков: *О. В. Востриков*. Традиционная культура Урала. Этноидеографический словарь русских говоров Свердловской области. Вып. I–V. Екатеринбург, 2000.

Георгиева 1983: *И. Георгиева*. Българска народна митология. София, 1983.

Главнюков 1953: Учебен руско-български речник. Ред. *Е. М. Главнюков*. София, 1953.

Горбачевский 2001: *А. А. Горбачевский*. Оригинал и его отражение в тексте перевода. Челябинск, 2001.

Даль<sub>2</sub>: *В. И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1955 [перепечатка 2-го изд. СПб.; М., 1880–1882].

Дилакторский: *П. А. Дилакторский*. Словарь областного вологодского наречия в его бытовом и этнографическом применении. Вологда, 1902.

Живов 1996: *В. М. Живов*. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.

Журавлёв 1983: *А. Ф. Журавлёв*. Семантика и происхождение слова *обыденный* // *Этимология*. 1981. М., 1983.

Журавлёв 1988: *А. Ф. Журавлёв*. Должен ли диалектолог быть этнографом? // *Русская речь*. 1988. № 5.

Журавлёв 1996: А. Ф. Журавлёв. [Рец.:] Новгородский областной словарь. Вып. 1–12. Новгород, 1992–1995 // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 1996. № 3.

Журавлёв 1994: А. Ф. Журавлёв. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. Этнографические и этнолингвистические очерки. М., 1994.

Журавлёв 2001: А. Ф. Журавлёв. [Рец.:] Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья / Под ред. Т. Б. Юмсуновой. Новосибирск, 1999. 560 с. // Русский язык в научном освещении. 2001. № 2.

Журавлёв 2004: А. Ф. Журавлёв. Материалы к жиздринскому словарю // Материалы и исследования по русской диалектологии. II (VIII). М., 2004.

Журавлёв 2005: А. Ф. Журавлёв. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». М., 2005.

Зеленин 1911 (1994): Д. К. Зеленин. «Обыденные» полотенца и обыденные храмы (Русские народные обычаи) // Живая старина. 1911. № 1 [републикация в: Д. К. Зеленин. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901–1913. М., 1994. С. 193–213].

Зеленин 1991 (1927): Д. К. Зеленин. Восточнославянская этнография. М., 1991 [пер. с изд.: D. Zelenin. Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927].

Иванов 1960: В. В. Иванов. Русское *молить* и хеттское *malda(i)-* // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. I. М., 1960.

Иванова: А. Ф. Иванова. Словарь говоров Подмосковья. М., 1969.

Куликовский: Г. [И.] Куликовский. Словарь областного олонечского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.

Куницына 2011: Е. Ю. Куницына. Лингвистические основы людической теории художественного перевода. Автореферат дисс. докт. наук. Иркутск, 2011.

Липина 2004: В. В. Липина. Опыт этноидеографического словаря русских говоров Свердловской области. Вып. VI. Быт. Ч. 1. Быт: заботы по хозяйству. Обработка волокна и рукоделие. Приспособления для обработки волокна и рукоделия. Волокно, пряжа, ткань. Екатеринбург, 2004 [продолжение словаря О. В. Вострикова, см. Востриков].

Людсканов 1969: А. Людсканов. Принципът на функционалните еквиваленти — основа на теорията и практиката на превода // Изкуство на превода. София, 1969.

- Лютикова: *В. Д. Лютикова*. Словарь диалектной личности. Тюмень, 2000.
- Младенов: *Ст. Младенов*. Български тълковен речник с оглед към народните говори. Т. 1. София, 1951.
- НКРЯ: Национальный корпус русского языка // [www.ruscorpora.ru](http://www.ruscorpora.ru)
- Новгородский словарь<sup>[1]</sup>: Новгородский областной словарь. Вып. 1–12, 13. Новгород, 1992–1995, 2000.
- Новгородский словарь<sup>2</sup>: Новгородский областной словарь. [2-е изд.] СПб., 2010.
- Новосибирский словарь: Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск, 1979.
- Опыт 1852: Опыт областного великорусского словаря. СПб., 1852.
- Петровский: *Н. А. Петровский*. Словарь русских личных имён. Изд. 3-е. М., 1984.
- Подвысоцкий: *А. О. Подвысоцкий*. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. [2-е изд.] М., 2009.
- Попов 2006: *Р. Попов*. Змей // Българска митология. Енциклопедичен речник. София, 2006.
- Псковский словарь: Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–. Л., 1967–.
- Раденковић 1996: *Љ. Раденковић*. Символика света у народној магији Јужних Словена. Београд, 1996.
- Расторгуев: *П. А. Расторгуев*. Словарь народных говоров Западной Брянщины (материалы для истории словарного состава говоров). Минск, 1973.
- Русский эротический фольклор 1995: Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки. М., 1995.
- Сальмон 2002: *Л. Сальмон*. Личное имя в русском языке. Семиотика, прагматика перевода. М., 2002.
- СД: Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 1–5. М., 1995–2012.
- Седакова 2004: *О. А. Седакова*. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. М., 2004.
- Словарь донских говоров: Словарь донских говоров Волгоградской области. Вып. 1–. Волгоград, 2006–.
- Словарь Карелии: Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. Вып. 1–6. СПб., 1994–2005

Словарь Коми-Пермяцкого округа: Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа. Пермь, 2006.

Словарь Приамурья: Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983.

Словарь Русского Севера: Словарь говоров Русского Севера. Т. I–. Екатеринбург, 2001–.

Словарь семейских: Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья. Новосибирск, 1999.

Словарь Среднего Урала: Словарь русских говоров Среднего Урала. Т. I–VII. Свердловск, 1964–1988.

Соболев 1913: Свящ. *А. Н. Соболев*. Загробный мир по древнерусским представлениям. (Литературно-исторический опыт исследования древнерусского народного миросозерцания). Сергиев Посад, 1913.

СРНГ: Словарь русских народных говоров. Вып. 1, 2. М. – Л., 1965–1966. Вып. 3–. Л. (СПб.), 1968–.

Страхов 2004: *А. Б. Страхов*. По страницам *Словаря русских народных говоров* (замечания, поправки, соображения) // *Palaeoslavica*. XII / 2004. № 1.

Страхов 2008: *А. Б. Страхов*. По страницам *Словаря русских народных говоров* (замечания, поправки, соображения): дополнения // *Palaeoslavica*. XVI / 2008. № 1.

Текст 1989: *Г. А. Антипов, О. А. Донских, И. Ю. Марковина, Ю. А. Сорокин*. Текст как явление культуры. Новосибирск, 1989.

Унбегаун 1995: *Б.-О. Унбегаун*. Русские фамилии. М., 1995.

Успенский 1982: *Б. А. Успенский*. Филологические разыскания в области славянских древностей. (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 1982.

Тимофеев: *В. П. Тимофеев*. Диалектный словарь личности. Шадринск, 1971.

Толовски — Иллич-Свитыч: *Д. Толовски, В. М. Иллич-Свитыч*. Македонско-русский словарь. М., 1963.

Толстая 2005: *С. М. Толстая*. Полесский народный календарь. М., 2005.

Толстой 1969: *Н. И. Толстой*. Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды. М., 1969.

Тупиков 2004: *Н. М. Тупиков*. Словарь древнерусских личных собственных имён. М., 2004.

Фасмер: *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1964–1973.

Шмелёв 1973: *Д. Н. Шмелёв*. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). М., 1973.

Эко 2006: *У. Эко*. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб., 2006.

Элиаде 2000: *М. Элиаде*. Миф о вечном возвращении. М., 2000.

ЭСРЯ МГУ: Этимологический словарь русского языка. Вып. 1 – М., Изд-во МГУ, 1963 –.

ЭССЯ: Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1 – М., 1974 –.

Ярославский словарь: Ярославский областной словарь. [Вып. 1–10.] Ярославль, 1981–1991 [номер выпуска, отсутствующий на титульном листе и в выходных данных, обозначен в предисловии к каждому выпуску, кроме первого].

Buck 1949: *C. D. Buck*. A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. Chicago; London, 1949.

Hale 1975: *K. Hale*. Gaps in grammar and culture // *Linguistics and anthropology*. In honor of C. F. Voegelin. Jisse, 1975.

Karłowicz: *J. Karłowicz*. Słownik gwar polskich. T. I–VI. Kraków, 1900–1911.

Krupa 1968: *V. Krupa*. Some Remarks on the Translation Process // *Asian and African Studies*. IV. Bratislava, 1968.

Pleteršnik: *M. Pleteršnik*. Slovensko-nemški slovar. T. I–II. Ljubljana, 1894–1895.

Śl. prasł.: Słownik prasłowiański. T. I –. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974 –.

Sychta: *B. Sychta*. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. I–VI. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1967–1973.

Д. Ю. ВАЩЕНКО (АНИСИМОВА)

**Опыт построения типологии идиостилей  
(на материале словацкой лирики  
второй половины XX века)**

Предметом рассмотрения в нашей статье будут лингвистические средства выражения авторской индивидуальности.

Как правило, лингвистические средства выражения индивидуальности принято описывать в терминах «идиостиль» (ИС) и «идиолект» (ИЛ). Заранее оговоримся, как мы в работе будем понимать данные термины, поскольку в разных исследованиях существуют различные варианты их трактовки. Два этих понятия в любом случае различаются по степени абстракции, проблема состоит в том, приписываем ли мы им обоим синхронный статус либо же проводим разграничение по диахроническому принципу. В первом случае разграничение «ИС : ИЛ» проходит аналогично дихотомии «язык : речь» («глубинная : поверхностная структуры»), и ИЛ, под которым понимается весь корпус авторских текстов, является синхронной реализацией ИС, который при подобной трактовке составляет комплекс конституирующих языковых средств различных уровней, служащих маркерами авторской индивидуальности. Во втором случае мы фактически имеем дело с обратной тенденцией, поскольку ИС, который также наделяется большей мерой абстракции, нежели ИЛ, понимается как более совершенный вариант ИЛ, который вырабатывается у автора в течение жизни [Очерки 1990: 58]. Отдавая должное второму подходу, мы все же принимаем первый, поскольку он больше подходит

для реализации наших целей ввиду его меньшей ориентированности на «мастерство» (фактически на анализ именно прецедентных текстов). В силу этого первая трактовка терминов «ИС» / «ИЛ», с нашей точки зрения, более применима в типологически ориентированных исследованиях лингвопоэтической направленности.

Феномен ИС чрезвычайно многоаспектен и потому предполагает существование различных методов его анализа. Как пишет словацкий лингвист Я. Финдра, исследование ИС может идти в двух направлениях — вертикальном и горизонтальном. При вертикальном подходе «исследование идет от произведения к произведению и каждое произведение анализируют комплексно» [Findra 2004: 234]. При горизонтальном подходе «изучается функциональное использование и частотность определенного средства во всем творчестве автора» [Там же].

Эти две указанные словацким исследователем возможности изучения индивидуальной стилистики находят свое отражение в отечественной лингвистической традиции. Рассмотрение может идти по какому-то одному параметру либо быть комплексным. При горизонтальном подходе исследуется индивидуально-авторское преломление употребления некоторого грамматического средства, ср., например [Большакова 2005; Левина 2005; Голованевский 2006; Бахтиозина 2008]. При вертикальном подходе на первый план выходит комплексный подход к ИС с акцентом на изучение лексических конститuentов ИС [Баевский 2006; Баевский 2008; Варакина 2008]. Вместе с тем лингвистическая традиция чаще рассматривает ИС какого-то одного отдельно взятого автора, чем группы авторов, связанных определенной парадигмой. Авторская индивидуальность берется как абсолютная величина, и все стилемы априори трактуются как выразители индивидуальности именно данного автора. В российской лингвистической традиции это можно связать, в частности, с тем, что анализу подвергаются ИС авторов, чьи тексты являются знаковыми для русской культуры, а значит, их индивидуальность являет себя исследователю как нечто уже признанное и потому аксиоматичное.

Тот же Я. Финдра отмечает, что к области стилистики относятся не только стилистически маркированные средства, но и средства стилистически нейтральные, поскольку маркированность одних проявляется только на фоне немаркированности вторых [Findra 2004: 234]. Соответственно, меру маркированности той или иной стилемы у конкретного автора преждевременно было бы определять вне соотносительности с ИС других авторов. Таким образом, возможен другой подход к рассмотрению ИС — типологический. В этом случае речь будет идти уже не об индивидуальности как таковой, но о мере индивидуальности в определенном соотношении и по определенному параметру. Точнее говоря, при типологическом подходе индивидуальность будет определяться не ракурсом рассмотрения, но комбинацией различных релевантных параметров, при этом конкретный автор по разным параметрам может быть объединен с другими авторами.

Отметим, что типология ИС принципиально отличается от структурной типологии языков как минимум в трех аспектах. Первый состоит в том, что типология ИС представляет собой внутриязыковое и функционально ориентированное таксономическое разбиение, поскольку речь идет главным образом о принципах селекции языковых средств и о специфике их употребления в конкретных текстах. Второй заключается в том, что собственно языковая типология имеет дело с принципиально закрытым порядком изучаемых объектов, в то время как типология ИС применима к принципиально открытому множеству. Данное множество устроено иерархически и в эстетическом плане членится на единицы разной степени прецедентности, однако само количество авторов неисчислимо и к тому же постоянно увеличивается. Третий аспект вытекает из предыдущих двух и вызван тем, что в типологии ИС возможно проследить лишь самые общие законы построения авторского текста, и вместе с тем данные, полученные при анализе ИС, нельзя верифицировать. Иными словами, можно установить особенности ИС конкретного автора

либо некоторого их множества, но для проверки научных наблюдений нельзя, используя эти знания, синтезировать новые тексты данного автора. Верификация в типологии ИС есть только личностное ощущение адекватности приводимой интерпретации. Таким образом, типология ИС есть на порядок более субъективная таксономия, нежели языковая типология в собственном смысле слова.

О необходимости построения типологии ИС писал еще В. П. Григорьев [Очерки 1990: 82], и подобные исследования действительно начали реализовываться [Аверинцев 1990; Очерки 1995], однако здесь необходимо сделать одну существенную оговорку. Типологический подход, предлагаемый авторами «Очерков», охватывает только один аспект построения текстов, а именно лексический или номинационный. Как известно, процесс актуализации реалий в дискурсе включает номинацию как введение референта в пространство текста, предикацию как приписывание референту определенных характеристик и локацию как соотнесение реалии с автором текста, ср., например [Петрович 2010: 11]. В фокусе внимания исследователей указанного направления традиционно находятся способы названия реалий в поэтическом тексте. Лингвисты резонно утверждают, что поэтический текст создает свой особый мир и строится по собственным законам, которые не вполне совпадают с языковыми. Механизмы строения художественного текста либо реализуют «скрытые потенции» языковых закономерностей [Виноградов 1963: 55], ср. также [Золян 2009: 5], либо представляют собой подсистему, частично пересекающуюся с языковой [Ковтунова 1986: 3]. По их мнению, которое мы разделяем, специфика поэтической номинации вытекает из самой сущности поэтического текста, который призван реализовывать одну из функций языка, выделенных Р. О. Якобсоном [Якобсон 1975: 201–202], то есть поэтическую функцию.

Вместе с тем номинативный подход к ИС нуждается в «предикационной» корректировке, которая более связана с грамматической структурой поэтического текста, нежели с его лексическим наполнением —

сходные рассуждения см. в [Гин 1991: 104–105]. Необходимость предикационного или грамматико-синтаксического анализа ИС связана с двумя основными моментами. Во-первых, лирика призвана представить реалии в их индивидуальности, и анализ номинативных рядов поэтического текста неизбежно влечет за собой анализ свойств, приписываемых соответствующим реалиям. Во-вторых, ИС, строго говоря, свойствен не только поэтическому тексту, каждый носитель языка в любом своем дискурсивном проявлении обладает ИС в силу того, что каждый человек являет собой индивидуальность. Следовательно, поэтический ИС является лишь частным, хотя и наиболее показательным, вариантом ИС как такового. Лирика как разновидность дискурса в силу своей жанровой специфики лишь предполагает сознательную установку на более жесткую селекцию языковых элементов в рамках ИС. Если быть точными, в поэтическом тексте ИС достигает своей кульминации, но авторская индивидуальность тем или иным образом проявляется в любом порождаемом тексте, вне зависимости от его эстетической предназначенности. В данной статье мы постараемся раскрыть специфику типологического подхода к ИС в его предикационном или синтагматическом преломлении. В отличие от номинационного, анализ поэтического текста в указанном ракурсе меньше связан с прецедентными для данной культуры текстами. Поэтому в качестве основы для анализа мы будем использовать тексты, сравнительно малоизвестные или совсем не известные отечественному читателю.

В качестве материала мы взяли поэтические ИЛ десяти словацких современных авторов. Их творческая деятельность начинается в основном в 80-е годы и продолжается по настоящее время. Это Милан Руфус (1928–2009), Мила Гаугова (род. 1942), Штефан Моравчик (род. 1943), Ян Замбор (род. 1947), Рудолф Чижмарик (род. 1949), Мария Баторова (род. 1950), Павол Яник (род. 1955), Виера Прокешова (1957–2009), Мариан Групач (род. 1973), Петер Били (род. 1978).

Исключение из генерации составляют Милан Руфус, чье творчество падает на период с конца 50-х по конец 2000-х годов, и два автора «младшей возрастной категории», Мариан Групач и Петер Библи, которые родились в конце 70-х годов и публиковаться начали в середине 90-х. В числе выбранных авторов для большей репрезентативности представлены три женщины, для того, чтобы показать возможную релевантность / нерелевантность гендерного фактора при анализе ИС по выбранным параметрам. Мы старались по возможности учитывать все доступные нам поэтические сборники данных авторов, либо поэтические произведения, с точки зрения самих авторов, наиболее релевантные для их творчества и включенные ими в сборники избранных стихотворений. От каждого ИЛ выборка составляет около полутора тысяч предикатных единиц. Нас будут интересовать как семантические и грамматические характеристики тех или иных предикатов, так и подобные характеристики именных групп, заполняющих соответствующие валентности. В статье мы будем проводить типологию ИС на примере одной семантической группы предикатов, а именно на примере предикатов внутреннего состояния (далее: ПВС). Они, в свою очередь, членятся на ментальные предикаты (далее МП) и эмотивные предикаты (ЭП) [Зализняк 2006: 444]. Выбор именно этой семантической группы связан с тем, что ПВС в силу своей эксплицитной ориентированности на микрокосм, на внутренний мир человека, являются из всех предикатов наиболее «лирически признаковыми».

В качестве основных параметров анализа мы будем рассматривать: 1) сравнительную частотность ПВС от общего числа предикатов в выборке; сравнительную частотность отдельно МП и отдельно ЭП; 2) лексическую специфику конкретных ПВС и сравнительную частотность отдельных подклассов лексики в их рамках; 3) грамматические характеристики конкретных предикатов, прежде всего распределение по наклонениям, видо-временную отнесенность, а также подвергаемость различного рода грамматическим трансформациям —

пассивизации, рефлексивизации и каузативизации; 4) специфику заполнения основных актантных позиций, а именно субъектной и объектной валентностей. Нас будет интересовать мера индивидуализации участников ситуации, в первую очередь их характеристики в плане личного дейксиса ('я' — 'ты' — 'он'); 5) модальные характеристики соответствующих предикатов; 6) синтаксические характеристики конкретных ПВС, их сочетаемость с иными группами предикатов. Объединив все эти параметры, мы получим матрицу, применяя которую, можно классифицировать ИС в выбранном аспекте.

Теперь рассмотрим ИЛ указанных авторов конкретно по каждому из указанных параметров.

1. Сравнительная частотность ПВС колеблется от семи до двадцати процентов и в целом составляет четырнадцать процентов. Гендерный фактор не влияет на большую / меньшую частотность ПВС, у трех женщин, включенных в подборку, процент ПВС приближается к среднему показателю либо отличается от него в меньшую сторону. Возрастной фактор в данном аспекте нельзя признать существенным, у двух представителей младшего поколения литераторов (у М. Группача и П. Билого) представлены два крайних показателя — один из наиболее низких и один из наиболее высоких. Далее, в плане соотношения МП / ЭП в составе ПВС средняя картина показывает примерно одинаковое соотношение обеих групп с некоторым перевесом МП, число авторов, у которых процент МП больше процента ЭП, превышает число авторов, у которых наблюдается противоположное соотношение. Гендерный аспект опять-таки показывает большее тяготение женщин к среднему показателю и к сравнительно небольшой разнице между числом МП и ЭП. Возрастной фактор в плане соотношения МП и ЭП, скорее всего, существенной роли не играет: у М. Группача и П. Билого представлены два крайних варианта соотношения — от полного равенства у первого из них до существенного перевеса одной из групп (МП) у второго. Отметим также определенную взаимосвязь между общим числом ПВС

и соотношением МП / ЭП — авторы, у которых число ПВС больше или меньше среднего, как правило, демонстрируют большую разницу между МП и ЭП. Авторы, у которых число ПВС приближается к среднему, как правило, имеют приблизительно одинаковое число МП и ЭП. Авторы, у которых процент ПВС выше «нормы», имеют большинство МП, а авторы, у которых процент ПВС ниже «нормы», имеют большинство ЭП.

2. Лексическая специфика предикатов внутреннего состояния и сравнительная частотность отдельных подклассов лексики. Группы МП и ЭП также имеют внутреннее членение. За основу классификации МП мы возьмем схему, предложенную В. Г. Гаком [Гак 1993: 22–29]. Он выделяет: А) предикаты ментальной деятельности ('думать'); В) предикаты сохранения знания ('знать'); С) предикаты соответствия степени адекватности ('казаться'); D) предикаты познания ('приходить в голову', 'решать', 'узнавать'); Е) предикаты распознавания или установления причинно-следственных связей ('понимать'). ЭП Анна А. Зализняк [Зализняк 2006: 444] подразделяет на две группы: А) предикаты эмоционального состояния (второй семантический актанта или объект эмоции, является причиной эмоции) ('любить', 'ненавидеть'); В) предикаты эмоционального отношения (второй семантический актанта является объектом эмоции) ('бояться', 'радоваться', 'страдать').

Наши данные показывают, что во всех ИЛ доминирующую позицию занимают как минимум две семантические группы МП — это МП ментального процесса и МП сохранения знания. Первая группа предикатов практически всегда употребляется без отрицания, а вторая группа равным образом употребляется с отрицанием и без (то есть 'забывать' и 'не помнить' являются не менее в смысловом отношении нагруженными предикатами, чем их утвердительные корреляты). Мы видим также, что ИС здесь распадаются на три группы — 1) доминирование предикатов ментального процесса и сохранения знания; 2) доминирование трех групп — указанных двух плюс

предикаты соответствия степени адекватности (авторы, которые как бы «устраивают реальности поверку на адекватность») 3) равномерное распределение МП всех семантических групп. Отметим определенную взаимосвязь между количеством МП в целом в плане отклонения от среднего процента — и количеством МП соответствия степени адекватности: авторы, у которых процент МП либо значительно больше, либо значительно меньше среднего, имеют высокий процент предикатов, обозначающих неадекватность восприятия действительности. Базовыми для всех авторов ЭП являются ЭП любви и страха, которые практически во всех ИЛ занимают центральное место. Точно так же, как и у МП, выделяются ИС, равномерно семантически нагруженные ЭП, и ИС, которые предикуют только любовь и страх. Точнее говоря, по данному параметру ИС разбиваются на три группы. Это: 1) ИС, в которых представлены только любовь и страх (Гаугова, Моравчик); 2) ИС, в которых также представлены эмоции «радость / грусть» (Прокешова, Замбор); 3) ИС, в которые включаются ЭП страдания (Групач, Били). Отметим также, что число ЭП, обозначающих положительные эмоции, у всех авторов в подборке, на порядок больше числа ЭП, обозначающих отрицательные эмоции. Гендерный фактор в плане распределения ЭП по семантическим группам существенной роли не играет.

3. Из грамматических характеристик стилистически нейтральным для поэтического ИС является настоящее время изъявительного наклонения глагола без модальных показателей и без грамматических трансформаций. На этом основании ИС подразделяются на нейтральные (реальные), соответствующие вышеуказанному критерию, и грамматически маркированные (ирреальные). В последних отдается предпочтение прошедшему времени глагола и его различным модальным модификациям. При этом характерно, что прошедшее время, как правило, выступает в связке с модальностью: чем больше в ИЛ предикатов в прошедшем времени, тем больше вероятность обнаружения в нем косвенных наклонений и модальных показателей при глаголе.

4. В плане специфики заполнения актантных позиций все ИС четко разделяются на три группы. 1) нейтральные ИС, в которых доминируют агенсы 1 лица и пациенсы 3 лица; 2) ИС, в которых доминируют либо конкурируют с 1 лицом агенсы 3 лица; 3) ИС, в которых отдается предпочтение неопределенно-личным предложением с агенсом 2 или 3 лица, отсылающим к 1 лицу («лирическому герою»). Отметим также, что 2 лицо во всех ИЛ в роли пациенса сколь-нибудь существенной роли не играет, а в роли агенса процент его употребления существенно ниже, нежели процент агентов 1 и 3 лица.

Мы видим, что различные характеристики предикатов в ИС коррелируют между собой, так что получается следующая классификация ИС. Первично ИС целесообразно разделить на три группы, исходя из специфики заполнения актантных позиций аргументами различной действительной отнесенности. Фактически это связано с мерой индивидуализации ЛГ и мерой его активности. Все зависит от того, является ли ЛГ самостоятельным субъектом действий в своем микрокосме, и тогда действия ЛГ направлены изнутри вовне, либо же реалии ментального и эмотивного порядка приходят извне внутрь, а ЛГ является лишь их пассивным носителем. По данному критерию выделяются: А) субъектно-объектный тип, который является самым нагруженным в подборке (Мила Гаугова, Мариан Групач, Рудолф Чижмарик, Мария Баторова, Павол Яник и Петер Били); В) объектно-объектный тип (Штефан Моравчик, Мариан Групач и Виера Прокешова, Милан Руфус); С) объектно-субъектный тип (Ян Замбор). Границы между типами не являются резкими. Так, Виера Прокешова являет собой переходный тип от субъектно-объектного к объектно-объектному типу, поскольку у нее высокочастотным является употребление неопределенно-личных конструкций. Определенная личность превращается в неопределенную и ЛГ обращается к себе как к собеседнику, второму лицу, но еще не отрывается от себя полностью. В свою очередь, Штефан Моравчик, который предпочитает употреблять ПВС в обобщенно-личных конструкциях, продолжает

линию перехода к деиндивидуализации внутренних состояний и ставит себя на место объектов внутренних действий / состояний, однако не переносит, как Ян Замбор, на окружающих ответственность за возникновение в микрокосме каких-либо изменений.

Далее, внутри каждой группы ИС делятся на равновесные / неравновесные, в зависимости от того, соотносимо ли в них число МП и ЭП, либо некоторая часть является доминирующей. Равновесные стили: Мария Баторова, Мариан Групач, Мила Гаугова. Неравновесные ИС: Павол Яник, Милан Руфус, Петер Били и Рудолф Чижмарик. Равновесные стили по таксономической отнесенности пациенса, а также по установке на сохранение знания / его модификацию, делятся на реальные / ирреальные. Следующая градация проходит по линии ЭП, где значимым является наличие / отсутствие ЭП страдания, а также в зависимости от последовательности МП / ЭП в сложной синтагме. При отсутствии ЭП страдания и наличии ЭП страха, а также при синтагматическом подчинении ЭП соответствующий ИС относится к рациональным, при наличии ЭП страха и при синтагматическом подчинении МП данный ИС относится к иррациональным. Так, тексты Марии Баторовой относятся к реальным рациональным ИС, Мариана Групача — к ирреальным рациональным, Милы Гауговой — к ирреальным иррациональным, Павола Яника — к реальным рациональным, Петера Били — к ирреальным рациональным, Рудолфа Чижмарика — к реальным иррациональным.

Теперь разберем отдельно каждый выделенный нами ИС с целью более детального выявления его специфики.

А) Субъектно-объектный равновесный реальный рациональный ИС — Мария Баторова. Процент ПВС у данной поэтессы несколько ниже среднего (девять процентов), количество МП у нее совпадает с количеством ЭП. Для ИС Баторовой характерно значимое отсутствие грамматических средств, маркирующих ирреальность либо ставящих под сомнение существование реального, утверждаемого мира. Так, у нее практически отсутствуют предикаты

под отрицанием — все действия / состояния внутреннего порядка являются для нее утверждаемыми. В ее ИЛ отсутствует модальность возможности и маркировка ситуаций в плане их возможной недостоверности. Из наклонений повелительное встречается два раза во всем ИЛ, условное — только один раз. Поскольку с модальностью возможности, а также с ирреальными наклонениями естественным образом соотносится будущее время, оно также практически не представлено у Баторовой, которая отдает предпочтение презентным формам НСВ, либо, гораздо реже, формам прошедшего времени СВ. Отображаемый мир, таким образом, является актуальным, безусловным, непосредственно наблюдаемым и фиксируемым. Далее, в ИЛ Баторовой отсутствуют каузативы. ЛГ является активным субъектом соответствующих ВС, в ИЛ преобладают субъекты 1 лица. Субъект 2 лица всегда раскрывается только в противопоставлении с 1 лицом и представляет собой не только возлюбленного, но и соперника ЛГ. Ср.: «я еще пишу стихи, а ты уже давно забыл». Обратим внимание также не противопоставление презентной формы у 1 лица и формы прошедшего времени у 2 лица. «я должна была отделить тебя от нашего сна, я сложила соковища, а ты ходишь, ищешь и не понимаешь», «я тихо тебя покидаю, а ты даже не знаешь, как, ты не замечаешь, поскольку видишь себя везде, ты думаешь обо мне, как о прочном континенте, о месте, куда легко прийти, ты не веришь, что я могу для тебя не существовать, когда ты вспомнишь, что где-то тебя ждет моя любовь, ее уже нет». Отметим также, что те немногие отрицательные формы ПВС, которые встречаются в ИС Баторовой, связаны именно со 2 лицом, которое может выступать как в качестве субъекта, так и объекта отрицаемых внутренних состояний. Употребление ПВС с 3 лицом составляет около 1/3 ПВС в ИЛ Баторовой. Субъектами 3 лица являются люди, имеющие какое-то отношение к ЛГ («мама, которая поймет») или явления природы / животные («волки боятся тьмы», «о чем мечтает горизонт», «река нас упрекает»). Сравнительно частотными для ИС Баторовой являются также

неопределенно-личные / обобщенно-личные высказывания 3 лица («может быть, нам кто-то завидует», «кто бы думал, что дожди столько вынесут», «так бывает, когда очень любят») или 1 лица («ровных дорог нет, мы их только выдумываем», «мы знаем, чего не хотим»). Из МП ключевыми для Баторовой являются МП ментального процесса «думать» / «искать» (в значении ‘пытаться понять’) и МП сохранения знания «знать». Основными контекстами употребления МП являются: поиск чьей либо локализации либо некоторой абстрактной сущности эмотивного свойства («глаза искали покой души»). МП «знать» употребляется в экзистенциальном контексте для утверждения чужой либо даже своей собственной экзистенции / обладания чем-либо: «так приятно знать о ком-то, что он где-то живет», «я знала, они навсегда, мосты, дороги и река шумит», «теперь я знаю: я нахожусь там, где я нахожусь, я в тебе и целиком твоя», «обычно мы не знаем, что у нас есть», «где ты? Я знаю: ты снова улетел с ветром». Ср. также употребление МП сохранения знания «помнить», где снова постулируется неразрывность существования некоторой субстанции: «белые стены, углы ты помнишь еще кирпичами». Ср. также типичную для ИС Баторовой комбинацию ПВС: «я ищу его? Нет. Я уже знаю, где он». МП в ИС Баторовой чаще всего подчиняют себе экзистенциальные пропозиции, автор противопоставляет себя окружающим (и вместе с тем предполагает сходство с ними, отсюда употребление формы 1 л. мн. ч. в обобщенном значении) и утверждает неизменность, сохранность мира. Из ЭП основными в ИЛ Баторовой являются предикаты со значением радости, мечты, восхищения и страха. ЭП радости (удовольствия) употребляется в основном в контексте МП знания: «приятно знать о ком-то». Употребителен также предикат «чувствовать» в значении «ощущать», это опять-таки связано с иррационально осознаваемой локализацией объекта. Чаще объекты у МП радости отсутствуют либо являются неопределенными / обобщенными: «о чем мечтает небо-свод», «река в чем-то упрекает нас», «прикажите, когда смеяться и

над чем грустить». Суммируем. Ключевым понятием для ИС Баторовой является рационально постулируемое утверждение существования окружающей реальности, автор каждый раз заново ориентируется, вся эмоциональная деятельность координируется на получение удовольствия от осознания внешнего мира. В то же самое время события мира внутреннего и сами чувства как таковые являются для Баторовой нечеткими и неопределенными. Окружающие мыслятся Баторовой либо как осознающие мир правильно (и потому созвучные с ней), либо как осознающие мир неправильно (возлюбленный-враг).

В) Субъектно-объектный равновесный ирреальный рациональный ИС — Мариан Групач. Подобно ИЛ Баторовой, ИЛ Групача также относится к субъектно-объектным равновесным, процент МП / ЭП у него не просто соотносим, а строго взаимно однозначен. Отметим также, что общий процент ПВС является в ИС Групача одним из самых низких в рассматриваемой подборке. Точно так же, как у Баторовой, у Групача отсутствуют предикатные трансформации типа пассивизации и каузативизации. Прошедшее время, хотя и является не очень употребительным, все же выполняет в ИС Групача большую нагрузку. В отличие от Баторовой, у Групача значительно чаще употребляется косвенное наклонение (повелительное). Условное наклонение в ИЛ Групача отсутствует как факт. Императив употребляется в контексте 1 лица («пусть я буду рад») либо в контексте 3 лица множественного числа с обобщенной квантификацией («пусть все знают обо мне»). Кроме того, для ИС Групача, в отличие от ИС Баторовой, характерны модальные показатели, которые употребляются только с МП. Волонтактивная модальность сочетается исключительно с МП рационального знания «знать» (ср. употребление императива в ИС Групача, знание выступает как желаемое, необходимое состояние). Модальность возможности сочетается только с МП иррационального знания «верить», частотными являются конструкции вида «могу верить», то есть ЛГ в принципе необходимо владение информацией как ментальное состояние, однако

иррациональное знание выступает как возможное, а рациональное знание — как необходимое. В плане субъектно-объектной организации у Группача превалирует заполнение позиции агенса формами 1 лица (3/5 от общего числа) и формами 3 лица (2/5 от общего числа). 2 лицо в ИЛ Группача представляет собой субъект скорее иррациональный: «ты еще только это предчувствуешь», «ты почувствуешь мой взгляд на себе», «ты единственная, можешь мне поверить, мы одни». Знание, которым обладает 2 лицо, являет собой нечто устоявшееся, в то время как ЛГ находится в поиске, в становлении: «ты хорошо знаешь то, что я только предчувствую». Но в целом роль второго лица в ИС Группача сводится к минимуму, из всех авторов в подборке именно Группач уделяет второму лицу наименьшее внимание, хотя и констатирует: «ты единственная». Образ возлюбленной чаще ассоциируется у Группача с 3 лицом: «ты никогда не знаешь, успеет ли она еще заплакать или вспомнить про радугу», «она страдает от тупого желания», «я желатин желаний, она трясется, у нее сжимается сердце», «я прильнул к ней, она напомнил мне образ девушки». Из других субъектов 3 лица у Группача чаще всего представлены обобщенные кванторы («пусть все знают о моей чистоте», «каждый, кто видел, завидовал», «каждый знал свое»), куртизанки («куртизанки радуются смерти»), ангелы («ангелы толстые, опустошенные, нагие, они смущены»), дети («дети перестали верить сказкам»). Среди имен собственных, заполняющих позицию агенса при ПВС, представлены в основном личные персоналии: «где Моне думал про Темзу». Иногда Группач употребляет обобщенно-личные формы совместного действия («мы верим», «однажды мы пойдем», «мы ищем голодные гласные», «мы стоим задумавшись», «нам досадно» — как правило, они обозначают ментальный процесс поиска информации), а также обобщенно-личные формы 2 лица с референцией к 1 лицу («ты ленишься, страдаешь», «наконец ты понимаешь, что из всех выпитых бокалов для тебя вкуснее всего последний»). В целом обобщенно-личные формы не занимают в ИС Группача центрального

места. Из МП в ИС Группача выделяются МП сохранения знания, из них 2/3 без отрицания, 1/3 под отрицанием. Остальные группы МП также употребляются, но занимают фоновое, подчиненное положение (частотность каждой группы вдвое ниже, нежели частотность МП сохранения знания). В отличие от текстов остальных авторов, здесь среди МП сохранения знания частотным является не только МП «знать», но также МП «верить». Основными контекстами употребления МП у Группача являются: 1) знание / осознание некоторых событий («мы верим, кто-то нас бросит в сок», «мы пойдем, что настала ночь»; предикат может иметь при себе маркер неуверенности, недостоверности, в таком случае речь о двух альтернативах возможного развития событий: «ты никогда не знаешь, успеет ли она заплакать или вспомнить про радугу», «и я собственно не знаю, погаснет ли она или прошепчет „Non“», «я никогда не знаю, где должен пристать», «и тогда я узнаю, известно ли тебе, что Земля кипит»); 2) вхождение в реальность как забывание ирреальности («сон, который я не запомню, будет моим дальнейшим продолжением», «я проснусь, забуду», «дети перестали верить сказкам»; частным случаем является утверждение собственной реальности «я думаю, я вам не пригрезился», «я убежден, пусть все знают о моей чистоте»); 3) процесс созидания реальности или утверждения своих прав на познание реальности («мы придумываем себе сокращения, значки, пароли», «я хотел бы знать о них больше, чем о самом себе»). Основными ЭП в ИС Группача являются ЭП страдания, все остальные группы ЭП почти не представлены остальные, кроме глагола «чувствовать». Ср. примеры: «мне тяжело», «мне страшно быть старшим», «он страдает от твоего желания», «ты ленишься, страдаешь», «мои пальцы страдают от бескровия», «страдают камни». Характерно, что субъектами страдания у Группача являются не только люди, но также персонифицированные неодушевленные предметы, причем чаще всего это страдание как таковое, страдание ради страдания. В случае, если причина страдания все-таки указывается, это страдание от собственного

бездействия или неправдоподобия окружающей действительности. Ср. также характерное для ИС Групача высказывание: «и я боюсь, что если я скажу „я люблю тебя“, это уже будет неправда». Отметим также, что у Групача практически отсутствуют ЭП, выражающие эмоциональное отношение к любым объектам, иными словами, Групач почти не пишет о любви и радости, мир для него является объектом познания и только акт познания мира в его изменчивости доставляет ему положительные эмоции, разумом в ИЛ Групача можно удержать мир и не сорваться в плоскость полной субъективности. Если у Баторовой МП подчиняют экзистенциальные пропозиции, то у Групача МП подчиняют событийные пропозиции. Событийность мира, его непрерывное становление являются для ЛГ Групача наивысшей ценностью, при этом ЛГ неизменно направлен на объект, стремясь его познать через его действия, диалог как форма взаимопонимания для ЛГ несуществен. Его процесс познания макрокосма есть именно глубоко личное переживание чужой несхожести, трактуемое им как наивысшее проявление реальности, и наивысшая ценность. Полный отрыв от реальности и уход в сферу субъективности, в сферу снов и домыслов, вообще любая неопределенность даже в реальном мире, представляют для ЛГ Групача источник страданий и страхов.

С) Субъектно-объектный равновесный ирреальный иррациональный ИС — Мила Гаугова. У Гауговой общий процент ПВС и соотношение МП / ЭП коррелируют с аналогичными соотношениями Баторовой. Сходной у двух поэтов является также действительная наполненность аргументов ПВС — субъектно-объектная. При всем том отчетливо проявляются различия между реальным рациональным ИС Баторовой и ирреальным иррациональным ИС Гауговой. В грамматическом плане для Гауговой даже в большей мере, нежели для Баторовой, характерно отсутствие косвенных наклонений, каузативных и пассивных форм и незначительное употребление прошедшего и настоящего времени. Вместе с тем у Гауговой

гораздо сильнее, нежели у Баторовой, представлены модальные формы — главным образом модальность желания и долженствования. Утверждается не только реальный мир, но также существующий и необходимый, ЛГ не адаптируется в уже предзаданной реальности, но моделирует свою собственную, которая, подобно «исходной» реальности, разворачивается в актуальном изложении. Подобно Баторовой, для Гауговой важную роль играет изложение от 1 лица, однако в случае Гауговой гораздо больше противопоставлены 1 и 3 лица и гораздо меньше — 1 и 2 лица. 2 лицо (возлюбленный) для Гауговой является не соперником, обладающим принципиально иным фондом знаний, но сообщником, человеком, который обладает таким же фондом знаний, что и ЛГ. Характерно, что в обоих случаях критерием является именно ментальная общность ЛГ и 2 лица, совместный фонд знаний: «помнишь, мой единственный, ты сказал мне, что...», общее знание является для Гауговой проявлением любви: «о ком ты все знаешь, с кем ты знаешь обо всем?». Также постулируется общее пространство для ЛГ и 2 лица («я уже здесь, так что не бойся») либо ЛГ и возлюбленный совершают однотипные ментальные действия («почему ты боишься? почему я боюсь?»). Принципиально, что ментальная общность является не единственным условием совместного существования: «не зная, ты обращаешься ко мне». Субъектами 3 лица являются в ИЛ Гауговой существа вымышленные — единороги, сфинксы («загадка сфинкса, которую не угадает даже она сама»), а также животные и дети («животные и дети меня любят»). Остальные (люди) являются для Гауговой существами скорее враждебными: «они тебе не простят, что ты любишь», «все всегда хотели все обо мне знать». Из МП абсолютными доминантами у Гауговой являются МП сохранения знания, из них МП не-сохранения знания (не помнить, забывать) составляют одну треть, МП без отрицания — одну треть. Основными контекстами их употребления является: А) модифицированный экзистенциальный контекст, когда автор отграничивает для себя часть реалий внешнего

мира, формируя тем самым собственную личную сферу: «я знаю, что не могу иметь все, но вы, вы останьтесь», «я знаю, ты возле меня», «познание предыдущих жизней, в которых мы не только знали друг друга, но и жили вместе». Характерно, что отграничение личной сферы, реализуемое как расширение микрокосма за счет макрокосма, является для Гауговой фактором, поддерживающим стабильность внутренней сферы «когда она ищет себя, она ищет также мужчину, она не может ничему навсегда поверить»; В) материализация ирреального, освоение чужого опыта, переживаемое ЛГ как сугубо личностный феномен: «мечта помнить неувиденное от матери, от отца», «это падение, которое мне знакомо из других неповторимых снов», «ты бы отдала последнюю воду дочери? Чужому ребенку? Это ты должна была бы знать» «ты знаешь о городе, где тебя ждут? вернись». МП в ИС Гауговой очень часто сочетаются с предикатной лексикой, обозначающей эмоциональные процессы / состояния «это логическое противоречие решается только любовью», «мы не понимаем всех поводов для радости», «я открою для себя тело сна», «я представляю ее снова счастливой». Также МП могут подчинять себе синтагмы, косвенно отсылающие к пропозициям эмотивного характера: «я хотела знать, мой единственный, есть ли и у нас уже история, помнишь, ты сказал мне, что...». В следующем примере указание на эмотивный процесс является не косвенным, но прямым: «надо выяснить, чего я боюсь», «я не помню, кого я любила». Из ЭП в ИЛ Гауговой главенствующую позицию занимают предикаты любви и страха, обе группы в большинстве случаев в утвердительной форме. Немногие случаи выражения негативного отношения связаны со стабильностью мира и отсутствием иррациональной цельности, объединяющей реальность и вымысел: «поле речи точное. Обычно меня это ужасает». Большая часть контекстов употребления ЭП «любить» связано с процессом иррациональной межличностной трансакции двух персон. Любовь трактуется Гауговой как процесс, встречающий препятствия со стороны окружающих и даже Бога: «Господи не

позволь нам не любить», «они не простят тебе, что ты любишь». Предикаты страха чаще всего комбинируются с МП процесса познания «я боюсь угадать время полного слияния». Познание реальности трактуется Гауговой как процесс объединения реального и ирреального планов, придание материальной оболочки объектам ментального мира и одухотворение объектов материального. Происходит прояснение эмотивной сферы за счет ментальной, тем самым материальное отождествляется с реальным, а эмотивное с нереальным. И хотя Гаугова декларирует свою преференцию к вымышленному универсуму, она в то же самое время парадоксальным образом выступает как материалистка.

Д) Субъектно-объектный неравновесный реальный рациональный ИС — Павол Яник. В целом грамматическая характеристика предикатов у Яника аналогична грамматике предикатов у Баторовой — он отдает предпочтение настоящему времени (процент прошедшего времени несколько выше, нежели у Баторовой) и в целом тяготеет к 1 лицу агенса. Нередко у Яника появляются также каузативные конструкции вида «мучать». У Яника сферой действия МП является А) возлюбленная; В) объекты внешней реальности. ЛГ сравнивает возлюбленную с раскрытой книгой, которую он пытается прочесть, познать и понять. События во внешнем мире он соотносит с событиями во внутреннем мире, ментальные процессы и события во внешней реальности являются для него одинаково значимыми и протекают независимо друг от друга: «когда я думаю о тебе, светает над Буэнос-Айрес». Мыслить о возлюбленной есть естественная неотъемлемая составляющая внутренней жизни лирического героя, возлюбленная принадлежит одновременно макрокосму и микрокосму лирического героя. Мыслимыми объектами внешней реальности являются люди, впечатления от их поступков, при этом мысль неизбежно влечет чувство как следствие. Сначала ЛГ мысленно конструирует объекты, потом он конкретизирует, что он по этому поводу чувствует. Основными контекстами употребления МП

у Яника являются: А) изображение мыслительного процесса как способности, полученной извне (нас научили думать); В) изображение мыслящих неорганических объектов (олицетворение объектов, сконструированных человеком). Яник неоднократно соотносит Бога-творца и подобного ему человека (вторичную реальность по отношению к Богу), соответственно объекты, сотворенные человеком, начинают мыслить, подобно человеку, сотворенному Богом. Мысль представляет собой импульс, идущий от трансцендентного существа. Неорганические объекты — радиатор и вентилятор думают о макрокосме (близких им реалиях); С) изображение процесса прихода мысли извне, мысль неоднократно сравнивается с солнцем или зеркалом, свет которого ослепляет лирического героя. Ослепляя человека, ментальный или рациональный процесс замещает в нем природную способность непосредственного восприятия действительности, следовательно, рациональное представляет собой явление высшего порядка по сравнению с эмоциональным. Таким образом, для Яника мыслительный процесс является приобретенным умением, изначально он направлен извне (от солнца или другого источника света) в микрокосм лирического героя, и затем мыслительная способность становится связующей нитью между лирическим героем и внешним миром. По характеру субъективной оценки в лирике Яника выделяется негативное знание, позитивное знание и совместное знание. Негативным знанием обладают окружающие. Позитивным знанием обладают неодушевленные объекты — солнце (как источник жизни и трансцендентной мысли), музыка (как эстетическое воплощение мысли) и неорганические сконструированные объекты (как следующее после человека звено передачи трансцендентной мысли). Совместным знанием обладает лирический герой совместно с возлюбленной, и данное знание является наиболее истинным и подлинным, любовь, таким образом, является высшим воплощением разума — подчеркнем, именно разума, а не чувства. Только в любви изначально божественный порядок обретает гармоничное воплощение в

реальной действительности, и устанавливается взаимопонимание между людьми. Для ЛГ Яника познание (как и распознавание) всегда направлено либо изнутри наружу, либо снаружи на ЛГ в сфере действия отрицания (я не понимаю окружающую действительность, окружающая действительность не понимает меня). Объекты из микрокосма адаптируются в макрокосме, познание путей адаптации — есть получение необходимого знания. Окружающая действительность обманывает людей, люди думают, что мир один, на поверку мир оказывается иной. Информация недостоверна, грань между объективным и субъективным условна, поскольку мир дисгармоничен. Эмотивные предикаты группы «бояться» в ИС Яника включают в сферу своего действия: А) объекты, предполагающие эстетическую оценку: мелодия оркестра, картины в музее и возлюбленная лирического героя, воспринимаемая как эстетический объект; В) природные стихии — воздух и воду; С) события, происходящие в мире. D) безобъектный страх, или страх во имя страха, в данном случае ЛГ боится не чего-то конкретного, а «всего» или «чего-то». Боится не только ЛГ — бояться окружающие, и наконец, страх боится сам себя. Тот факт, что эмоции испытывает не только ЛГ, но также и остальные, свидетельствует, что противопоставление «я / окружающие» в его ИС в значительной степени условно и является следствием исходной неправильности нашей действительности. Страх представляет собой наиболее интенсифицированное воплощение дисгармонии, ЛГ, равно как и остальные люди, боится того, что он не понимает, и одновременно страх сопутствует познанию или контакту с внешней реальностью, без страха нет познания. Контекстами употребления предикатов со значением страха у Яника является либо эстетические впечатления, либо столкновение с внешней реальностью. При употреблении предикатов, выражающих страх, для описания эстетических впечатлений, Яник часто комбинирует данные предикаты с эмотивно-оценочными предикатами группы «любить»: лирический герой либо любит того, кого он боится, либо ему нравится бояться,

от страха он получает своеобразное удовольствие. При употреблении предикатов, выражающих страх, в контексте столкновения микрокосма и макрокосма, Яник чаще апеллирует к деперсонифицированному страху, или страху во имя страха.

Е) Субъектно-объектный неравновесный ирреальный рациональный ИС — Петер Били. В исследуемой подборке у Били, равно как и у Яника, представлен максимальный процент ПВС, количество МП превышает количество ЭП почти в два раза. Еще одной специфической особенностью ИС Били, которая отличает его от Яника, является сравнительно высокий процент глаголов в прошедшем времени, а также распространенность каузативного личного глагола «мучать» (конструкции вида «я тебя мучаю»). Из наклонений встречается только повелительное, из модальностей — только модальность желания. Кроме того, в ИЛ Били отсутствуют грамматические маркеры ирреальности (и вместе с тем широко представлены глаголы группы «казаться»). В отличие от предыдущих авторов, у которых число высказываний от 3 лица было соотносимо с числом высказываний от 1 лица, у Били наблюдается противоположная картина — в его ИЛ число высказываний от 1 лица резко превышает все остальные. У Били сравнительно много употреблений в позиции агенса местоимений 2 лица (их число соотносимо только с аналогичным параметром у Гауговой). Чаще всего второе лицо (одновременно возлюбленная и собеседница) является субъектом рефлексий по поводу ЛГ, являя собой один из путей ЛГ к самому себе: «ты вспоминаешь, как я безумно бегал». Полного взаимопонимания между 2 лицом и ЛГ не существует, однако даже этот факт способствует самопознанию ЛГ: «я звоню. Ты не понимаешь?», «ты мне не веришь, что я холодею». Также 2 лицо может испытывать эмоции, сходные с эмоциями ЛГ, однако не идентичные им и не сводимые к ним полностью: «ты любишь Вену, я ее обожествляю», «ты хотела познать любовь. Ты хочешь ее всю? Я целую тебя». Субъекты 3 лица в ИС Били чаще представлены в предложениях с обобщенной

квантификацией: «все, кто хотел со мной бояться», «она ожидала, что ей кто-то поверит», «кто кому раньше поверит?», «кто снова в себя влюбится?», «ты жалеешь мужчин, которые верят в себя?» Часто у Били, в отличие от других авторов из подборки, представлены ролевой женский персонаж 3 лица, который являет собой трансформированное остраненное 2 лицо, и ролевой мужской персонаж 3 лица, который выражает остраненное 1 лицо, то есть ЛГ. Глагол стоит в прошедшем времени: «все в темноте казалось ей немного другим», «он мучал ее», «она уже видела сны о стриптизе, он ее обожествляет», «ей снились нагие ангелы». В остальном среди личных субъектов у Били представлены: Вена (олицетворенный город, причем с Веной сравнивается возлюбленная ЛГ); патолог («о чем думает патолог, когда раздевает свою жену?»); зеркало («зеркало: оно не понимает то, что понимает») Иногда у Били появляются обобщенно-личные предложения с референцией к 3 лицу («от нас чувствуется алкоголь», «мне за это благодарны»). Характерно, что у Били, в отличие от других авторов отсутствуют обобщенно-личные предложения 2 лица с референцией к 1 лицу. ЛГ воспринимает окружающий мир как проекцию и раскрытие собственного эго, своей индивидуальности, возлюбленная есть только часть его самопознания, равно как и окружающие лица, из которых он отбирает только наиболее созвучные. В то же время для ИС Били важен прием остранения, взгляд на себя самого со стороны и понимание мира для него есть понимание себя самого. Из МП приблизительно в равных пропорциях выделяются МП ментального процесса (без отрицания), в основном «думать» и «верить», МП сохранения знания (одинаково с отрицанием и без) и МП соответствия степени адекватности (из них пять с отрицанием, что для данной группы предикатов довольно много). МП у Били употребляются в следующих основных контекстах: А) отождествление / неотождествление ЛГ с окружающими, чаще в контексте МП «верить» или «думать» («я не верю, что мы такие все», «я думал, что мне его кто-то купит»), как вариант ЛГ раскрывается

через знания других о себе самом: «ты вспоминаешь, как безумно я бегал», «и я с ужасом пойму, что взгляд с небосвода смотрит прямо на меня»; В) утрата информации об окружающей действительности как утрата иллюзии («я не теряю иллюзии», «мы читали, сегодня мы из этого уже ничего не знаем», «возле скрипки мы забудем смычок, мы падаем, зная, что утром звезды гаснут», «я забываю имена друзей, я теряю себя», «чему верить, когда я уже не верю», «о твоих поступках я ищу сомнения в себе и забываю, с кем я был (кем я был?)»); С) нестандартность окружающей действительности, которая выступает как повод для эмоциональных переживаний («когда я убедился, что даже на юге идет снег, мне стало стыдно», «руки у тебя холодные, ты не узнаешь собственный почерк»), говорящий воспринимает знания о мире как часть личного опыта или личной сферы («он понял, что ничего не понял», «ты видишь, что я существую, я не кажусь тебе»). Отметим, что МП «казаться», обычно употребляемый в безличных конструкциях, здесь получает личное наполнение. Из ЭП в ИС Били наиболее распространены ЭП страха и страдания, в одинаковой мере. Страх для ЛГ связан с возможным отрывом от реальности и уходом в себя: «зависимость от сна, этого я боялся», «я теряю себя и боюсь, что не найду». Потеря себя связана с абсолютной иррациональностью и бесконтрольностью бытия, ср. пассаж, который следует непосредственно за только что процитированным: «я боюсь того, чего прежде не боялся». Мучения у Били либо направлены на 2 лицо, либо исходят от 2 лица, частотными являются выражения вида: «я мучал ее» / «она мучала меня». Реже представлен стыд — ввиду неполноты знаний ЛГ об окружающей действительности либо ввиду того, что человек не хочет быть собой: «ты словно Вена, она не стыдится быть сама собой». Заметим, что неполнота знаний об окружающем мире отождествляется с полнотой существования и открытостью, то есть познать и принять мир в его нестандартности есть для ЛГ Били познать и принять самого себя в своей нестандартности МП, обозначающие позитивные эмоции —

любовь и радость, употребляются либо с обобщающими квантификаторами («кто снова в себя влюбится»), либо при модальных глаголах («я не должен был бы радоваться»). Чаще, нежели МП «любить», встречается МП «обожествлять» в том же значении. ЛГ Били стремится понять окружающую действительность, она для него представляет наивысшую ценность, однако делает он это подчеркнуто иррациональным, не-аналитическим способом, путем отождествления макрокосма с микрокосмом и микрокосма с макрокосмом. Либо субъекты внешнего мира поставляют ЛГ информацию о нем самом, либо ЛГ ищет в мире созвучные ему реалии. Если ЛГ находит в мире нечто, что не соответствует его внутреннему миру, это вызывает у него эмоционально-негативную реакцию. Били все время стремится принять мир в его необычности и в то же время это связано у него с желанием принять самого себя в своей необычности и тем самым остаться в реальной действительности. Отрыв от реальности, переход по другую ее сторону вызывает у ЛГ Били страх и страдания.

Ф) Субъектно-объектный неравновесный реальный иррациональный ИС — Рудолф Чижмарик. Чижмарик относится к числу авторов, процент ПВС у которых выше среднего, при этом количество МП почти вдвое превышает количество ЭП. В грамматическом плане специфика Чижмарика состоит в том, что у него при ПВС не представлено модальных показателей, ПВС у Чижмарика также не входят в пассивные и рефлексивные конструкции. Косвенные наклонения у Чижмарика употребляются в основном с глаголом «бояться» под отрицанием — «не бойся дрожи», «ничего не бойся» и т. п. Характерной особенностью грамматики ПВС у Чижмарика является большой процент глаголов в прошедшем времени, он рассказывает о событиях уже свершившихся и осмысленных. Непосредственное переживание для него представляет меньшую ценность, чем переживание осмысленное и выверенное. Следующей особенностью ИС Чижмарика, которая также отличает его от остальных авторов, является сравнительно равномерная распределенность первых

участников по лицам в его ИЛ. То есть процент агентов 1 лица соотносим с процентом агентов 3 лица, а процент агентов 2 лица соотносим с процентом безличных конструкций. Агентом 2 лица, как правило, является возлюбленная ЛГ, которая постоянно попадает вместе с ним в различные романтические и ошибочные ситуации. Возлюбленная постоянно ошибается и вообще выступает скорее носителем неразумного начала: «ты хотела идти за светом целую ночь, словно не знала, что это чистая ложь», «я тебя тихо прошу, забудь о плохом», «твоя первая ложь была правдой, что ты меня любишь, связанная голубка», «ты думаешь, что сердцу грустно, когда оно пытается обмануть годы?», «ты выдумываешь, ответил он ей». Часто 2 лицо выступает как агент императивных конструкций — см. примеры выше, а также: «бойся за Рудо (ЛГ)», «не бойся, милая, дрожи», «представь себе эти слова», «когда тебе будет очень плохо, вспомни про симбиоз». Агентом 3 лица является у Чижмарика та же самая возлюбленная вне ситуации диалога с ней («она боялась города, она была несмелой», «через несколько лет я встретил свою любовь, она уже была веселой», «она забыла пару капель запаха»), а также ролевой герой (проекция ЛГ) («он давал ей знать, что любит ее», «он любил ее», «он поверил, что существует дым без огня»). Далее, агентом могут быть персонифицированные предметы, принадлежащие ЛГ («мой ключ не понимает друг друга с одним замком»), или части тела («сердцу грустно», «тебя ждут мои губы, одна другой не поверит», «наши тела любят друг друга вслух»). Вообще Чижмарика очень свойственна подчеркнутая материальность, телесность, части тела выступают у него в качестве своеобразных субститутов его собственной личности. Неопределенно-личные предложения 2 лица с референцией к 1 лицу встречаются у Чижмарика столь же часто, сколь предложения 1 лица или ролевая лирика 3 лица. Отметим только, что лишь предложения с собственно 1 лицом могут употребляться вне любовной тематики, то есть любовь у Чижмарика, несмотря на всю свою телесность, несколько остранена, деперсонифицирована,

ЛГ как бы смотрит на себя со стороны. МП занимают среди ПВС Чижмарика центральное место, внутри самих МП не выявляется четкой стратификации, все основные семантические группы МП представлены у Чижмарика достаточно равномерно.

Переходим к группе объектно-объектных ИС, куда входят Штефан Моравчик, Милан Руфус и Виера Прокешова. Подобно субъектно-объектным ИС, данные ИС могут быть разделены по аналогичному принципу.

Г) Объектно-объектный равновесный реальный рациональный ИС — Штефан Моравчик. Подобно Баторовой и Гауговой, Моравчик принадлежит к числу авторов, у которых процент МП соответствует проценту ЭП, общее количество ПВС у Моравчика равняется среднему в подборке. Подобно Баторовой, Моравчик в подавляющем большинстве случаев употребляет глаголы в настоящем времени изъявительного наклонения, без модальных модификаторов, пассивизации и каузативизации. Все пропозиции в ИЛ Моравчика либо являются вневременными или хабитуальными, либо разворачиваются в актуальном времени. Стиль Моравчик относится к объектно-объектным ИС, высказывания от 3 лица существенно превалируют над высказываниями от 1 лица, субъектов третьего лица в ИС Моравчика в три раза больше, нежели первого. Субъектную валентность могут заполнять: 1) номинации мужчин, женщин и детей («парни, какие вы смелые!», «мужчина только чувствует, мечется в злом гневе», «напрасно муж сердится», «только девушка еще может любить нас», «дети нас экзаменуют», «женщины все знают, но не скажут», «если бы женщина знала, что говорит»); 2) обобщенные или отрицательные кванторы («никто не знает, где Ева выросла») либо ИГ в обобщенном употреблении («что еще человек может уважать», «человек думает, что погибнет», «никто не знает, что это будет»). Субъект 2 лица встречается значительно реже — в 7 раз меньше, нежели субъект 3 лица и в 3 раза меньше, чем субъект 1 лица. В частности, второе лицо появляется один раз в прямой речи

(«он сказал: „когда ты влюбишься, зеркало затуманится“»), с фактической референцией к 1 лицу, то есть к ЛГ, и три раза в повелительном наклонении («верь мне», «люби меня, люби меня»). Характерно, что образ возлюбленной как самого близкого человека и собеседника (с позитивным либо с негативным отношением) в ИЛ Моравчика, в отличие от всех остальных ИЛ, практически отсутствует. Поскольку 1 лицо в данном случае является маркированным, разберем отдельно контексты употребления ПВС с субъектом 1 лица в ИЛ Моравчика. Как правило, он появляется 1) для комментария альтернативных взглядов на жизнь («я и так тебе завидую из-за этих взглядов на жизнь», «сейчас я воспринимаю это через детей, чистота, которая сама себя исследует», «можно об этом мертво писать, когда сердце трепещет, что-то станет, я стыжусь, как кобыла, когда перевернет сани»); 2) для выражения неблагоприятной для ЛГ ситуации («я не в своей тарелке, не дома», «я боюсь заранее»); 3) в контекстах совместного действия, то есть в данном случае речь о 1 лице множественного, а не единственного числа («мы боимся за столик», «все мы мудрецы тоскуем без мая», «мы учимся у марта, у марка аврелия», «мы не говорим женщинам, что знаем об их местечке для лестии»). Отметим, что местоимение 1 лица единственного числа заполняет субъектную валентность при ЭП, в то время как местоимение 1 лица множественного числа — субъектную валентность при МП. То есть сам по себе ЛГ является скорее чувствующим, нежели мыслящим лицом, он не обладает аналитической способностью и может анализировать мир только совместно с другими на основании их опыта. Исключение составляет одно высказывание, в смысловом плане связанное с указанной закономерностью и отчасти объясняющее ее: «я установлю это через тебя». Совместное мышление выступает в качестве своеобразной компенсации одиночества и страха, в первую очередь страха жизни, с этим связана также невозможность ЛГ приспособиться к неблагоприятным обстоятельствам. Некоторая часть ПВС в ИЛ Моравчика представляет собой неопределенно-личные

конструкции с референцией к 1 лицу («ты удивлялся им, как детям», «что ты думал, что женщины только излишнее украшение гордости»). Как всегда у Моравчика, если речь идет о 1 лице, обозначаются некоторые необоснованные либо нестандартные суждения. В плане распределения МП по семантическим группам для ИС Моравчика характерна их сравнительно равномерная распределенность. Число МП ментального процесса соотносимо с числом МП сохранения знания. МП остальных семантических групп соотносимы между собой, и каждая из них насчитывает в два раза меньше предикатов, нежели МП ментального процесса и МП сохранения знания. В ИЛ Моравчика сравнительно мало предикатов под отрицанием. Основным контекстом функционирования МП у Моравчика стал контекст «неочевидного или утраченного знания», которое доступно не всем. Субъект употребляется с выделительными либо ограничительными частицами: «уже только девушка знает, что такое ...пояс», «никто не знает, где Ева выросла». Из ЭП для Моравчика наиболее характерны ЭП любви и ненависти; последних в два раза больше, чем ЭП любви. Показательно, что МП у Моравчика распределены сравнительно равномерно и утверждается только позитивное знание, в то же время среди ЭП наблюдается явный перевес, выражаются как позитивные, так и негативные эмоции.

Н) Объектно-объектный неравновесный реальный иррациональный ИС — Виера Прокешова. Она из тех поэтов в исследуемой подборке, чей ИЛ в большей степени насыщен ПВС. Как у большинства авторов с высоким процентом ПВС, ее ИС в плане соотношения МП / ЭП является неравновесным, МП в ИС Прокешовой больше, чем ЭП. Прокешова относится к числу авторов, которые относительно часто употребляют прошедшее время; в случае конкретно Прокешовой оно употребляется в основном при рассказе о некоторых значимых событиях, из которых затем делается вывод. Кроме того, в ИЛ Прокешовой достаточно часто употребляется условное наклонение (при полном отсутствии повелительного),

а также маркеры недостоверности сообщаемого («все так ведут себя, как будто они тебя любят»). Далее, для Прокешовой характерно употребление модальных конструкции с ЭП, как с отрицанием, так и без него, вида «я могу радоваться» / «я не могу радоваться» / «я должна быть счастливой», «я не должна бояться». В отличие от Группы, который с показателями модальности сочетает МП, у Прокешовой желаемым является не знание о действительности, но именно позитивное к ней отношение. Пассивные и каузативные формы в ИС Прокешовой отсутствуют. Следующей особенностью, которая резко отличает ее ИС от остальных, является большое количество в ее ИЛ неопределенно-личных конструкций 2 лица с референцией к 1 лицу. Поскольку употребление 1 лица у Прокешовой является маркированным, мы начнем с него. В данном случае четко прослеживается индивидуально-диахроническая мотивация употребления личных форм, поскольку они в основном представлены в первом поэтическом сборнике Прокешовой при описании первых негативных впечатлений: «я боюсь холода», «я боюсь зимы», «я первый раз понимаю, что боль является в теле течением и обеими берегами»; автор как бы задает ориентиры своих страхов и страданий. В остальных случаях Прокешова отдает предпочтение формам совместного действия с референцией к 1 и 2 лицу либо с обобщенно-личной референцией: «он притворяется, как будто мы бы не радовались в другом месте», «мы верим друг другу: он тому, что во мне переменчиво... я тому, что кажется вечным», «мы ничего не узнаем о себе», «что ты знаешь о смерти, любимый? А я? Я знаю, что эта светловолосая пани... в среду не пришла», «мы будем стеречь, пока не поймем, что надо остаться внутри». Иногда формы 1 лица употребляются изолированно либо в комбинации с обобщенно-личными формами 2 лица для экспликации мыслительного процесса («как это может быть прекрасно, пока ты об этом не знаешь, я думаю об этом на рассвете», «я думала о тебе, если бы ты был здесь, мы бы разговаривали», «я думала про охраняемые места», «я думаю про ветер и дожди»).

В последовавших сборниках формы 1 лица практически исчезают и появляются спорадически в основном при МП «знать»: «я знаю обо всем своем и не думаю об этом». 2 лицо с референцией к собеседнику употребляется к ВП сравнительно редко, в основном в ранний период творчества: «именно сейчас ты должен был бы быть здесь и думать обо мне в темноте», «ты чувствуешь страшную усталость». В последующей лирике ВП обращение ко 2 лицу как к собеседнику практически исчезает и появляется лишь спорадически в контексте диалога и значимой противопоставленности 2 и 1 лица (в основном если моделируется актуальная ситуация разговора): «ты запомнишь меня обращенной к себе?», «что ты знаешь о смерти, любимый? А я?». Агенты 3 лица не занимают в ИЛ Прокешовой центрального места и встречаются в 8 раз реже, нежели агент, апеллирующий к ЛГ. Как правило, это люди, близкие ЛГ. Это может быть ее возлюбленный: «он верит тому, что во мне переменчиво» «он смотрел на тебя. Он был рад?», «он все воспримет и запомнит», «что он будет знать об этой стране?», «все чаще он чувствует себя плохо», «заколка скользнет по волосам, он испугается», «он долго исследует, какое у тебя настроение», «он узнает тебя в распахнутых дверях». Заметим, что 3 лицо — возлюбленный — обладает позитивным знанием, но негативными эмоциями, и ЛГ является скорее предметом интеллектуального познания, нежели эмоционального отношения 3 лица. Кроме того, это может быть дочь: «малышка уже не знает, что плохого сделать от счастья». Также 3 лицо употребляется в неопределенно-личных конструкциях для обозначения массы людей, которым ЛГ противопоставляет себя: «где иные забывают, я забываюсь», «некоторые тебя забывают», «каждый возле тебя плохо себя чувствует». Иные субъекты, кроме указанных, в ИС Прокешовой отсутствуют, что также отличает ее от других авторов из подборки, у которых персональный состав лирики более широкий. Центральными МП для ИЛ Прокешовой являются две группы — МП сохранения знания, в равной степени с отрицанием и без, а также МП соответствия степени

адекватности без отрицания. Они используются в следующих основных контекстах: А) момент понимания («я первый раз понимаю, что боль является в теле течением и обоими берегами», «прежде я не понимала эту силу, этот полет», «ты все чаще размышляешь, как это выдержать: быть несчастной и хорошей», «потом забыть и снова узнать об этом точно»); В) недоверность реальности («все было бы еще лучше, если бы ты этому поверил», «я буду представлять себе, какая я буду другая, когда ты снова придешь», «ты слышишь все, что только тебе приснится», «как все прекрасно, пока ты об этом не знаешь»). Реальность является для ЛГ источником страданий. Поэтому необходимым положением дел для Прокешовой является либо незнание о реальности, либо создание вымышленной реальности, в которой осуществляется альтернативная либо желаемая ситуация: «я могу себе его представить, он молчал бы или говорил бы о душе», «я жду так самоотверженно, как если бы я это знала». Ср также характерную для ИС Прокешовой конструкцию: «она стала неуверенной, когда подумала о городах и не могла себе их представить». Наивысшую ценность для ЛГ Прокешовой представляет реальность улучшенная, скорректированная, либо реальность еще не воплощенная, но смоделированная в воображении. Прокешова отрицает полную недоверность, но лишь утверждает абсолютный приоритет желаемого над действительным, вернее, действительно для нее лишь то, что желаемо. Из ЭП у Прокешовой наиболее употребительны ЭП страха и радости, причем вторые в два раза превышают первые. Страх у ЛГ связан с непредсказуемостью жизни, а также с непредсказуемостью собственного характера: «ты боишься своей вспыльчивости». Вообще ЛГ Прокешовой причиняет страдания скорее внутренний мир, нежели внешний: «ты страдаешь из-за одних только мыслей». Радость у ВП никогда не является полной или реальной. Она либо принадлежит актуальному настоящему и поэтому никогда не может быть окончательной в силу недоверности самой реальности: «тебе приятно, но было бы гораздо лучше,

если бы ты этому поверил», «он притворяется, словно бы мы не были рады в другом месте», «есть много вещей, которые были бы смешными, если бы человеку не было за них стыдно», «все тебе так помогают, как будто любят тебя». Она также может быть еще не воплощенной и принадлежать плану будущего: «ты не обязана быть несчастной, наоборот», «ты бы хотела быть счастливой?», «ты обязана быть счастливой». Ср. также: «радость, если ты ее переживаешь, бывает только твоя, чем конкретнее ты ее переживаешь, тем ее меньше». И вместе с тем «тебе нравится радость окончательная». Радость чаще связана с воображением, процессом созидания альтернативной реальности: «ты радовалась, выдумывала прекрасные вечера». ЛГ Прокешовой стремится к идеальной реальности, создавая ее в своем воображении. Именно сам факт возможного воплощения идеала в жизнь доставляет ЛГ Прокешовой наивысшее удовольствие, полный отрыв от реальности означал бы для ЛГ погружение в самое себя и в свои страхи. Возможно, со стремлением оторваться от самой себя и одновременно с невозможностью слияния с окружающей действительностью связано такое количество в ИС Прокешовой неопределенно-личных высказываний с референцией к 1 лицу. Вместе с тем абсолютное соединение с реальностью для Прокешовой недостижимо, и любовь к миру никогда не достигает своего полного воплощения и ЛГ балансирует на грани необходимого и актуального миров.

1) Объектно-объектный неравновесный ирреальный иррациональный ИС — Милан Руфус. Из всех авторов в подборке у Руфуса наибольшую функциональную нагрузку выполняют агенты 3 лица. При этом субъектную валентность занимают либо лица, характеризующиеся как члены семьи (мать, отец), либо природные реалии (хлеб, иней, роса). Прошедшее время занимает в ИЛ Руфуса довольно существенное место и по меньшей мере его употребление соотносимо с употреблением настоящего. Из МП ключевыми для Руфуса являются предикаты ментального процесса и сохранения / несохранения знания. У Руфуса сфера действия МП лежит в плане

будущего, и представляет собой нечто позитивное, что необходимо найти. Ментальный процесс, по Руфусу, представляет собой целенаправленный процесс поиска добра, частотным в его лирике является мотив поиска утраченного рая. Основными контекстами употребления предикатов ментального процесса у Руфуса являются: А) изображение мыслительной деятельности как буйной активной стихии, которую надо остановить и утихомирить; мысль рвется через край, как наводнение, дымит и шумит — мысль есть материальная экспансивная субстанция; В) изображение мысли как тяжести, груза; С) изображение мыслей о светлом будущем в контексте неблагоприятной реальности, в данном случае мысль — это сон, мечта, построение планов. При этом Руфус неизменно дает самому факту мыслительного процесса позитивную оценку, поскольку субъект мысли живет и борется, а не пасует. Сферой действия предикатов сохранения информации являются трансцендентные сущности или реальность за пределами человеческого ума и познания. Основным контекстом употребления предикатов сохранения знания у Руфуса является противопоставление ума и мудрости. Мудрость представляет собой предшествующую и следующую ступень относительно ума. Исходно мудростью обладают дети, и в конце жизни старики возвращают себе утраченную мудрость. Под мудростью автор понимает мгновенное и глубинное познание вещей. ЛГ трактует жизнь как процесс утраты Мудрости и замены ее Умом, который представляет собой последовательное и поверхностное познание вещей. Истинное знание, которым можно обладать — это знание о глубинной сущности объектов, и любая информация такого рода сама по себе является большим благом. При этом о недостоверности реальности как таковой в лирике МР речи не идет. Противопоставляется только большая / меньшая глубина достоверного знания. Для ЛГ Руфуса актуальным является противопоставление спонтанного, скачкообразного познания и линейного познания, а также противопоставление социального знания, реализуемого наяву / индивидуального знания,

оно же трансцендент и волшебство / сон и детство. Ментальный процесс в трактовке Руфуса всегда обозначает поиск, предчувствие и предвидение. Частотными являются выражения вида «знать заранее». Характерная антитеза в лирике Руфуса — «еще знаю, но уже предчувствую». Что касается ЭП, центральное место в его ИЛ занимают предикаты со значением страдания, любви, и, в меньшей степени, страха. Объектом страха, как правило, является либо избыточная информация, либо трансцендент, который в ментосфере Руфуса олицетворял «истинную» информацию. Также частотным является изображение страха смерти и страха бедности. Примечательно, что у Руфуса ЛГ боится не только за себя, но и за близких ему людей — за возлюбленную, за мать, за детей, определяющим в данном случае является страх потерять их. ЛГ Руфуса, таким образом, боится либо социальных явлений (бедность), либо перехода в иную, трансцендентную реальность (отсюда стремление ЛГ постичь трансцендент еще при жизни). Контекстами употребления предикатов страха является либо призыв к субъекту страха не бояться, либо призыв к источнику страха, чтобы этот источник не пугал субъекта страха. ЛГ осознает свое бессилие в этом вопросе, но тем не менее считает необходимым высказываться. Руфус часто употребляет предикаты, сигнализирующие боль, грусть и усталость, частотны противопоставления энергичного прошлого и апатичного настоящего. Далее, он называет стихи и креативную деятельность «своей болью», творчество в его трактовке неизбежно сопряжено со страданием. Также боль и грусть в понимании Руфуса сопряжены с утратой контакта с Богом (выражением утраты контакта с Богом является умственная деятельность, которая поглощает ЛГ и которая приносит ему страдания). ЛГ также страдает от собственного опыта и от тяжести прожитых лет. Страдает и грустит не только ЛГ: страдают ролевые герои — матери, утратившие своих детей и бедные люди из разных стран.

Ж) Объектно-субъектный неравновесный ирреальный иррациональный ИС — Ян Замбор. Он относится к авторам,

которые имеют наиболее низкий процент ПВС от общего числа предикатов, число ЭП у него в полтора раза превышает число МП. Из грамматических показателей у Замбора наиболее явно выделяется сравнительно частое обращение к каузативным конструкциям типа «заставить знать», «заставить любить». Спорадически у него также употребляются формы императива с ЭП в конструкциях совместного действия вида «давай радоваться», «давай любить». В плане субъектно-объектной организации ИЛ специфической чертой Замбора, резко отличающей его от остальных авторов в подборке, является большое количество безличных конструкций с ЭП типа «мне радостно, мне грустно» — но не «я радуюсь, я грущу». Поскольку, равно как и у Прокешовой, в данном случае маркированными являются именно личные конструкции, мы начнем с них, конкретно с употребления форм 1 лица, которых у Замбора в полтора раза меньше, нежели безличных. Как и у Прокешовой, употребление личных конструкций у Замбора является диахронически обусловленным и характерно скорее для ранней лирики («я предчувствую», «я дрожу за каждый твой волосок», «я не дам тебе покоя», «я радовался девушкам»). Частотное употребление форм 1 лица с сослагательным наклонением («я бы лучше чувствовал себя в подвале», «у меня не было бы ощущения, что я обманываю собственную жену», «я как будто вспоминал про забытый вкус») либо в контексте противопоставления 2 и 1 лица («когда панельные стены будут для вас невыносимы, я найду в них песок из вашей родной реки», «я почувствую, что мы связаны тайным течением»). Подобно Прокешовой, Замбор также часто употребляет неопределенно-личные конструкции 2 лица с референцией к 1 лицу («в стеблях ты почувствуешь теплый хлеб», «ты забываешь про пот», «что правда и что ложь, ты часто знаешь лишь приблизительно», «фигуру в витрине ты перепутал с живой красавицей», «вспомни про летний греческий остров»). Кроме того, у Замбора, в отличие от других авторов, представлена апелляция ко 2 лицу множественного числа как к совокупности

потенциальных коммуникантов: «вы думаете, что в горах воздух без химикалий?», «когда вам надоедят серые бетонные поля, я покажу вам...» Из других агенсов 2 лицо как таковое появляется в стихотворениях, посвященных сыну и жене: «ты радуешься, открывая собственные ручки», «ты будешь об этом знать, хотя об этом между нами не будет сказано ни слова», «успокой меня». Отметим, что у Замбора, равно как у Группача, сравнительно редко появляется образ возлюбленной. Агнс 3 лица присутствует у Замбора вдвое реже, нежели безличный. Объекты, которые заполняют позицию агенса 3 лица, все равно метонимически связаны с ЛГ: «у меня сжимается сердце», «мой голос сведет ее с ума». Другими агенсами являются «официальные лица»: «шофер нервничает», «девушка из канцелярии удивлена». В остальном ЯЗ отдает предпочтение безличным конструкциям с фактической референцией к 1 лицу («меня тянуло к ней», «мне казалось», «мне кажется, что сегодняшнюю любовь я украл у жизни», «тень диктатора мерещится мне на каждом шагу», «меня не интересуют лебеди») либо каузативным конструкциям «море сводит нас с ума», «тебя поразит их неожиданная симпатия» и под. Как мы отмечали, МП играют в ИС Замбора подчиненное положение. Тем не менее среди них выделяются в качестве центральных МП сохранения знания (под отрицанием несколько больше, чем без отрицания) и МП соответствия степени адекватности. Они употребляются в следующих ситуациях: А) процесс забвения реальности («о море, ты даешь нам забыть», «иногда я забываю про пот и пыль», «мы забываем про улыбки и ласковые слова»); В) результат забвения («никто не знает, когда это было поставлено», «вы думаете, в горах трубы высокие», «как будто я вспоминаю забытый редкий вкус»); С) как следствие размывания границ между миром внутренним и внешним, утверждение приоритета субъективного впечатления от реальности («и стропила кажутся детской игрушкой», «возможно, в чем-то ты ошибаешься», «тебе кажется, что ты все успеешь», «прекрасные здания казались мне никчемными», «манекен в витрине ты перепутал с

живой красавицей», «открывая окно, я не знаю, радоваться ли мне, что дым от Славнефти не тянет прямо на нас», «ее лицо было замкнутым, поскольку она не знала о своей красоте»). Даже употребляя предикаты, обозначающие рациональную деятельность, Замбор утверждает примат субъективного осмысления реальности, именно субъективное впечатление являет собой подлинную реальность и наивысшую ценность. Счастье приносит лишь факт осознания субъективности. Поэтому естественным представляется примат у Замбора ЭП. Среди ЭП ключевыми для его ИС стали предикаты, обозначающие эмоции: страх, радость, любовь и ненависть. Все четыре группы ЭП представлены у него приблизительно в одинаковой степени. Страх у Замбора — это страх за чью-то жизнь, в том числе за свою собственную, или страх смерти: «я боюсь моря», «я боюсь за каждый твой волосок», «твое дыхание я внимаю всем своим сердцем, всем бытием, я больше за него дрожу». Любовь либо радость, как правило, предполагает нахождение в актуальном пространстве какого либо личного предмета либо объекта, вызывающего позитивные личные воспоминания: «ты радуешься чудесному открытию своих ручек», «я радуюсь весенней яблоне». Отсюда частотность у Замбора позитивных эмоций в стихотворениях, посвященных возвращению в места своего детства / своей юности. Ненависть у поэта вызывает город, а значит, все рациональное и потому неестественное, которое лишает человека его природной субъективной ориентации: «когда панельные стены будут для вас невыносимы», «место, где можно забетонировать стены, и меня раздражает, что и души тоже» Также частотны у Замбора каузативы именно эмотивного характера: «море сводит нас с ума», «день окончательно свел нас с ума», «я не дам тебе покоя», «мой голос ее одурманит», «в какой трепет привел меня предмет, до которого она дотронулась». Характерна семантика этих каузативов: это сведение с ума или потеря рационального, сознательного контроля над своим внутренним состоянием. Замбор утверждает абсолютный примат субъективной иррационально

познаваемой реальности, где субъект есть лишь пассивный носитель эмоций и где любое знание есть только личное переживание. Именно это в ИС Замбора составляет реальность подлинную и гармоничную.

Как следует из всего вышеизложенного, в отличие от номинативной типологии ИС, при рассмотрении ИС в грамматико-синтагматическом ракурсе определяющим фактором будет являться не столько словарный состав ИЛ, сколько сочетаемостные характеристики соответствующей лексики. В зависимости от автора, предикаты сочетаются с определенным типом агенса, который может колебаться от предельно индивидуализированной личности до полной безличности. Кроме того, определяющим ИС фактором является способность предиката подчинять себе определенные классы лексики, как именной, так и собственно предикатной. Конкретное лексическое наполнение предиката может быть разным, однако стабильным и определяющим конкретный тип ИС является именно таксономическая отнесенность слов, образующих простую либо сложную синтагму. Важную роль также играет регулярное появление / отсутствие модальной рамки в высказывании. Отметим здесь также одно специфическое свойство ПВС, которое мы не указывали прежде, а именно неравномерное распределение ПВС в ИЛ. Дело в том, что ПВС редко встречаются в ИЛ изолированно. Как правило, они представлены в виде скоплений монолитного либо смешанного характера. Различные аспекты функционирования предикатов в ИС соотносятся между собой так, что средства разных языковых уровней выстраиваются в одну систему. Так, процент ирреальных наклонений прямо пропорционален проценту модальных показателей в тексте и проценту лексики, обозначающей ирреальность денотата. Кроме того, «процент ирреальности» в тексте непосредственно связан с наличием лексики, обозначающей страх и (или) раздражение. В случае с ПВС фактором, определяющим их функционирование в тексте, является отношение между микрокосмом и макрокосмом лирического субъекта, конкретнее, путь преодоления разъединенности

микрокосма и макрокосма. Эта дилемма может разрешаться лирическим субъектом по-разному — микрокосм может расширяться до размеров макрокосма, может провозглашаться принципиальная несовместимость этих двух измерений и т. п. В конечном счете именно способ освоения «внешнего пространства» влияет на отбор языковых средств различных уровней, которые становятся конституентами ИС. Гендерный фактор в лирике, если рассматривать ее в указанном аспекте, проявляется в том, что женщины-поэты более склонны к стабильности, нежели мужчины-поэты, и представляют собой «категориальный центр» любой таксономической соотнесенности.

#### ЛИТЕРАТУРА

Аверинцев 1990: *С. С. Аверинцев*. Пастернак и Мандельштам: опыт сопоставления // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 1990. № 3.

Баевский 2006: *В. С. Баевский*. Из наблюдений над поэтикой Иннокентия Анненского // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2006. № 1.

Баевский 2008: *В. С. Баевский, И. В. Романова*. Поэтика книги Б. Пастернака «Сестра моя жизнь» // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2008. № 5.

Бахтиозина 2008: *М. Г. Бахтиозина*. Языковые особенности отражения временных планов в собственной авторской речевой партии художественного текста // Вестник Московского Государственного университета. Серия 11. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2008. № 4.

Большакова 2005: *Г. Н. Большакова*. Единицы с количественной, качественно-количественной и количественно-оценочной семантикой в идиолекте и идиостиле В. Набокова // Логический анализ языка. Квантификативный аспект языка. М., 2005.

Виноградов 1963: *В. В. Виноградов*. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.

Гак 1993: *В. Г. Гак*. Пространство мысли (опыт систематизации слов ментального поля) // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993.

Гин 1991: *Я. И. Гин*. К вопросу о построении поэтики грамматических категорий // Вопросы языкознания. 1991. № 1.

Голованевский 2006: *А. Л. Голованевский*. Явление лексической неоднозначности в языке поэзии Ф. Тютчева // Вопросы языкознания. 2006. № 6.

Зализняк 2006: *Анна А. Зализняк*. Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2006.

Золян 2009: *С. Т. Золян*. О стиле лингвистической теории: Р. О. Jakobson и В. В. Виноградов о поэтической функции языка // Вопросы языкознания. 2009. № 1.

Ковтунова 1986: *И. И. Ковтунова*. Поэтическая речь как форма коммуникации // Вопросы языкознания. 1986. № 1.

Левина 2005: *И. Н. Левина*. Дейктический хронотоп в художественном тексте // Функционально-лингвистические исследования. СПб., 2005.

Очерки 1990: Очерки истории языка русской поэзии XX века. Общие вопросы. Звуковая организация текста. М., 1990.

Очерки 1995: Очерки истории языка русской поэзии XX века. Опыт описания идиостилей. М., 1995.

Петрович 2010: *М. А. Петрович*. Способы актуализации реалий в текстах южнославянских сказок. Автореф. канд. дисс. Пермь, 2010.

Ревзина 2002: *О. Г. Ревзина*. Загадки поэтического текста // Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста. Сборник статей в честь Галины Александровны Золотовой. М., 2002.

Якобсон 1975: *Р. О. Якобсон*. Лингвистика и поэтика // Структурализм: за и против. М., 1975.

Findra 2004: *J. Findra*. *Stylistika slovenčiny*. Martin, 2004.

Ф. Б. Людоговский

**Господские акафисты:  
специфика структуры  
и ее лексического наполнения**

0. ВВЕДЕНИЕ

*Акафист* (нетерминологический синоним — *неседален*) — один из немногих православных гимнографических жанров (наряду со *службой* и *молебным канонам*), в рамках которых в наши дни постоянно продуцируются новые тексты. Будучи связан в плане структуры (а также, возможно, и происхождения) с древним многострофным *кондаком* (см., например, [Казачков 2000: 373]), имея определенные пересечения с *канонам* (входящим, как правило, в состав службы), акафист в количественном отношении является наиболее активно воспроизводимой формой восточнохристианского песнотворчества: общее число акафистов в наши дни постепенно приближается к полутора тысячам<sup>1</sup>, ежегодный прирост составляет несколько десятков текстов<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> На 27 октября 2011 года, по данным свящ. Максима Плякина (Саратов) было известно 1387 акафистов. Необходимо отметить, что подобного рода численные показатели должны восприниматься как в известной степени условные — по меньшей мере, в силу двух причин. Во-первых, с точки зрения источниковедения совокупность фиксируемых в каталоге о. Максима акафистов представляет весьма пеструю картину: здесь и тексты, представленные в печатных («бумажных») изданиях, и интернет-публикации, и

Следует отметить, что акафист давно перешагнул конфессиональную границу: помимо текстов, возникших в православной среде, имеются как греко-католические (униатские) акафисты, так и католические неседальны, появившиеся на Западе.

0.1. ЯЗЫКИ АКАФИСТОГРАФИИ. Акафисты создаются по меньшей мере на двенадцати языках (с учетом единичных случаев).

Как известно, первый акафист — Акафист Богородице (Великий акафист, или просто Акафист) — был написан на греческом языке не позднее 626 года (возможно, десятилетиями ранее). Следующие тексты, воспроизводившие структуру и метрику Великого акафиста, были написаны через несколько веков и также по преимуществу на греческом языке. Вследствие установившегося османского ига греческая акафистография, начавшая было расцветать, в последующие столетия проявляла себя до поры до времени лишь отдельными, эпизодически появлявшимися текстами, однако эстафету (здесь, как и во многих других отношениях) приняла Русь — сперва Юго-Западная, а позже — Московская. В результате к настоящему времени мы имеем, с одной стороны, мощную традицию православной церковнославянской

---

оцифрованные рукописи, и гимны, предоставленные исследователю авторами и нигде на сегодняшний день не опубликованные, и др. Во-вторых (и это, пожалуй, важнее), нет четких критериев разграничения двух ситуаций: с одной стороны, двух (трех и т. д.) редакций одного акафиста и, с другой стороны, двух (или более) существенно различных текстов (чаще с тождественной, но в отдельных случаях — с различной адресацией). Но даже если эти критерии и были бы разработаны, то для их успешного применения необходимо иметь представление о текстологической истории каждого акафиста, а это на данном этапе развития акафистоведения представляется неосуществимым.

<sup>2</sup> О темпах роста акафистного корпуса можно судить по статистике, приведенной на сайте Сергея Скоморохова. См.: URL [http://akafist.narod.ru/list\\_2011.htm](http://akafist.narod.ru/list_2011.htm) (проверено 31.10.11; см. также ссылки внизу указанной страницы).

акафистографии, с другой — быть может, не столь представительную в количественном отношении, но не менее давнюю и не менее интересную униатскую традицию, которой сначала был свойствен церковнославянский язык, в наше же время можно констатировать переход на украинский язык.

Помимо греческого (много десятков текстов) и церковнославянского (сотни акафистов)<sup>3</sup>, известно по меньшей мере еще десять языков оригинального акафистного творчества. Из славянских языков это прежде всего сербский (десятки текстов), а также украинский (аналогично — несколько десятков), польский, болгарский, чешский и русский (на четырех последних языках — от одного до 5–6 текстов). Романская группа представлена румынским и французским (на каждом языке — несколько десятков текстов), германская — английским языком (также несколько десятков текстов). Наконец, известно несколько акафистов на грузинском языке.

В наши дни акафисты довольно активно переводятся. Среди популярных направлений перевода — с греческого на румынский и церковнославянский, с церковнославянского — на английский, сербский, болгарский и др. Список языков, на которые переводятся акафисты, шире приведенного выше перечня языков оригинальной акафистографии: сюда добавляются, в частности, немецкий, белорусский, финский и др. Об акафистах на разных языках и о переводах акафистов см., в частности [Людоговский 2006; Людоговский—Плякин (в печати)].

0.2. ЛОКАЛЬНЫЕ АКАФИСТОГРАФИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ: ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ. Параллельное развитие локальных

---

<sup>3</sup> Наиболее представительное собрание церковнославянских акафистов в Интернете — сайт Даниила Дремачева «Акафистник» (URL <http://akafistnik.ru>, проверено 31.10.11); собрание ссылок на имеющиеся в Сети акафисты (преимущественно на церковнославянском языке) — сайт Сергея Скоорохова <http://akafist.narod.ru> (проверено 31.10.11).

традиций естественным образом привело к возникновению определенных различий между ними.

Так, греческие акафисты тщательно соблюдают метрику Великого акафиста — это относится как к хайретизмам, так и к икосному рефрену; церковнославянские акафисты в этом отношении гораздо свободнее и разнообразнее. Греческие неседальны практически не знают исключений в организации акростиха: во всех текстах этого жанра акростих будет наличествовать, и это будет именно алфавитный акростих; в церковнославянской традиции преобладает псевдотекстовый акростих (строфические ключи), см. [Людоговский 2008], но при этом известны и случаи фразового акростиха — явление, обычное для канонов, но редкое в области акафистографии<sup>4</sup>.

Хайретизм в акафистах почти на всех языках представляет собой предложение относительно небольшого объема; между тем можно указать сербские акафисты, где каждое воззвание является четверостишием.

В формирующейся польской традиции наблюдается тенденция не только создавать новые тексты с алфавитным акростихом, но также снабжать подобным краегранесием и переводные акафисты — независимо от того, присутствовала ли такая особенность в оригинале или же нет.

Вместе с тем современные средства коммуникации порождают интенсивные контакты, неизбежно оборачивающиеся синтезом локальных традиций. Приведем пример. Как уже отмечалось, греческие

---

<sup>4</sup> Фразовый акростих, к примеру, содержит один из акафистов Кресту (см.: URL [http://pesni-tserkvi.narod.ru/ak\\_krest/ak\\_krest.htm](http://pesni-tserkvi.narod.ru/ak_krest/ak_krest.htm), проверено 31.10.11; акростих (без первого и последнего кондаков): *Кресту Твоему поклоняемся*); «Акафист Христу-младенцу» (см.: URL [http://akafist.narod.ru/H/Hristu\\_Ml.htm](http://akafist.narod.ru/H/Hristu_Ml.htm), проверено 31.10.11; акростих: *Рождество Христово духом пою*). Имеется также ряд униатских акафистов на украинском языке, содержащих алфавитный акростих. См. подробнее [Плякин 2011].

акафисты неизменно содержат алфавитный акростих. При этом в одних случаях начальная лексема определенной строфы будет воспроизводить начальную лексему соответствующей строфы Великого акафиста, в других — будет лишь начинаться с той же буквы. Соответственно, при переводе греческих акафистов на церковнославянский в некоторых текстах устоявшийся в славянской традиции псевдотекстовый акростих будет частично соблюден, в иных — крайне размыт. Можно ожидать, что в дальнейшем это поведет к возникновению новых строфических ключей уже в оригинальных церковнославянских акафистах.

0.3. АДРЕСАЦИЯ АКАФИСТОВ. Не менее важной характеристикой акафиста, в сравнении с конфессиональной или языковой принадлежностью, является его адресация. В этом отношении все акафисты могут быть поделены на четыре неравные группы.

Первая (в иерархическом порядке адресатов) — акафисты Богу (= Господские акафисты). Они составляют не более 6% от общего количества, однако характеризуются рядом особенностей, противопоставляющих их как всем прочим акафистам, так и друг другу.

Вторая группа — акафисты, посвященные Богородице. Именно Богородице был посвящен первый — Великий — акафист. Доля этой группы — 15%.

Третья группа, самая малочисленная, — акафисты ангелам. Их известно лишь два десятка, что составляет менее полутора процентов от всей совокупности<sup>5</sup>.

Наконец, четвертая группа — это акафисты святым. Это наиболее многочисленный (и постоянно увеличивающий свой удельный вес) разряд текстов рассматриваемого жанра: святым адресовано свыше 77% от всех известных нам на сегодняшний день акафистов.

Разумеется, в каждой из перечисленных групп можно выделить подгруппы, однако не всегда такая детализация будет связана именно

---

<sup>5</sup> Об акафистах ангелам см. [Людоговский—Плякин (в печати)].

с адресацией. Так, для акафистов святым оказывается важным не столько содержательный аспект (кому именно посвящен акафист — преподобному, святителю, мученику<sup>6</sup>), сколько количественный. В частности, церковнославянский акафист одному святому (или двум-трем, в крайнем случае — четырем святым) содержит достаточно устойчивые формальные отличия от акафиста собору святых: в акафистах одному-трем святым имя святого (святых) будет обязательно присутствовать в рефрене, но, как правило, отсутствовать в хайретизмах; в акафистах соборам святых — напротив: имена отдельных святых почти наверняка будут включены в хайретизмы, в то время как в рефрене они не будут перечисляться. В греческих акафистах водораздел проходит по несколько иной линии: в акафистах одному святому будет один икосный рефрен, в акафистах двум, трем, четырем святым могут (но не обязательно будут) присутствовать соответственно два, три или четыре рефрена, циклически сменяющие друг друга от икоса к икосу.

Среди акафистов ангелам также имеются как тексты, посвященные отдельным бесплотным, известным по именам (архангелам Михаилу, Гавриилу, Рафаилу и др.), так и соборам ангелов или архангелов. Кроме того, имеются акафисты ангелу-хранителю (то есть не конкретному ангелу, а, так сказать, ангелу-функции, принимающему различные значения в зависимости от аргумента — конкретного человека) и ангелу-хранителю города Москвы (как можно предположить, вполне определенному, однако не известному по имени)<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Профессор Казанской духовной академии Алексей Васильевич Попов во второй части своей докторской диссертации [Попов 1903] предпринял попытку установить зависимость между адресацией акафиста святым разных ликов и особенностями поэтики акафистов, однако эта попытка одним из оппонентов была признана не вполне удачной (см. [Царевский 1907]).

<sup>7</sup> Недавно появился акафист ангелу-хранителю Украины, текстуально весьма близкий акафисту московскому ангелу. См.: URL <http://www.olehsj.com/Himnologija/Himnologija16.html> (проверено 31.10.11).

В группе акафистов, адресованных Богородице, наиболее значительную в количественном отношении подгруппу образуют акафисты в честь икон. Помимо этого могут быть выделены акафисты в честь богородичных праздников. Прочие тексты этой группы поддаются классификации с большим трудом.

Наконец, акафисты Богу — при относительно небольшом их числе (порядка 80 текстах на разных языках) они являют примечательное разнообразие — и именно в тех участках текста, где практически все остальные неседальны обнаруживают завидное единодушие.

Рассмотрению особенностей структуры и поэтики данной группы акафистов и посвящена настоящая статья. Вначале будет представлена классификация Господских акафистов (1.). А далее нас будут интересовать прежде всего микротексты трех типов: хайретизмы (2.), икосные рефрены (3.) и рефрены кондаков (4.). Специфика строфических ключей (начальных словоформ в строфах) Господских акафистов также представляет определенный интерес, однако требует дополнительных исследований.

## 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСПОДСКИХ АКАФИСТОВ

Акафисты Богу естественным образом разделяются на четыре подгруппы: 1) Святой Троице, 2) Богу Отцу, 3) Господу Иисусу Христу, 4) Святому Духу. Между тем такая классификация сама по себе мало помогает делу, поскольку из 81 известных на сегодняшний день Господских акафистов 68 (прямо или опосредованно) обращены ко Христу. Таким образом, внутри подгруппы акафистов Спасителю необходима дополнительная рубрикация.

В рамках данного параграфа нет возможности дать сколько-нибудь подробное описание каждого из Господских акафистов. Наша цель в данном случае — выявить основные группы акафистов и показать имеющиеся связи как между группами, так и между отдельными текстами.

1.1. АКАФИСТЫ СВЯТОЙ ТРОИЦЕ. Здесь следует различать собственно акафисты Святой Троице, то есть такие акафисты, в заголовке которых отражено их посвящение, и акафисты (точнее, один акафист), также адресованный Триипостасному Богу, однако озаглавленный иным образом.

1.1.1. СОБСТВЕННО «АКАФИСТЫ СВЯТОЙ ТРОИЦЕ». По нашим данным, существует четыре акафиста Троице: два греческих и два церковнославянских. Автором одного из греческих текстов (см. [УХ 1996: 608–617]) является диакон Иоанн Евгеник, брат святителя Марка Эфесского (1392–1444). Что касается церковнославянских акафистов, то один из них (см. [Двунадесятые 2002: 339–356]) был использован для создания второго святителем Иннокентием Херсонским (1800–1857).

1.1.2. АКАФИСТ БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ «СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ». Этот акафист<sup>8</sup>, весьма своеобразный как в отношении языка (это единственный акафист, написанный по-русски), так и в плане поэтики, явным образом не содержит посвящения Троице. Однако при решении вопроса об адресации анализ текста позволяет заключить, что этот гимн обращен именно к Троице (а не, скажем, к Богу Отцу или Христу).

1.2. АКАФИСТЫ БОГУ ОТЦУ. Появление акафистов с такой адресацией — яркий пример «заполнения клеточек». С давних пор был известен акафист Иисусу Сладчайшему; в XIX веке широкое распространение получил акафист Св. Троице святителя Иннокентия Херсонского (см. выше 1.1.1.); в XX столетии были написаны акафисты Св. Духу (см. 1.4.). «Неохваченной» оставалась лишь первая ипостась — и вот, уже на рубеже второго и третьего тысячелетий, появились акафисты Богу Отцу.

---

<sup>8</sup> См.: URL [http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/akathist.htm#\\_Toc63593177](http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/akathist.htm#_Toc63593177) (проверено 31.10.11).

На сегодняшний день нам известны три акафиста, обращенных к Богу Отцу: на церковнославянском<sup>9</sup>, польском<sup>10</sup> и украинском<sup>11</sup> языках. Интересно отметить, что польский акафист входит в комплект из трех гимнов, обращенных к трем ипостасям Троицы, при этом два текста два (Богу Отцу и Святому Духу) представляют собой оригинальные польские акафисты, снабженные алфавитным акростихом, а акафист Спасителю — это перевод с церковнославянского акафиста Иисусу Сладчайшему (польский текст также содержит алфавитный акростих).

1.3. АКАФИСТЫ ИИСУСУ ХРИСТУ. Как отмечалось выше, акафисты Христу составляют 84% от общего числа Господских акафистов. Можно предложить следующую их классификацию.

1.3.1. АКАФИСТЫ ИИСУСУ СЛАДЧАЙШЕМУ. Известно четыре акафиста с таким названием. Наибольший интерес представляет собой тот из них, который был написан первым после Великого акафиста (согласно традиционной точке зрения — на греческом языке, однако О. А. Родионов полагает, что оригинальной была славянская версия текста<sup>12</sup>). Этот акафист печатается в Следованной Псалтири [Псалтирь 1993: 234–242] и в молитвословах. К этой группе примыкает «Акафист Пресладкому Имени Господа Иисуса Христа»<sup>13</sup>.

1.3.2. АКАФИСТЫ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКОВ. Под праздником здесь понимается некое событие, включенное в церковный календарь — будь то в подвижный богослужебный круг или же в неподвижный. К этой группе относятся акафисты Рождеству Христову [Двунадесятые

<sup>9</sup> См.: URL <http://akafist.narod.ru/S/Savaof.htm> (проверено 31.10.11).

<sup>10</sup> См.: URL <http://www.monasterujkowice.pl/books.php?b=14&c=1> (проверено 31.10.11).

<sup>11</sup> См.: URL <http://teolib.h1.ru/SIText/asvd.html> (проверено 31.10.11).

<sup>12</sup> Доклад на I конференции «Современная православная гимнография» (ноябрь 2009 г., Москва).

<sup>13</sup> См.: URL <http://starbel.narod.ru/akafiis.htm> (проверено 01.11.11).

2002: 99–132], Богоявлению [Там же: 135–158], Преображению [Там же: 359–376], в честь воскрешения Лазаря<sup>14</sup>, Страстям Господним [Там же: 243–256], Воскресению Христову [Там же: 277–314], Вознесению [Там же: 317–336] и др. Сюда примыкают акафисты Св. Троице (см. 1.1.1.), переосмысленные как акафисты на праздник Пятидесятницы, а также акафисты Св. Духу (1.4.), которые, соответственно, воспринимаются как соотносящиеся с Днем Святого Духа. Среди акафистов Богородице, рассмотрение которых выходит за рамки настоящей статьи, также имеется ряд акафистов в честь праздников.

1.3.3. АКАФИСТЫ В ЧЕСТЬ ИКОН ХРИСТА. Такое посвящение более характерно для акафистов Богородице. Тем не менее среди акафистов Христу также можно указать несколько текстов с подобной адресацией. Это два акафиста Спасу Нерукотворному, а также акафисты «Всемиловитому Спасителю ради обновления Нерукотворного Образа» и «Кровоточивому Малочернетчинскому образу Спасителя»<sup>15</sup>.

1.3.4. АКАФИСТЫ С ОПОСРЕДОВАННОЙ АДРЕСАЦИЕЙ. Имеется ряд акафистов, которые «в конечном счете» адресованы Христу, хотя формально имеют иное посвящение. Наиболее характерный пример – многочисленные акафисты Кресту Господню (известно по меньшей мере шесть текстов с таким посвящением). Сюда же относятся акафисты Гробу Господню (Двунадесятые 2002: 259–276), Сердцу Иисусову<sup>16</sup> и др. Характерной чертой подобных текстов является инициаль их хайретизмов и икосного рефрена (см. ниже § 2): в отличие от прочих акафистов Богу, в большинстве акафистов с опосредованной адресацией мы увидим инициаль *радуйся*, характерную для акафистов Богородице, ангелам и святым.

<sup>14</sup> См.: URL <http://akafist.narod.ru/L/Lazar.htm> (проверено 01.11.11).

<sup>15</sup> См.: URL [http://akafist.narod.ru/H/Hleb\\_Zhizni.htm](http://akafist.narod.ru/H/Hleb_Zhizni.htm) (проверено 01.11.11).

<sup>16</sup> См.: URL <http://ruscath.ru/liturgy/suppl/akathist/akathist2.shtml> (проверено 01.11.11).

1.3.5. *КАК-АКАФИСТЫ*. Могут быть также выделены такие тексты, которые можно назвать «акафисты Спасителю как...», или, чуть более терминологично, *как-акафисты Спасителю*. Имеются в виду «Акафист Христу-Младенцу»<sup>17</sup> (содержательно примыкающий к акафистам Рождеству Христову), «Акафист Иисусу Христу, Искупителю грешных»<sup>18</sup>, «Акафист Иисусу Победителю смерти», «Акафист Господу Иисусу Христу Грядущему»<sup>19</sup>, «Акафист Всемиловитому Господу, Врачу душ и телес наших»<sup>20</sup>, «Акафист Иисусу, Свету омраченных»<sup>21</sup> (последний – на английском языке) и др. Границы данной группы не вполне отчетливы. В частности, при желании сюда можно отнести акафисты Иисусу Сладчайшему (см. выше 1.3.1).

1.3.6. *АКАФИСТЫ К ПРИЧАЩЕНИЮ И ПО ПРИЧАЩЕНИИ*. Может быть выделена небольшая группа акафистов Спасителю, соотносящаяся с участием христианина в таинстве евхаристии. Известны три акафиста к причащению святых Христовых тайн (один из них — авторства упомянутого выше святителя Иннокентия Херсонского) и один благодарственный акафист после причащения. Нетрудно заметить, что данные гимны дублируют существующее с давних пор последование ко святому причащению (публикуется в составе Следованной Псалтири, в канонниках и молитвословах) и, соответственно, молитвы по причащении (входит в состав Службника, печатается в молитвословах).

<sup>17</sup> См.: URL [http://akafist.narod.ru/H/Hristu\\_Ml.htm](http://akafist.narod.ru/H/Hristu_Ml.htm) (проверено 01.11.11).

<sup>18</sup> См.: URL <http://www.palomnik.by/palomnik/sermons/art-768> (проверено 01.11.11).

<sup>19</sup> См.: URL <http://www.pravoslavnaya-biblioteka.ru/akafistnik/143.html> (проверено 01.11.11).

<sup>20</sup> См.: URL [http://zvonnic.ya.ru/replies.xml?item\\_no=2448](http://zvonnic.ya.ru/replies.xml?item_no=2448) (проверено 01.11.11).

<sup>21</sup> См.: <http://www.allsaintsofalaska.ca/index.php/the-orthodox-church/168-akathist-to-jesus-light-to-those-in-darkness-fr-lawrence-farley> (проверено 01.11.11).

1.3.7. ПРОЧИЕ АКАФИСТЫ СПАСИТЕЛЮ. К числу «прочих», методом исключения, приходится отнести, к примеру, «Акафист за единоумершего»<sup>22</sup>, «Акафист покаянный жён, погубивших младенцев во утробе своей»<sup>23</sup>, «Акафист молитвенный во ослабу душевныя скорби»<sup>24</sup>, «Акафист Всемогущему Богу в нашествии печали»<sup>25</sup> и др.

1.4. АКАФИСТЫ СВЯТОМУ ДУХУ. Известно пять акафистов Св. Духу: два православных на церковнославянском языке, один униатский — на украинском, один польский православный и один польский католический.

\* \* \*

Если произведенное выше деление Господских акафистов на непересекающиеся классы попытаться дополнить выделением тематических групп, допускающих пересечения, то, помимо отмеченных в предыдущем разделе статьи основных групп, определяемых адресацией гимнов (Святой Троице, Богу Отцу, Иисусу Христу, Святому Духу), могут быть указаны следующие объединения акафистов (не всегда имеющие четкие границы).

1) *Акафисты трем лицам Святой Троицы* — упомянутый выше комплект из трех акафистов (двух оригинальных и одного переводного) на польском языке.

2) *Акафисты праздника* — это в большинстве своем акафисты Христу (1.3.2.), а также, в результате переосмысления, акафисты Святой Троице (1.1.1.) и акафисты Святому Духу (1.4.).

3) *Покаянные акафисты*. Есть несколько акафистов, включающих в своё название слова «покаяние», «покаянный»: 1) «Акафист

---

<sup>22</sup> См.: URL <http://www.molitvoslov.com/text230.htm> (проверено 01.11.11).

<sup>23</sup> См.: URL <http://www.molitvoslov.com/text973.htm> (проверено 01.11.11).

<sup>24</sup> См.: URL [http://kotlovka.ru/index.php?option=com\\_content&task=view&id=2430](http://kotlovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2430) (проверено 01.11.11).

<sup>25</sup> См.: URL <http://www.molitvoslov.com/text693.htm> (проверено 01.11.11).

покаянный, составлен на основании Великого канона Андрея Критского», 2) «Акафист покаянный жён, погубивших младенцев во утробе своей», 3) «Акафист покаяния, или Песни, приводящие человека к сознанию своей греховности». Однако и старейший из Господских акафистов — акафист Иисусу Сладчайшему — также носит во многом покаянный характер (об этом красноречиво свидетельствует икосный рефрен: *Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя*). Покаянное настроение свойственно и прочим акафистам с тем же названием.

За пределами группы Господских акафистов можно указать два покаянных акафиста Богородице: «Акафист покаянный Преподобной Богородице о избавлении от плотских похотей» и просто «Покаянный акафист Пресвятой Богородице».

## 2. ХАЙРЕТИЗМЫ

Хайретизмы представляют собой входящие в состав икосов однотипные воззвания, обращенные, как правило, к тому же лицу, кому посвящен и акафист в целом. Внутренняя форма термина указывает на начальное греч. *χαῖρε* («радуйся»), употребленное в Великом акафисте и ставшее обычным началом хайретизмов в акафистах Богородице, ангелам и святым. Между тем в акафистах Богу наблюдается иная картина.

Собственно говоря, удивление здесь может вызывать не разнообразие, а то единство, которое обеспечивается наличием привычного *радуйся* в подавляющем большинстве акафистов<sup>26</sup>. Дело в том, что

---

<sup>26</sup> В этой связи представляет интерес предложение святителя Феофана Затворника, которое встречается в его частном письме, адресованном автору одного из акафистов: «...мне всегда приходит на ум, что форму или образ акафистов следовало бы разнообразить. Инде радуйся, инде хвала тебе, инде хвалим тя, или молимся, прямо молитву и подобное. И на каждое воззвание или целый икос и кондак отрядить, или в каждом икосе и кондаке повторять их подряд, чтоб весь акафист преобразовать в хвалебную и молебную песнь

данное обращение представляет собой цитату из Евангелия от Луки: так начал свою речь, обращенную к Деве Марии, архангел Гавриил: Χαῖρε, κεχαρισμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ (Лк 1:28). В качестве словоформы, с которой начинается каждое из череды воззваний, входящих в состав икосов, *радуйся* употреблено уже в Великом акафисте. Между тем далеко не очевидно, что приветствие, обращенное к Деве, должно воспроизводиться в акафистах святым и — в чем можно усмотреть некое обыгрывание исходной ситуации — к ангелам. Но именно такое решение закрепилось в традиции.

Однако Господские акафисты пошли другим путем.

2.1. ФИКСИРОВАННАЯ ИНИЦИАЛЬ ХАЙРЕТИЗМОВ. В составе хайретизмов может быть выделена в качестве автономного микро-текста их начальная часть. Точнее: фиксированной инициальной хайретизма мы будем считать ту начальную словоформу (или словоформы), которая повторяется во всех хайретизмах данного акафиста (и, как правило, других акафистов). Для акафистов святым, ангелам и практически для всех акафистов Богородице это, как уже отмечалось, глагольная форма *радуйся*. В хайретизмах Господских акафистов в большинстве случаев будут другие инициали<sup>27</sup>. Приведем примеры.

2.1.1. ИИСУСЕ. Наиболее частотная инициаль хайретизмов в Господских акафистах — вокатив *Иисусе*. Он присутствует прежде всего в первом акафисте Иисусу Сладчайшему, в другом акафисте Иисусу Сладчайшему, в общепринятом в РПЦ акафисте Страстям Христовым, в «Акафисте Лазареву воскрешению», в одном из акафистов Воскресению Христову, в одном из двух акафистов Преображению Господню (в другом акафисте с тем же посвящением в

---

восхваляемому» [Феофан 1994: 149 2-й пагинации]. Как видим, в области акафиста святым эта идея пока что не получила реализации.

<sup>27</sup> *Радуйся* будет лишь в акафистах с опосредованной адресацией (см. 1.3.4.).

качестве инициали — вокатив *Христе*), в «Акафисте ко Господу Иисусу Христу Грядущему» и др. В качестве разновидности указанной инициали можно рассматривать инициаль *Милосердный Иисусе*, которая представлена в «Акафисте во славу Милосердного Господа нашего Иисуса Христа».

2.1.2. СЛАВА ТЕБЕ. Эта инициаль свойственна двум акафистам в честь Рождества Христова и акафисту в честь Богоявления.

2.1.3. СВЯТ ЕСИ, ГОСПОДИ БОЖЕ НАШ. Такая инициаль хайретизмов зафиксирована по меньшей мере в двух акафистах: в неоднократно упоминавшемся выше «Акафисте Святой Троице» святителя Иннокентия Херсонского, а также в «Акафисте умилительном Господу Иисусу Христу, Праведнейшему Судии и Мздовоздателю нашему, в память всеобщего Воскресения и Страшного Суда»<sup>28</sup>.

2.1.4. БЛАГОСЛОВЕН ЕСИ. Так начинаются хайретизмы в акафисте на Вход Господень в Иерусалим. Рефен — цитата из Евангелия: *Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!* (Мф 21:9).

2.1.5. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ — это инициаль хайретизмов в двух акафистах: в одном из «Акафистов Воскресению Христову» и в «Акафисте Святой Пасхе».

2.1.5. Гряди. Инициаль хайретизма *Гряди* свойственна весьма своеобразному тексту — Акафисту в честь Сретения Господня [Двунадесятые 2002: 161–182]. В соответствии с двойственной природой самого праздника (Господский праздник, превратившийся в праздник Богородицы, однако не до конца), акафист обращен и ко Христу, и к Богородице, что, в частности, находит отражение и в хайретизмах. Рефрен акафиста (*Гряди, Пречистая, Господь с Тобою и Тобою с нами*) формально адресован Богородице.

2.2. ПЕРЕМЕННАЯ ИНИЦИАЛЬ ХАЙРЕТИЗМОВ. Выше мы определили фиксированную инициаль хайретизма как начальную словоформу (или словоформы), которая повторяется во всех хайретизмах

<sup>28</sup> См.: URL <http://www.vernost.ru/akafist.htm> (проверено 01.11.11).

данного акафиста. Наряду с фиксированной инициали можно говорить о переменной инициали. Это такая инициаль, которая повторяется во всех  $n$ -ных хайретизмах каждого икоса.

2.2.1. МАРКИРОВАННАЯ ИНИЦИАЛЬ ПЕРВОГО ХАЙРЕТИЗМА. Наиболее простой случай подобных переменной инициали — наличие в первом хайретизме каждого икоса особой инициали, единой для всех (или почти всех, см. ниже) икосов. При этом во всех прочих хайретизмах (втором, третьем и далее) всех икосов будет другой вариант инициали.

1) Акафист Святой Троице свт. Иннокентия Херсонского. Инициаль хайретизмов (кроме первого) — *Свят еси, Господи Боже наш*; инициаль первых хайретизмов всех икосов — *Свят, Свят, Свят еси, Господи Боже наш* (заметим, что так же начинается и рефрен этого акафиста).

2) В акафисте Живоносному Гробу и Воскресению Христову первый хайретизм (и, опять-таки, рефрен) начинается с *Радуйся, живоносный гробе*, прочие хайретизмы — просто с *Радуйся* (с различными продолжениями). Правда, тут же наблюдается борьба единства и противоположности: в И4, в первом хайретизме, видим *Радуйся, всебогатый гробе*, в И8 и И11 — *Радуйся, всесвятый гробе*.

Как видно из приведенных примеров, инициаль первого хайретизма в обоих случаях не представляет собой что-то совершенно отдельное от инициали прочих хайретизмов, но может рассматриваться как расширение основной инициали. При этом в акафисте Святой Троице расширение производится влево, а в акафисте Гробу Господню — вправо.

2.2.2. ЦИКЛИЧЕСКАЯ СМЕНА ИНИЦИАЛИ. Это более сложная, но и более красивая реализация переменной инициали. На сегодняшний день нам известен лишь один акафист с подобными свойствами (однако не исключено, что таких текстов на самом деле больше). Речь идет об акафисте, написанном священномучеником Серафимом, епископом Дмитровским: «Акафист Господу Иисусу Христу

Терноносному и Крестоносному» [Серафим 2001: 435–444]. Здесь первый хайретизм в каждом иконе начинается с обращения *Господи мой, Господи*, второй — *Иисусе мой, Сладчайший Иисусе*, третий — *Христе мой, Пресладкий Христе*, четвертый — *Сыне Божий Единородный*. Рефрен начинается с обращения *Господи Иисусе Христе, Сыне Божий*, то есть с объединения начальных вокативов всех четырех инициалей.

2.3. ПРОИЗВОЛЬНАЯ ИНИЦИАЛЬ ХАЙРЕТИЗМОВ. Существует акафист, в котором мы не обнаружим сколько-нибудь устойчивой инициали хайретизмов — ни в пределах блока хайретизмов, ни в рамках акафиста в целом. Речь идет о польском (католическом) акафисте Св. Духу<sup>29</sup>. Сказанное не означает, что совпадения начальных фрагментов в воззваниях полностью отсутствуют, — такие совпадения, разумеется, есть, и их не так уж мало (*Który..., Przez kogo..., Dzięki któremu..., Źródło...* и др.). Однако очевидно, что возникли они по большей части произвольно, преимущественно благодаря особенностям синтаксиса икосов. Последовательно проведенной анафоры здесь нет.

Интересно отметить, что в данном тексте наблюдается своеобразный механизм компенсации. В хайретизмах отсутствует анафора, однако возникает эпифора: после каждого хайретизма предлагаетсяпеть *zamieszkaј w nas*. По сути дела, мы можем говорить о новом типе рефрена (припева), который находится не в конце икоса (такой рефрен есть и в этом акафисте: *Przyjdź, Dawco dobra i zamieszkaј w nas*), а в конце каждого хайретизма. Нетрудно заметить, что он представляет собой усеченный икосный рефрен, причем именно его концовку, благодаря чему связь между хайретизмами (с учетом их собственных припевов) и икосным рефреном обеспечивается в той же степени, что и в традиционных акафистах, но иными средствами<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> См.: URL [http://www.katedra-floriana.wpraga.opoka.org.pl/stara/aktualnosci\\_akatyst.html](http://www.katedra-floriana.wpraga.opoka.org.pl/stara/aktualnosci_akatyst.html) (проверено 01.11.11).

<sup>30</sup> В свою очередь, икосный рефрен данного акафиста представляет собой неточную цитату из молитвы «Царю Небесный» («Królu Niebieski») с

### 3. ИКОСНЫЕ РЕФРЕНЫ

3.1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Специфические черты рефренов в Господских акафистах в сравнении с акафистами иной адресации — в общем и целом те же, что и особенности хайретизмов в неседальнах данной группы. Как и в хайретизмах, начальное *радуйся* присутствует лишь в акафистах с опосредованной адресацией. В прочих же текстах мы видим описанные выше *Иисусе*, *Свят еси...*, *Христос воскрес* и т. д.

Вместе в некоторых акафистах имеются лексические особенности (некоторые из них были описаны выше, см. 2.2.1.), которые влекут за собой возникновение структурной специфики.

3.2. НАЧАЛО РЕФРЕНА *VS.* ИНИЦИАЛЬ ХАЙРЕТИЗМА. В *радуйся*-акафистах хайретизмы и икосный рефрен вполне гомогенны; если абстрагироваться от некоторых деталей, то можно сказать, что рефрен — это просто еще один хайретизм, просто это такой хайретизм, который повторяется во всех икосах. Как мы сейчас убедимся, в некоторых Господских акафистах ситуация принципиально иная.

3.2.1. НАЧАЛО РЕФРЕНА — РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ ИНИЦИАЛИ. Такие случаи описаны выше. Кратко напомним: в акафистах Святой Троице и Гробу Господню рефрен начало рефрена совпадает с расширенным вариантом инициали хайретизмов, представленной в первом хайретизме каждого (или почти каждого) икоса. При этом в акафисте Гробу имеет место расширение вправо, и потому оно почти незаметно (и все хайретизмы, и рефрен начинаются с *радуйся*), в акафисте же Троице — расширение влево, поэтому рефрен и первый хайретизм оказываются противопоставлены прочим хайретизмам.

Кроме того, в «Акафисте умилительном...» такое же начало рефрена, как и в акафисте Святой Троице (*Свят, Свят, Свят еси*,

---

контаминированными словосочетаниями *Skarbnico wszelkiego dobra* и *Dawco życia*. Сама молитва входит в состав акафиста в качестве первого кондака.

*Господи Боже наши*), и такая же инициаль хайретизом (*Свят еси, Господи Боже наши*). Отличие в том, что в данном акафисте первый хайретизм никак не выделяется.

3.2.2. НАЧАЛО РЕФРЕНА — СОКРАЩЕННЫЙ ВАРИАНТ ИНИЦИАЛИ. Такое соотношение наблюдается в одном из акафистов Рождеству Христову [Двунадесятые 2002: 99–118]. Во всех (в том числе в первых) хайретизмах инициаль — *Слава Тебе*. Рефрен же представляет собой цитату из Евангелия: *Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение* (Лк 2:14).

3.2.3. КОНЕЦ РЕФРЕНА — ИНИЦИАЛЬ ХАЙРЕТИЗМА. В другом акафисте в честь Рождества Христова [Двунадесятые 2002: 119–132] инициаль та же (*Слава Тебе*), однако рефрен начинается с *Иисусе*. Тем не менее, инициаль хайретизмов всё же присутствует в рефрене — но в конце: *Иисусе, Сыне Божий, воплотивыйся нас ради, слава Тебе*.

3.2.4. НАЧАЛО И КОНЕЦ РЕФРЕНА — ИНИЦИАЛЬ ХАЙРЕТИЗМА. Существует и пример контаминации описанных выше случаев. В акафисте Богоявлению [Двунадесятые 2002: 135–158] инициаль хайретизма вновь такая же (*Слава Тебе*), а в рефрене она содержится как в начале, так и в конце: *Слава Тебе, Сыне Божий, во Иордане крестивыйся и весь мир просвещей, слава Тебе*.

3.2.5. НАЧАЛО РЕФРЕНА — СУММА ИНИЦИАЛЕЙ. Этот случай описан выше (2.2.2.): начало рефрена в «Акафисте Господу Иисусу Христу Терноносному и Крестоносному» представляет собой сложение инициалей первых, вторых, третьих и четвертых (последний — в усеченном виде) хайретизмов. То же самое можно интерпретировать и по-другому: начало рефрена есть усеченная инициаль первых хайретизмов — подобное мы уже видели на материале других акафистов (см. 3.2.2.).

Стоит отметить, что банального несовпадения инициали хайретизма и начала рефрена, без каких бы то ни было компенсирующих явлений (см. 3.2.3.), нам обнаружить не удалось.

#### 4. РЕФРЕНЫ КОНДАКОВ

Практически во всех акафистах — будь то гимны, посвященные Богу, Богородице, ангелам или святым, — кондаки (кроме первого, противопоставленного прочим) завершаются воззванием *Аллилуия*. Между тем есть и два исключения, и оба они приходятся на акафисты, адресованные Богу.

4.1. «АКАФИСТ ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТОВУ». Имеется несколько акафистов, посвященных главному христианскому празднику. Один из них [Двунадесятые 2002: 277–290] был написан патриархом Сергием (Страгородским). Особенность этого гимна заключается в том, что и в качестве икосного рефрена, и в качестве рефрена кондаков здесь использован тропарь Пасхи: *Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав*. Это решение интересно не только с точки зрения внутренней структуры данного акафиста (строфы двух различных типов существенным образом сближаются за счет тождественного рефрена), но и в плане интертекстуальном и функциональном: в состав акафиста — по определению, неуставного последования — вводится готовый текст из Цветной Триоди. Таким образом, акафист становится прямым продолжением уставного общественного богослужения: пасхальный тропарь здесь повторяется по меньшей мере 25 раз — точно так же, как десятки раз он повторяется во время ночной пасхальной службы.

4.2. «АКАФИСТ ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ...». Второй нестандартный акафист<sup>31</sup> написан священномучеником Серафимом

<sup>31</sup> Его нестандартность не исчерпывается отсутствием *Аллилуия* в кондаках. Не менее яркая особенность — уменьшенное количество строф. В то время как практически во всех акафистах число строф равно 25 (= 24+1), в данном акафисте мы видим лишь 17 (= 16+1) строф. Еще одна характерная черта — акrostих. Он обозначен автором перед текстом самого акафиста: *Весь от страстей безмерных, яко во огне, сгораю аз, помилуй мя!* Между строфами этот акrostих распределяется следующим образом:

(Звездинским), епископом Дмитровским. Полное его название: «Акафист Господу Иисусу Христу, Искупителю и Спасителю грешных, Сладчайшему, в нашествии горчайших искушений и страстей» [Серафим 2001: 445–450]. Рефрен, который мы обнаруживаем в кондаках этого акафиста (как это было и в рассмотренном выше гимне), перекидывает мостик между акафистами и традиционными богослужебными книгами. Рефрен представляет собой восклицание *Помилуй мя, Боже, помилуй мя*. Первая ассоциация, которая возникает у читателя акафиста, — это Великий покаянный канон прп. Андрея Критского, где данное молитвенное обращение к Богу представляет собой припев между тропарями канона. В свою очередь, этот припев канона восходит к Псалтири (Пс 56:2).

Относительно способа пения рефрена кондаков имеется авторское предуведомление: «...в кондаках припев: „помилуй...“ глаголется трижды тако: первый раз возглашает читающий сей припев и поют тойжде людие, такожде и второй и третий». Насколько можно понять из этой ремарки, припев (рефрен) после каждого кондака должен прозвучать в совокупности шесть раз. Сходным образом поются прокимны.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акафисты Богу заметно отличаются от гимнов, адресованных Богородице, ангелам и святым (подавляющее большинство их относится к числу *радуися*-акафистов). Различия коренятся прежде всего

---

*В/е/с<ь>/от/страст/ей/безмерных/яко/во огни/с/г/о/ра/ю/а/з/помилуй мя.* Как видим, элементами акростиха являются а) начальные буквы, б) достаточно произвольные фрагменты слов (*страст<ию>*, *ра<зрушил>*), в) предложно-падежное сочетание (*во огни*), г) основа предложения (*помилуй мя*). При наличии данного акростиха в К1 соблюдена традиционная начальная форма *Возбранный*.

в начальных участках хайретизмов и рефренов. Особенности этих отрезков акафистного текста противопоставляют Господские акафисты не только прочим гимнам этого жанра, но нередко и друг другу.

Инициаль хайретизма, стабильная и очевидная в *радуйся*-акафистах, здесь, в интересующей нас группе, обнаруживает внутреннюю структуру, вступает в несвойственные другим группам отношения. Имеются акафисты, содержащие особый вариант инициали в первых хайретизмах каждого икоса. Известен текст, где от икоса к икосу повторяется набор инициалей, зависящих от номера хайретизма. Наконец, можно указать гимн, где сколько-нибудь регулярная инициаль отсутствует, однако хайретизмы оказываются снабженными собственным рефреном.

Довольно разнообразными оказываются соотношения инициали хайретизма с начальным фрагментом икосного рефрена. Здесь и переклички рефрена с особым вариантом первого хайретизма, и тождество инициали хайретизмов с концовкой рефрена, и кольцевая структура припева, где обрамляющие элементы представляют собой не что иное, как инициаль хайретизмов.

Наконец, наблюдаются случаи, когда исчезает *Аллилуия*, присутствующее в подавляющем большинстве акафистов в качестве рефрена кондаков. В одном из двух таких текстов привычная концовка заменена припевом *Помилуй мя, Боже, помилуй мя*, в другом — пасхальным тропарем, который одновременно выбран и на роль икосного рефрена.

#### ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

Двунадесятые 2002: Акафисты Святой Пасхе и двунадесятым праздникам. СПб., 2002.

Казачков 2000: Ю. А. Казачков. Вопрос о датировке и атрибуции [Раздел коллективной статьи «Акафист»] // Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2000.

Людоговский 2006: *Ф. Б. Людоговский*. Православные акафисты в межкультурной коммуникации (конец XX — начало XXI в.) // Глобализация — этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы. Кн. 1. М., 2006.

Людоговский 2008: *Ф. Б. Людоговский*. Строфические ключи церковнославянских акафистов // Русский книжник — 2008. СПб., 2009.

Людоговский — Плякин (в печати): *Ф. Людоговский*, свящ., *М. Плякин*, свящ. Акафисты ангелам: опытный фрагмент каталога церковнославянских акафистов // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2010. М., 2011 (в печати).

Плякин 2011: *М. Плякин*, иерей. Акафистные акrostихи: история и современность / Доклад на пленарном заседании Межрегионального форума «Русская духовная культура: от истоков до современности» — Публикация на информационно-аналитическом портале Саратовской епархии РПЦ МП. URL [http://www.eparhia-saratov.ru/index.php?option=com\\_content&task=view&id=57123&Itemid=3](http://www.eparhia-saratov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=57123&Itemid=3) (проверено 31.10.11).

Попов 1903: *А. В. Попов*. Православные русские акафисты, изданные с благословения Святейшего Синода. История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения. Казань, 1903.

Псалтирь 1993: Псалтирь следованная. Ч. I. М., 1993.

Серафим 2001: «Все вы в сердце моем». Жизнеописание и духовное наследие священномученика Серафима, епископа Дмитровского / Сост., предисл. И. Г. Менькова. М., 2001.

Феофан 1994: Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Собрание писем. Вып. I и II. Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и издательства «Паломник», 1994.

Царевский 1907: Отзыв проф. *А. А. Царевского* о сочинении проф. *А. В. Попова*: «Православные русские акафисты, изданные с благословения Святейшего Синода. История их происхождения и цензуры, особенности содержания и построения». К., 1903 г. // Православный собеседник. 1907, июль-август.

ΥΧ 1996: Ὑμνολόγιον τὸ Ἁρμολύγιον... Ἐκδόσις ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουρίου. Κολπος, 1996.



*Научное издание*

**ЯЗЫКОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ  
И КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ**

Под редакцией  
Анатолия Федоровича Журавлева

Подписано в печать 25.06. 2013 г. Формат 60x90<sup>1/16</sup>  
Бумага офсетная. Печать офсетная  
Усл.-печ. л. 16. Заказ № 3369  
Тираж 300 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета  
в типографии «Нестор-История»  
198095 СПб., ул. Розенштейна, д. 21  
Тел. (812)622-01-23